



Библиотека
всемирной литературы

Серия третья * * *

Литература XX века

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
(ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД)



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1977

Вступительная статья и составление
Евг. Осетрова

Р1
Р89

Р $\frac{70401-304}{028(01)-77}$ подписное

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

В последние годы явственно обозначился повышенный читательский интерес к русской классической поэзии, а также к поэзии начала двадцатого века. Проявлению напряженного внимания способствовали серьезные причины, в числе их не последнее место занимает желание нового, обогащенного современностью, прочтения Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Баратынского, Тютчева, Фета, а также Блока, Маяковского, Бунина, Есенина, Брюсова... Выросли и новые поколения читателей, жаждущие составить собственное представление о таких неоднозначных поэтических фигурах, как Иннокентий Анненский, Андрей Белый, Велимир Хлебников, Марина Цветаева, Федор Сологуб, Максимилиан Волошин, Константин Бальмонт... Надо отметить, что наука сделала в последнюю пору немало, чтобы разобраться в сложном литературном мире начала столетия, отбросить мифы и наслоения, полемические гиперболы, произносившиеся в пылу споров, перекочевавшие позднее на страницы учебных пособий. Дурную услугу оказали зарубежные издания, где наряду с серьезными и глубокими работами знатоков-русистов (интерес к нашей культуре огромен и растет во всем мире!) появлялись всевозможные исторические сенсации, отдающие пресловутой «развесистой клюквой», а иногда и откровенным политиканством.

Конец девятнадцатого века и первые семнадцать лет — до Октября — пролетарский этап освободительной борьбы, становление ленинской партии — время трех революций. Октябрь потряс мир. Произошла смена всемирно-исторических формаций. В борьбе и муках рождалась новая социальная система, еще никогда не виданная в истории человечества. Поэзия, всегда бывшая в России чутким эхом действительности, не могла не испытать глубину и силу социальных катаклизмов, расколовших планету, ощутимых едва ли не во всех краях света. Можно сказать, что век двадцатый — «поистине железный век» — вступил в права под звуки пламенного революционного призыва, прозвучавшего на всю страну: «Пусть сильнее грянет буря!» Свидете-

ли и участники незабываемых событий, вдохновенно певшие «Интернационал» и «Варшавянку», отмечали, что тогда стихи с революционным содержанием становились прокламациями, а прокламации писались, как стихи. Литература запечатлела на своих страницах такой важнейший исторический этап, как перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, перегруппировку сил на мировой арене, когда Россия стала центром мирового революционного движения.

«Дистанция времени» дает возможность провести четкий водораздел между литературно-общественными течениями,— его в начале века замечали лишь наиболее дальновидные. Охранительной поэзии как таковой тогда просто-напросто не существовало, ибо нельзя же считать стихами бездарные вирши, время от времени появлявшиеся на страницах консервативных изданий, которые не принимались всерьез. Политические потрясения и революции не могли не оказывать влияния даже на тех поэтов, которые почитали себя жрецами «чистого искусства» и проповедовали бегство от действительности, видя в удалении от жизни панацею от всех бед современности. Молодая пролетарская поэзия, звавшая на борьбу, проникала в сознание разнообразными путями, преодолевая эстетское пренебрежение к себе, гремя во весь голос на улицах, площадях, на летучих собраниях и маевках. Особенно большую действенную силу несло песенное слово, имевшее полуфольклорное-полукнижное происхождение. «Смело, товарищи, в ногу...» и «Мы кузнецы...» были для манифестантов оружием, своего рода — «булыжником пролетариата». Романтические образы молодого Максима Горького, нарисованные им в «Песне о Соколе» и в «Песне о Буревестнике», пронизанные пафосом «безумства храбрых», воспринимались как непосредственный призыв к революционному действию. Горький, который первым увидел, по ленинскому определению, «человека будущего в России», и его окружение — поэты «Звезды» и «Правды», молодые пролетарские стихотворцы — создавали литературу действия, которая говорила о том, «как надо жить и действовать», бывшую прообразом литературы, заявившей о себе на весь мир после семнадцатого года.

Под воздействием большевистской печати вызревал и формировался отмеченный народностью талант Демьяна Бедного, принимавшего активное участие в работе редакции «Звезды», а затем и «Правды». Популярность получили его басни, в создании которых он опирался на основательно забытые к началу века в литературе традиции Ивана Крылова. Эзопов язык притч-сатир Демьяна Бедного пришелся по душе демократическому, скорее даже революционному читателю, ибо обращался к его ироническому складу ума, умеющего уловить политический намек, понять соль шутки, когда вместо обещанной «сотенной свечи» предлагался «копеечный огарок». Ненавистью к «господину Купону» были отмечены ранние стихи Маяковского.

Несмотря на песенную громогласность, распространение пролетарской поэзии, олицетворяемой именами Шкулева, Нечаева, Благова, Тарасова, Га-

ства, множеством других, было сильно затруднено, связано с многими цензурными и иными мытарствами, что и приводило к частой анонимности ее бытования. Многие книги не каждому попадали в руки, и подпольные стихи были укрыты от власть имущих, как шубой,— по образному выражению Николая Асеева,— сочувствием масс. Высоким примером для молодых пролетарских поэтов служили гордые образы Максима Горького. В целом же поэзия трепетно ощущала «подземные толчки» истории, приближение времени, когда произойдут «неслыханные перемены, невиданные мятежи».

В период нарастания революционных событий 1905—1907 годов Ленин разработал великий принцип партийности литературы, значение которого оказалось огромным, универсально-всеобъемлющим не только для современности, но для будущего. «Литература должна стать партийной,— писал Ленин.— В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой,— социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме» [1].

Рубеж столетия — знаменательная страница в жизни литературы, связанная с великими именами. Был жив, творил, проповедовал автор «Войны и мира». Событием, выходящим далеко за национальные пределы, вызвавшим отклики во всем мире, был уход Льва Толстого из Ясной Поляны и смерть его. Создатель величайших эпических произведений, гневный обличитель зла и насилия, Толстой олицетворял в глазах современников традицию классического реализма. Ему следовали, подражали, учились, старались продолжить и углубить... Рядом с романтическими героями Максима Горького — бунтарями, подвижниками, революционерами — действовали герои Чехова, Бунина, Куприна, Сергеева-Ценского, Алексея Толстого, Александра Серафимовича, нарисованные с реалистической достоверностью. Горьковская «Мать» — ею восхищался Ленин — была воспринята наиболее проницательными из читателей как учебник жизни, как революционное вторжение реалистического искусства в действительность, как революционный манифест рабочего класса. Маяковский и Блок искали сближения с «безъязыкой улицей».

Ивана Бунина, преемника реалистических традиций русской классической литературы, читающая публика ценила как блистательного стилиста, возведшего прозу в степень поэзии. В его творчестве стихи, выделявшиеся чистотой и точностью чеканки, соседствовали с прозой на протяжении всего жизненного пути. Долгое время бытовало представление о Бунине-поэте как холодноватом пейзажисте, интересующемся скорее красками и пластической гармонией, нежели живой жизнью. Автор «Листопада», чей талант Горький сравнивал с матовым серебром, решительно опровергал умозрительный под-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 100.

ход к его стихам, утверждая: «Нет, не пейзаж влечет меня, // Не краски жадный взор подметит, // А то, что в этих красках светит: // Любовь и радость бытия».

Любовью и радостью бытия пронизаны и стихотворные опыты такого «надежного реалиста», как Алексей Толстой, воспроизводившего мотивы фольклора, не лишенные стилизации, но сохранившие до наших дней прелесть притягательного обаяния. Фольклорная струя была довольно сильной в творчестве Николая Клюева, Сергея Клычкова, Петра Орешина, составивших позднее, в двадцатых годах, окружение Есенина. Частым было обращение к старой, допетровской книжности. Так, например, «для Клюева,— пишет В. Г. Базанов,— Аввакум был великим писателем, защитником «красоты народной», хранителем художественного наследия Древней Руси. Аввакум выступал против разрушения тех эстетических и духовных ценностей, которые были созданы в эпоху Древней Руси самим народом без вмешательства официальной церковной олигархии» [1].

Рядом с великой реалистической традицией и пролетарской поэзией существовал декаданс — детище последних десятилетий девятнадцатого столетия. «Под декадансом,— писал А. В. Луначарский,— согласно определению талантливейших декадентов, надо понимать сознательное устремление от ценностей расцвета жизни — здоровья, силы, светлого разума, победоносной воли, мощной страсти... чувства солидарности с сочеловеками, восторга перед жизнью, творческого восхищения перед природой — к ценностям, или, вернее, *минус-ценностям* жизненного упадка, т. е. красоте угасания, красоте, черпающей свое обаяние в баюкающей силе вялых ритмов, бледных образов, получувств, в очаровании, каким обладают для усталой души настроения покорности и забвения, и все, что их навевает» [2]. Признаки декадентства, чье явление было связано с кризисными явлениями буржуазной культуры,— сознательный отказ от реалистического восприятия мира, проповедь индивидуализма, антиобщественный подход к социальной действительности, воспевание «цветов зла» — антигуманистических и антидемократических настроений. Нередко рассматривая себя как метафору романтизма, декадентство металось в страхе перед жизнью и ужасом перед смертью.

Виднейшим направлением рубежа века был символизм, явление многогранное, не вмещающееся в рамки «чистой» доктрины. Его отечественные представители долго не желали называть себя декадентами (термин этот употреблялся критикой обычно в отрицательном смысле), но в конечном итоге они вошли в историю литературы — хотели этого или не хотели — как декаденты. Краеугольный камень направления — Символ, долженствующий заменить собой образ,— объединяющий платоновское царство идей с миром внутреннего опыта художника. Среди виднейших западных представителей

---

[1] «Культурное наследие Древней Руси». М., «Наука», 1976, с. 343.
[2] А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 5. М., 1965, с. 281.

символизма или тесно связанных с ним мы видим такие крупные имена, как Малларме, Рембо, Верлен, Верхарн, Метерлинк, Рильке...

Опираясь на философские идеи — от Канта до Шопенгауэра, от Ницше до Владимира Соловьева,— русские символисты любимейшим афоризмом своим почитали тютчевскую строку: «Мысль изреченная есть ложь». Генерализируя подтекст, Мережковский утверждал: «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя». Но при этом упускалось, что подтекст «работает», как правило, только при наличии глубокого поэтического текста.

Символисты, как первого, так и второго призывов, ставили перед новым направлением глобальные задачи, рассчитывая, что «идеальные порывы духа» не только вознесут их над покровами повседневности, обнажат трансцендентную сущность бытия, но и сокрушат также «крайний материализм», равнозначный «титаническому мещанству». Красота рассматривалась как ключ к тайнам природы, идее Добра и всего мироздания, дающий возможность проникновения в область запредельного, как знак инобытия, поддающийся расшифровке в искусстве. Отсюда — представление о художнике, как о демиурге, творце и повелителе. Поэзии же отводилась роль религии, приобщение к которой дает возможность увидеть «незримыми очами» иррациональный мир, метафизически выступающий как «очевидная красота». Становится понятным, почему, скажем, вновь найденной своеобразной рифме придавалось значение огромного открытия, далеко выходящего за пределы технических средств письма.

Отвлеченность и конкретность необходимо легко и естественно слить в поэтическом символе, мечтал Бальмонт, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом. Эстетика старших символистов, согласно их манифестам, покоилась на трех китах: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Бальмонт так обозначил индивидуалистический идеал декадентского искусства: «Я ненавижу человечество, // Я от него бегу спеша. // Мое единое отечество — // Моя пустынная душа».

Начало столетия ознаменовалось возникновением новой волны символизма, обозначаемой такими именами, как Анненский, Белый, Блок, Вячеслав Иванов, Эллис, Сергей Соловьев... Они настойчиво и решительно выдвигали на первый план философско-мистические вопросы, рожденные трагическим мировосприятием, предчувствием социальных катастроф. Страстное стремление проникнуть в возможности, лежащие «по ту сторону добра и зла», приводило в творческой практике к изощренным философским, религиозным или филологическим исканиям, диктовавшим — в свой черед — необычную поэтику. Поэт выступал в роли жреца Диониса, теурга, языческого прорицателя, шамана, вместителя провидческой интуиции.

Многое в символизме было связано и с непосредственным состоянием отечественной поэзии эпохи безвременья, когда завоевания классического стиха, его золотая пора были далеко позади. Это сознавали многие. Константин Случевский горько сетовал: «Конечно, пушкинской весною // Вторично внукам, нам, не жить...» И давалась оценка современному состоянию: «Переживая злые годы // Всех извращений красоты — // Наш стих, как смысл людской природы, // Обезобразишься и ты...» Не последнюю роль сыграло стремление преодолеть плоский утилитаризм, провозгласивший еще в прошлом веке: «Сапоги выше Шекспира». Поэтому появление манифестов, суливших прорывание «в область нетленного дня», взгляд на природу и явления, как на своего рода иероглифы, на первых порах встречались как откровение, которое следует постичь во всей его запредельной глубине. На западный манер — правда, с некоторым опозданием — стали модными — анализ жизни и бегство от жизни.

Творчество крупного художника любой эпохи невозможно вместить в прокрустово ложе эстетических или философских деклараций. Было бы очевидным упрощением сводить символизм к доктрине. В наши дни это особенно очевидно. Когда листаешь разнообразные издания, выходившие в «Скорпионе», «Грифе», «Мусагете», такие респектабельные журналы, как «Весы», «Золотое руно», «Мир искусства», то со всей наглядностью осознаешь, что имеешь дело с отечественным «александрийством», рассчитанным на рафинированных представителей стилизованной культуры.

Необходимо также помнить, что символизм нельзя воспринимать как нечто внутренне целостное, что он объединял художников, искавших нередко в противоположных или во многих случаях в далеко отстоящих направлениях. Например, Андрей Белый писал, что ему казалось, что Мережковский и Брюсов тянут его за руки в разные стороны. Мережковский предупреждал Белого: «...бойся Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его»; Брюсов же, вспоминал Белый в «Начале века», откровенно глумился над «жалкостями беспринципных «пророков», то есть над Мережковским и Гиппиус. Далее, Белый, подводя итог спорам, в «Начале века» отмечал, что Мережковский «пугался меня в девятьсот уже пятом», а Брюсов «стал не на словах, а на деле действительно левым».

В конце первого десятилетия, когда напряженно осмысливался опыт революции пятого года, Александр Блок писал: «Словами «декадентство», «символизм» и т. д. было принято (а пожалуй, принято и до сих пор) соединять людей, крайне различных между собою... Самое время показало с достаточной очевидностью, что многие школьные и направленческие цепи, казавшиеся ночью верными и крепкими, оказались при свете утра только тоненькими цепочками, на которых можно и следует держать щенков, но смешно держать взрослого пса».

К десятым годам символизм — после закрытия журнала «Весы» — внутренне исчерпал себя как целостное течение, оставив, как я уже сказал, глубокий след в различных сферах культуры. Влияние крупнейших поэтов,

связанных с символизмом, еще долго ощущалось и, пожалуй, полностью не исчерпало себя до сих пор. Я имею в виду не только Блока, но и Анненского, Брюсова, Белого, Бальмонта, Сологуба... При всем своем различии символистам — с их эмоциональной напряженностью и музыкальностью — был присущ культ формы, стремление к демонстрации глубоких познаний в различных областях — от историко-географической экзотики до философских и лингвистических тонкостей. Не случайно Максим Горький называл Валерия Брюсова самым культурным писателем на Руси. Вместе с тем духовный аристократизм и эстетство, бывшие своеобразным бегством от действительности, отделяли поэтов-символистов от народа почти непроницаемой стеной, которую они тщетно жаждали устранить. Уже в двадцатых годах Брюсов, пришедший к революции, писал: «Из любого явления прошлого, вычитанного в книге, символисты делали позму, и любую позму украшали ссылками на события иных времен, щеголяя выискиванием малоизвестных имен и намеками на факты, ведомые лишь специалистам-историкам. Эллада и Рим, Ассирия и Египет, сказания Эдды и мифология полинезийских дикарей, мифическая Атлантида и средневековые бредни — все равно шло в дело. Поэзия превращалась в какой-то гербарий прошлых веков, в ряд упражнений на исторические и мифологические темы». Что и говорить, довольно красноречивое признание. Оно особенно интересно тем, что непосредственно исходит от одного из тех, кто был долгое время признанным и глубоко почитаемым вождем символизма.

Примечательны и другие литературные судьбы.

На рубеже столетия поэтическая деятельность Дмитрия Мережковского, начинавшего с народнических настроений, пришедшего в середине девяностых годов к декадансу, была, по сути дела, позади. Его скорее знали как автора исторических романов и эстетических деклараций, занятого пересмотром догм «исторического христианства» и увлекающегося поисками «святой плоти». Зинаиду Гиппиус современная ей критика характеризовала как создателя «высокомерно-умных стихов», утверждавших ницшеанские мотивы: «Люблю я себя, как бога». Самым значительным из старших символистов был, пожалуй, Федор Сологуб. Его стихи заслонял роман «Мелкий бес», имевший шумный успех, в герое которого — Передонове — читатели видели новоявленного провинциального Смердякова, мелкого и опустившегося пакостника, клеветника и доносчика. Стихи Сологуба были отмечены строгой серьезностью содержания. Гармоничность и мелодичность выделяют его среди других «мастеровитых» символистов крупными художественными достоинствами. Его холодные иносказания афористичны; изысканность стиха доступна лишь зоркому взгляду. Исследователи обращали внимание на то, что стихи Сологуба необычайно близки музыке. Андрей Белый в своем обширном труде «Символизм» писал: «Ритм Сологуба представляет собою сложное видоизменение ритмов Фета и Баратынского, с примесью некоторого влияния Лермонтова, Пушкина и Тютчева. Но родственность напевности Сологуба с напевностью Фета и Баратынского резко под-

черкнута». Надо также обратить внимание на смелость эпитетов Сологуба. О солнце он, например, говорит — «безответное светило». Максим Горький, многократно и иронично критиковавший безысходный пессимизм Сологуба, отмечал, что его стихотворный сборник «Пламенный круг» — «книга удивительная и — надолго».

Константин Бальмонт слыл среди самых строгих ценителей «поэтом божьей милостью». О себе он имел право (будем справедливыми!) сказать: «Я — изысканность русской медлительной речи...» Но далее в этом же стихотворении вполне очевиден авторский, рожденный самовлюбленностью, гиперболизм: «Предо мною другие поэты — предтечи». Изысканность — великолепное свойство, но она часто оборачивается самой заурядной манерностью, подменой красоты красивостью, самовлюбленностью. Поэтому-то и повисает в воздухе, не подкрепленное творчеством, важнейшее положение символизма, провозглашенное Бальмонтом: «Поэты-символисты дают нам в своих созданьях магическое кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас к чему-то еще, мы чувствуем близость неизвестного нам, нового, и, глядя на талисман, идем, уходим куда-то дальше, все дальше и дальше». Обращают внимание на обороты, отличающиеся неопределенностью: «зовет нас к чему-то», «уходит куда-то»... Самая сильная сторона Бальмонта — «певучая сила», ритмическое разнообразие. Говорят, что в русской поэзии нет размеров, которых бы ни испробовал Бальмонт. Недаром о нем писали, что он — поэт-эхо, отражающий все звуки, которые к нему долетают. Но и ритмическая виртуозность требует чувства меры, а его-то и не хватало поэту, служителю «культа мимолетностей», умевшему «вместить мгновение в предел нескольких размеренных строк». Крупнейшее техническое достижение Бальмонта — звукоподражание, аллитерации, мастерское владение внутренней рифмой, символический фонетизм.

Нет обмана страшнее, чем самообман, а именно ему-то с демонической самоуглубленностью и предавались символисты, искавшие в своем внутреннем мире иррационально-магическую силу поэтического слова. Они полагали, что творят религию-искусство; последнее метафорически рисовалось им в образе Мистических Ключей, растворяющих человечеству двери на свободу из его «голубой тюрьмы»,— этим фетовским определением характеризовался мир рациональных представлений. Что магам до бедной жизни, когда их взору открываются дали сверхвременной, трансцендентной Красоты...

В стихах тех лет мы часто встречаем эсхатологические образы и метафоры, аллегории и символы из Апокалипсиса («И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть»), но и поэты и читатели воспринимали их скорее как жутковатую, но захватывающую игру в одиночество, мистерию-пророчество, которое едва ли когда сбудется. Нельзя же было всерьез воспринимать, когда поэт с веселым самодовольством («Я ненавижу человечество...») объявлял, что он славит «чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», что он, автор, приветствует, как брата, Нерона, жестокого тирана-

поэера. И — одновременно — декларации о прорыве в другой мир, «от реальностей к более реальному», от земных корней к мистически прозреваемой сущности, к соответствиям и аналогиям.

Символисты напряженно стремились существовать в двух планах — реальном и мистическом. В творческой практике это вело к лирико-стихотворному иллюзионизму. Подлинная же роль модернистов напоминала роль средневековых алхимиков, которые так и не нашли золота, в мечтах слепившего им глаза.

Искусство искало самоценную содержательность формы, где звуки говорят не меньше слов, где слово отличается многозначностью, где символ — эстетическое воплощение бесчисленных связей, существующих в живой жизни. Символ потеснил натурализм, расширил фонд образов, интонаций и экспрессий, выиграл бой с фотографическим бытовизмом, достиг вершин музыкальности, но обещанных «торжествующих созвучий», идущих от зыбких таинственных запредельностей, читатель так и не услышал, как не постигли их и авторы. Это привело символистов в идейный и художественный тупик, обнаружило полуусловную стилизованность их поэтического слова, а затем и взорвало движение изнутри, ибо оно не могло дать ответов на животрепещущие вопросы дня. А именно ими и жила страна, готовившаяся к «неслыханным переменам».

...Анна Ахматова говорила пишущему эти строки о том, что ее литературное поколение — из Иннокентия Анненского, и не потому что подражала автору «Кипарисового ларца», ибо, как она сказала, «мы содержались в нем».

Действительно, Иннокентию Анненскому выпала почетная, хотя и не очень громкая, участь стать крупнейшим «поэтом для поэтов». Анна Андреевна продемонстрировала примеры, подтверждающие ее высокую оценку Анненского. В интонациях, ритмическом рисунке, лексике, строфике, парафразах Анненского «обнаруживались» и Ахматова, и Гумилев, и Мандельштам, и Есенин, и Хлебников, и Цветаева, и Маяковский, и Пастернак... При жизни Анненского читатель его не знал — известность ограничивалась узким кружком, группировавшимся вокруг журнала «Аполлон», начавшего выходить в свет в год смерти поэта.

Единственный прижизненный сборник «Тихие песни» (1904) Анненский выпустил под псевдонимом — «Никто». Посмертная слава Анненского началась с выходом сборника «Кипарисовый ларец» (1910), стихи в котором выделялись совершенством, доведенным до изысканности. Культ формы, музыкальность, превращение слова в «мелодический дождь символов», выражающих в тысячах переходов, переливов и оттенков постоянное «желание уничтожиться и боязнь умереть». Особенно удавались Анненскому выражения настроения «городской, отчасти каменной, музейной души», которую, как он сам считал, «пытали Достоевским».

Если приверженцы реалистической эстетики ценили и ценят верность жизненным наблюдениям, то для поэтики декаданса характерно умение

быть «потусторонним», улавливающим «эхо иных звуков, о которых мы не знаем — откуда они приходят и куда уходят».

Иннокентий Анненский стремился от «безнадежной разоренности своего пошлого мира» уйти в «сладостный гашиш» поэзии.

Тогдашний опытный читатель считал Александра Блока «потустороннейшим из певцов» и наслаждался своим умением истолковывать-расшифровывать стихи-ребусы.

Вячеслав Иванов, стремившийся возвысить до мифа, знаменующего высшую — «космическую» — реальность, жизнь человеческого духа, любил в стихах согласные звуки, затруднявшие и замедлявшие чтение, располагавшие к размышлениям над смысловой полнотой слова. Это и дало повод (ведь его предшественники апологизировали гласные) к ироническому сравнению Вячеслава Иванова с Тредиаковским, почитавшимся предельно неуклюжим. Невозможно, думается, отрицать умозрительность поэзии Вяч. Иванова,— она была и нарочитой и преднамеренной.

«Как у лейбницевой монады,— пишет современный исследователь Сергей Аверинцев,— у слова в стихах Иванова «нет окна»: оно замкнулось в себе и самовластно держит всю полноту своего исторически сложившегося значения».

Мечтая об искусстве, полном жизни, всенародном, торжественно-декламационном, приближенном по стилю к дифирамбам и гимнам, Вячеслав Иванов, увлеченный своей религиозно-философской концепцией, насыщал стихи тяжеловесными архаизмами (вроде — зрак, девий, пря, мрежа) и неологизмами, отдающими преднамеренной стилизацией под средневековую старину. Стихи его — сложные и двусмысленные — были доступны лишь читательскому кругу, способному понимать сугубо условный религиозно-философский язык. Намеренная запутанность стиха вела к утрате его живой непосредственности. Виртуозность же отдавала литературным салоном, где нежные напевы принимались и перетолковывались как глубокие мысли. Стремление «пить из всех рек» — от Нила, Ганга и Евфрата до Волги, Невы и Фонтанки — вело к всеядности. В конечном итоге поэзия утрачивала издавна присущий ей демократизм, ориентируясь на высоколобого читателя, занимающего элитарное положение в духовном мире. Символисты это болезненно ощущали.

Сборник «Пепел» (1909) — лучшая поэтическая книга Андрея Белого — попытка вернуться к некрасовским мотивам, страстное желание стать не только поэтом, но и гражданином. Позднее Андрей Белый, некогда объявлявший искусство религией религий, горестно признается: «Сердцем века измерил, а жизнь прожить не сумел». Думаю, что под этими словами мог подписаться не один Андрей Белый. Художественным открытием Белого — поэта и романиста— считалось осознание того, что фонетический и буквальный смысл слов слиты,— он постигается во внутреннем ритме стиха.

К десятым годам в общественно-литературной жизни созрел эстетический бунт. Главный удар наносился символизму,— на него шли в атаку не-

други с прямо противоположных сторон. Кроме последовательных реалистов, всегда рассматривавших символистов как декадентов, важнейшими из противников являлись акмеисты и футуристы. Союз или даже временное соглашение между новыми течениями были совершенно невозможны. Не сговариваясь, противники пошли в атаку на одряхлевшую твердыню мистиков, переманивая на свою сторону неустойчивых стражей крепости Символа.

Провозглашая положительную программу, акмеисты с внешней сыновней почтительностью и — одновременно — с молодой внутренней беспощадностью обличали пороки символизма, зорко рассмотрев его болевые места.

Акмеизм — производное от «акме» — цвет, цветущая пора, сила, высшая степень. Акмеисты, выступив против символистских уходов в «миры иные», именовали свое направление еще и адамизмом, связывая с библейским Адамом представление о мужестве и ясном, твердом и непосредственном взгляде на жизнь.

Адамисты, объявив символизм своим отцом, прокламировали внимание к миру человека, мудрую физиологичность (тело и его радости), внимание к жизни во всей ее полноте, не сомневающуюся в себе самой, с ее радостями и пороками и, наконец, обещали найти для выражения всего этого в искусстве «достойные одежды безупречных форм». Последнее было воспринято как возврат к ясному и гармоничному пушкинскому началу, хотя критика тут же отметила, что в акмеистских стихах больше дано глазу, чем слуху. Акмеисты были против того, чтобы направлять главные силы в область неведомого, уличали символистов в братании с мистикой, теософией и оккультизмом.

Возводя в культ любование вещами, акмеисты возвестили миру, что к работе приступил Цех поэтов. Их трибуной был журнал «Аполлон». С юношеской зоркостью новый Адам заметил, как вокруг «ожили камни и металлы», как отовсюду хлынули звери, как радостно засверкал мир, избавившись от символистских туманов. На глазах у изумленных читателей возникла страна-остров, расположенный за клокочущими пенами океана. Там горные озера, пальмовые рощи, там бродят царственные барсы, блуждающие пантеры, слоны-пустынники... Там действуют заблудившиеся конквистадоры и старые капитаны в ботфортах, с пистолетами за поясом... Там девушки-колдуньи, девы-воины, царицы, обладающие чарами невиданной красоты и над всем этим таинственный скиталец — «Летучий Голландец». Вся эта экзотика должна была повествовать о красоте, открывающейся ясному и мужественному взгляду. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе,— провозглашали сторонники нового направления,— своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще.

Не только в теургов целили акмеисты, их честолюбивые вожделения простирались гораздо дальше. Не только в пылу полемики, а по принципиальным соображениям наносились удары и по реализму минувшего столетия, воспринимавшемуся через призму неонатурализма, через прозу Арцы-

башева, А. Каменского и Винниченко, доказывавших, что «человек гадок по своей натуре».

Новый Адам иронически противопоставлялся Ивану Саввичу Никитину, которого акмеисты пренебрежительно именовали певцом горшков. Народность в истинном и глубоком значении как эстетическая категория была враждебна акмеистам.

Мэтры нового течения — Сергей Городецкий, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Михаил Кузмин, Владимир Нарбут, Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич. Личные склонности и несколько умозрительное стремление к предметному реализму определили тематику акмеистов. Географические живописные диковины стали областью Гумилева. Зенкевич рисовал картины доисторической жизни. Нарбут воспроизводил мельчайшие подробности повседневного быта. Каждый на свой манер стремился писать «тяжелыми» словами, в которых «как бы застыла железная плоть земли». Отсюда излюбленные названия — «Камень», «Дикая порфира» и пр. Жемчуг был не просто жемчугом, а подразделялся — жемчуг черный, жемчуг серый и жемчуг розовый.

Новый Адам пришел, однако, не в райские кущи, а в российскую действительность. Его ждала не Ева, а «проклятые вопросы», социальные проблемы, которые нельзя было миновать. Акмеисты же не могли вырваться за чисто эстетические пределы,— при всей тяге к простому разговорному языку, они были оторваны от реальной действительности, оторваны, пожалуй, не меньше, чем символисты. Попытка же «делать» стихи в Цехе поэтов обернулась формализмом, едва ли не худшего толка, чем запредельные мистерии символистов.

Александр Блок написал слова упрека по адресу акмеистов; отметив, что несомненно даровитые поэты «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма, они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: *душу*».

Филиппика Александра Блока относится скорее к акмеистским декларациям, чем к собственно поэтическому творчеству. Блок выделял, точнее, отделял от акмеизма стихи Анны Ахматовой, Сергея Городецкого, Игоря Северянина. С не меньшим основанием можно отделить Блока от символизма, представив, какой сложной была дорога от стихов о Прекрасной Даме к «Двенадцати».

Оценивая положения статьи Блока со значительной временной дистанции, нельзя не признать его историческую и художническую правоту. Примечательно, что Александр Блок, мучительно искавший пути избавления от «яда декадентства», писал матери в 1911 году: «Настоящее произведение искусства... может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь... непосредственное (не книжное) отношение с миром». Мастеровитость Цеха поэтов

основывалась скорее на формальной выучке, чем на художественном постижении действительности во всем ее сложном многообразии.

Поэзия акмеистов не могла не отличаться от декларируемых ими принципов. Наиболее последовательным акмеистом был Николай Гумилев, увлекавшийся созданием героических баллад. Он ввел в поэзию всевозможные африканские и восточные декоративные мотивы. Его стихи часто напоминали таитянские полотна Поля Гогена, живописной школы синтетизма, объединявшей декоративные и монументальные начала. Его стих отличался энергичной поступью, легкостью, живописностью. Автор снискал у читателя славу певца «жизни ужасной и чудной». Культ сильной личности был в стихах Гумилева модной данью ницшеанству.

Анна Ахматова с первых шагов на поэтическом поприще обратила внимание на себя «личной своеобычностью». Лаконичный и точный почерк автора «Четок» был близок широко распространившейся тогда графике, которую культивировали мастера «Мира искусства». С акмеизмом Анну Ахматову, пожалуй, сближала способность «принимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами». Тема обреченности в ее ранних стихах соседствовала с элегическими и несколько декоративными мотивами, связанными с уходящим бытом, чья устойчивость иллюзорна: «Течет река неспешно по долине, // Многооконный на пригорке дом, // И мы живем, как при Екатерине, // Молебны служим, урожая ждем». Большое место в поэзии Ахматовой заняла северная столица, Царское Село, его архитектура, парки и пруды. Преодоление камерности («В то время я гостила на земле...») и богемности («Все мы бражники здесь, блудницы...») было связано в ее стихах, опиравшихся с годами все больше и больше на величавые традиции русского классического стиха, с усилением социальной темы, которая нелегко воспринималась поэтом.

Другим противником Магов и Жрецов неизреченного — куда менее почтительным! — были футуристы, выступившие в конце двенадцатого года с необыкновенно крикливой декларацией в сборнике «Пощечина общественному вкусу», подписанной Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В. Хлебниковым. Несколько ранее появился альманах «Садок судей», напечатавший «первых футуристов» — Каменского, Хлебникова и братьев Бурлюков. Даже видавшие виды московские и питерские читатели были изумлены, знакомясь с манифестами и творениями футуристов. А ведь молва давно разнесла невероятные слухи о скандальных концертах новоявленных рыцарей Самоценного Слова, лишенного смысла. Впрочем, следует без преувеличения отметить, что скандальные новости — устные и печатные — входили в авангардистский этикет и высоко ценились почитателями различных модернистских групп и школ. Отсюда — розочки на щеках выступающих на сцене поэтов, рояль, поднятый к потолку на концерте, желтая кофта и носок вместо галстука.

Стремление «бить по голове» буржуа и обывателя было не целью, а лишь средством. Футуристы, социологизируя литературу, взрывая язык, вно-

ся деформацию слова и дисгармонию в стихи, нигилистически отрицая достижения культуры, восхищаясь «телеграфным языком», отказываясь даже от знаков препинания, мечтали о новой — неслыханной и невиданной — модели искусства, призванного обновить дряхлеющий старый мир. С первых шагов движение состояло из решительно несогласных между собой группировок, что и дало повод Максиму Горькому сказать: «...русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский».

Отрыв от народа болезненно ощущался наиболее чуткими и дальновидными из тех, кто создавал художественные ценности. «Забавно смотреть,— писал Александр Блок,— на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение десятка лет сменила кучу миросозерцаний и разделилась на 50 враждебных лагерей, и на многонациональный народ, который с XV века несет одну и ту же однообразную и упорную думу...»

Символизм, как наиболее распространенное и изрядно одряхлевшее явление, был весьма подходящим объектом для нападок, хотя и реалистов — от Максима Горького до Ивана Бунина — футуристы не жаловали. Более того, в начальных абзацах «Пощечины» футуристы ниспровергали классиков — вот это-то и была действительно «сплошная невндаль», ошеломлявшая тогдашнего читателя. В знаменитом манифесте говорилось: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности. Кто не забудет своей *первой* любви, не узнает последней». Далее шли громобойные удары по здравствующим современникам: «Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..»

Положительная программа высказывалась футуристами по преимуществу в отрицательной форме. Там же, где шли позитивные утверждения, «люди новой жизни» оказывались до крайности несамостоятельными, обнаруживая теоретические заимствования из самых разнообразных зарубежных и отечественных источников — от итальянского поэта и теоретика, основателя футуризма Маринетти, до филолога-слависта А. А. Потебни, с его учением о «лингвистической поэтике».

Антиэстетизм, отвержение традиций культуры, телеграфный синтаксис, преклонение перед городом и достижениями техники, увлечение кинематографическим стилем, стремление создавать неологизмы — все это входило в

азбуку футуризма; взаимопроникновение объемов, смещения, сдвиги, наплывы — все это, по мнению новаторов, должно было не только поразить воображение читателя, слушателя, зрителя («Лошадь с двадцатью ногами»!), но и передать общую атмосферу современной жизни, с ее все более и более убыстряющимися темпами.

Симпатию к футуристам, особенно среди молодежи, вызывала ультрареволюционная фразеология, густо уснащавшая стихи, поэмы, всевозможные издания-декларации. Иногда говорят, что футуристы первыми ввели в поэзию город и технику. С этим нельзя согласиться. Символист Брюсов был убежденным урбанистом, а техника встречала читателей в стихах довольно давно — вспомним хотя бы «Железную дорогу» Некрасова. Футуристы обращались к мотивам разнообразного толка — от язычества и шаманства до урбанизма и техницизмов, от анархического своеволия до салонных изысканностей, от ницшеанства до революционного радикализма.

Среди «будетлян» (так еще иногда называли себя футуристы) — этих «Гениальных Детей Современности» — не было, пожалуй, ни одного, не прославлявшего современного перемещения в пространстве. Игорю Северянину, представлявшему самую незначительную ветвь футуризма,— грезилась поездка: «Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс». Василий Каменский (он одно время был летчиком), пролетая над Варшавой, ощущал себя «одиноким Колумбом», живым памятником, поражаясь при этом своей «святой скромности».

В футуристских откровениях обращает на себя внимание следующее теоретическое обстоятельство. Футуристы, видя сущность жизни в стремительном динамизме, понимая время и движение чисто механистически, забывали, что перемещение происходит не только в пространстве, но и во времени, производя глубочайшие качественные изменения. Ребенок становится взрослым, из желудя вырастает дуб, зерно превращается в колос. Эти очевидности великолепно понимал, скажем, Велимир Хлебников, постоянно обращавшийся в поэмах-утопиях к огромным временным пластам, гневно бунтовавший против буржуазной культуры. Тем более не вмещался в рамки футуризма Маяковский, чья революционная поэзия, по остроумному наблюдению Николая Асеева, была как бы начертана огромными буквами.

Футуризм, прославляя и возвеличивая жизнь, непрестанно и бурно трансформируемую победоносной наукой, провозглашая «свободу слов», отвергая все, что было «до», не мог стать искусством будущего, ибо оперировал упрощенными, вульгарно-механистическими представлениями о человеке как о мыслящей машине, близкой к роботу... Это вело к нивелировке и дегуманизации личности. Человек без прошлого напоминает бабочку-однодневку, родившуюся на заре и умирающую к вечеру. Искусство нового времени пошло по совершенно иному пути, что и было осознано лучшими, наиболее дальновидными и талантливыми последователями доктрины в двадцатых годах. Те же, кто и в совершенно иную эпоху продолжал повторять фу-

туристские рационалистические прописи или жонглировал заумными словесами, оказались не в будущем, а в прошлом, которому не было возврата.

К величайшему революционному рубежу совершенно несхожие, враждующие модернистские течения пришли в кризисном состоянии. Символисты, полагавшиеся на интуицию, акмеисты, возведшие форму в культ, футуристы, увлекавшиеся и заумью, и рацио, отстаивавшие дисгармонию содержания, ниспровергавшие смысл слова,— оказались неподготовленными к пониманию событий, эхо которых прокатилось по всему миру. «Безъязыкая улица» подхватила стихи-агитки Демьяна Бедного, запела революционные гимны и марши, стала повторять и выучивать наизусть безыскусственные стихи пролетарских поэтов, созвучные настроению.

В жизни, да и в искусстве, ничто не проходит бесследно.

Александр Блок окунулся в революционную стихию и создал, пойдя на разрыв с многолетними единомышленниками, «Двенадцать», поэму, ставшую первой страницей поэзии социалистического мира. Споры о поэме не утихают и сегодня, но несомненно, что Блоку удалось первому воспроизвести громыхавшую над Петроградом «музыку революции».

Владимир Маяковский — через футуристский космизм, декларативность, черновую работу в Окнах РОСТА, преодолевая детскую болезнь «левизны», шел к прославленным поэтическим хроникам революции, принадлежавшим к лучшему, созданному в литературе двадцатых годов.

Сергей Есенин, приняв события по-своему, с «крестьянским уклоном», от мечтаний о деревенском мужицком рае обратился к реальной жизни страны и деревни, написав «Анну Снегину» и шедевры лирической поэзии.

Далеко не все представители художественной интеллигенции приняли и поняли революцию, что роковым образом сказалось на их литературных и личных судьбах. Мережковский и Гиппиус, перекочевав в зарубежье, оказались в контрреволюционном стане, присоединив свой голос к голосу тех, кто по идеологическим мотивам чернил Блока, Маяковского и Есенина. Николай Гумилев остался верен легитимистским симпатиям с налетом мистицизма, что и привело его в конце концов в лагерь контрреволюции. Анна Ахматова, преодолевая камерность, стала выразительницей драматической стороны эпохи, когда новое рождалось в муках и так трудно складывались людские судьбы. Знаменитое ахматовское стихотворение «Мне голос был...», написанное еще до Октября, оказалось выразительнейшим поэтическим прологом к патриотической лирике сороковых годов, рожденной пафосом всенародной борьбы с гитлеровским нашествием.

Когда мы размышляем о судьбах словесного искусства начала века, нельзя не согласиться с выводом, сделанным в заключительной главе новейшей «Истории русской поэзии», где говорится, что ввиду сложных исторических обстоятельств тем более надо отдать должное гражданскому подвигу поэтов, сделавших решительные шаги навстречу революционному народу: «Обретение новой идейной позиции поэтами старшего поколения дости-

галось порой ценой личных утрат, тяжело ранящих душу, противоречий, отказа от привычного уклада жизни, издавна сложившихся форм общения и литературных связей»[1].

Авангардистские течения охотно и постоянно подчеркивали свою новизну. В футуризме «невидаль» была составной и неотъемлемой частью поэтики. Существует, однако, известный афоризм Поля Валери: «Ничто не проходит так быстро, как новизна». Величайшие открыватели новых художественных путей, преобразователи словесного искусства — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский — никогда не стремились к тому, чтобы ни на кого не походить. Бегство от литературных родичей — явление совсем иной эпохи, иного эстетического порядка, связанное с тщательно маскируемой неуверенностью в собственной художественной мощи.

«Метафора романтизма», как показал опыт, не убила, не отменила и даже не потеснила реализм. Конечно, реалистический метод художественного воссоздания жизни в новом столетии заметно отличался от реалистических традиций девятнадцатого века, но ведь иначе и не могло быть. Искусство потому и является искусством, что к достигнутому всегда добавляется живой опыт современности. Если бы это не происходило, искусство сделалось бы музейным реликтом, повторением пройденного, эпигонской имитацией.

В недрах жизни и искусства рождался новый метод художественного познания действительности, который много позднее, уже в новую эпоху — в 1934 году,— Максим Горький охарактеризовал следующим образом: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Крупные писатели-реалисты двадцатого столетия, не приемля в целом поэтики декаданса и авангарда, сумели использовать некоторые их художественные достижения, видоизменяя свой изобразительный язык, углубляя и обостряя социальный и психологический взгляд на человека и общество.

Упорный процесс отчуждения человека в буржуазном обществе, разрушение цельности личности, распадение мира на элементы,— все эти явления не могли не заставить художников обратиться к поискам новых исторических и эстетических путей. Для значительной части художественной интеллигенции модернизм стал знамением времени, и не случайны многочисленные попытки обновить все — от поэзии до религии.

«Для авангардистов,— пишет Петр Палиевский в книге «Пути реализма»,— следовательно, так же как и для их предшественников из раннего «модерна», форма была главным в искусстве и носительницей художествен-

---

[1] «История русской поэзии», т. 2. Л., «Наука», 1969, с. 445.

ной идеи. Но они попытались выразить этой формой не себя и не какой-либо целый художественный образ, который требовал усложнения, отделки и создания индивидуального организма, нет, они стремились прямо передать в ней эпоху и только ею представить дух своего времени».

* * *

В начале века в области русской культуры творили Михаил Врубель, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Илья Репин, Борис Кустодиев, Константин Станиславский, Николай Рерих... Каждое из этих имен (список может быть значительно умножен) — золотая страница не только в отечественном, но европейском искусстве.

Вся эпоха была пронизана, пропитана озоном революции. В. И. Ленин писал в начале века: «Мы переживаем бурные времена, когда история России шагает вперед семимильными шагами, каждый год значит иногда более, чем десятилетия мирных периодов» [1].

Центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Октябрьская революция открыла пути решения коренных проблем, выдвинутых всем ходом предшествующего развития всемирной истории. Созревание новой революции резко ускорила первая мировая война. Искусство не могло пройти мимо этих эпохальных событий,— оно отразило их во всей многогранной полноте. В. И. Ленин страстно мечтал о литературе будущего общества: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды» [2].

Поэзия начала века — сложнейшее культурное явление. Творческая практика, как мы уже видели, была неизмеримо шире манифестов и деклараций. Литература помогает нам глубже заглянуть в жизнь и души людей эпохи, которая и сегодня вызывает самый жгучий интерес во всем мире.

В поэтических творениях, привлекающих нас поныне художественным своеобразием, отразивших по-своему эпоху и душу творца, мы видим теперь не столько событийную сторону происходившего, не только монументальность того, что несло небывалое время, но и, прежде всего, Человека — подлинного героя революционного эпоса.

ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 377.
[2] Там же, т. 12, с. 104.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА (ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД)

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Сказка

1

По деревне ехал царь с войны.
Едет — черной злобой сердце точит.
Слышит — за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на Девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
«Ты чего,— кричит он зло и грубо,—
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я — твой царь, я в горе и обиде,—
Каково мне глупый смех твой видеть?»
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
«Отойди,— я с милым говорю!
Батюшка, ты лучше отойди».

Любишь, так уж тут не до царей,—
Некогда беседовать с царями!
Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.

Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
«Нуте-ко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше,— сразу удавите!»
Исказив угодливые рожи,
Бросились к Девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи,—
Предали Девицу в руки Смерти.

2

Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе,—
Ведь весной любви и жизни зерна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нем разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом —
Хочется пожить побесполезней.
Все пред неизбежной с нею встречей
Ощущают только страх нелепый,
Надоел ей ужас человечий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной, и недужной,
Делает она его умело,—
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну конечно, ей обидно это,
Злит ее людское наше стадо,
И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.
Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

3

Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет — жертву пожалела:
«Ишь ты ведь, какая молодая!
Что ты нагрубила там царю?
Я тебя за это уморю!»

«Не сердись,— ответила Девица,—
За́ что на меня тебе сердиться?
Целовал меня впервые милый
Под кустом зеленой бузины,—
До царя ли мне в ту пору было?
Ну, а царь — на грех — бежит с войны.
Я и говорю ему, царю,
Отойди, мол, батюшка, отсюда!
Хорошо, как будто, говорю,
А — гляди-ко, вышло-то как худо!
Что ж?! От Смерти некуда деваться,
Видно, я умру, не долюбя.
Смертушка! Душой прошу тебя —
Дай ты мне еще поцеловаться!»
Странны были Смерти речи эти,—
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И, на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
«Ну, ступай, целуйся, да — скорее!
Ночь — твоя, а на заре — убью!»
И на камень села,— ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастия рыдает,
Смерть ворчит: «Иди скорей, иди же!»

4

Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим, Искариотом,
Дряхленькие оба, лезут в гору —
Точно две змеи ползут тихонько.
«Господи!» — угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
«Господи!» — взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою, в облаке румяном
Возлежит господь — читает книгу;

Звездами написана та книга,
Млечный Путь — один ее листочек!
На верху горы стоит архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
«Прочь идите! Вас господь не примет!»
«Михаиле! — жалуется Каин,—
Знаю я — велик мой грех пред миром!
Я родил убийцу светлой Жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!»
«Михаиле! — говорит Иуда,—
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!»
И взывают оба они в голос:
«Михаиле! Пусть господь хоть слово
Скажет нам, хоть только пожалеет —
Ведь прощенья мы уже не молим!»
Тихо отвечает им архангел:
«Трижды говорил ему я это,
Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
«Знай,— доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти».
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завыли, зарыдали
И, обнявшись, оба покатились
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти.
И плюют на Каина с Иудой
Синими болотными огнями.

5

Смерть проснулась около полудня,
Смотрит — а Девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: «Ишь ты, блудня!
Видно, ночь-то коротка была!»
Сорвала подсолнух за плетнем,
Нюхает; любуется, как солнце

Золотит живым своим огнем
Лист осины в желтые червонцы.
И, на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:

«Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют,
И хоронят, и поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего!
Деспот бьет людей и гонит,
А издохнет — и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор —
С одинаковой тоской
Распевает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

6

Спела песню — начинает злиться:
Уж прошло гораздо больше суток,
А — не возвращается Девица,
Это — плохо. Смерти — не до шуток.
Становясь все злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней,
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.
Как земля гола весною ранней,
Грудь ее обнажена бесстыдно,
И на коже шелковистой, ланьей
Звезды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звезды, красят грудь,
И — как звезды — кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный Путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,

Точно рана — губы влажно алы.
Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в ее черепе пустом.
«Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?»
Точно небом — лунно-звездным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей Девица смело:
«Погоди-ко, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу,
А его — подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала — до Смерти недалеко.
Дай еще парнишку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он — хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди,
Вишь, цветут, как огненные маки!»
Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась:
«Да, ты будто с солнцем целовалась,
Но — ведь у меня ты не одна —
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела много, а уж я — стара,
Каждою минутой дорожу,
Собирайся, Девушка, пора!»
Девушка — свое:
«Обнимет милый,
Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой,
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя, собою радость рада,
И любовь любуется собой!»
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит —не прервать ей этой песни!
Краше солнца — нету в мире бога,
Нет огня — огня любви чудесней!

7

Смерть молчит, а Девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно ее мечут;
Что же сердце Смерти миру явит?
Смерть не мать, но — женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В темном сердце Смерти есть ростки
Жалости, и гнева, и тоски.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!
«Что ж,— сказала Смерть,— пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе — живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!»

С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За Любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде — на свадьбе и на тризне —
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье Жизни.

<1892>

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

1

Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко.— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

— Ну, что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице:

— А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь ты еще немного в твоей стихии.

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились... И трупа птицы не видно было в морском пространстве...



Серов В. А.
«Солдатушки, бравы ребятушки!
Где же ваша слава?»
Журнал «Жупел», 1905, № 1

2

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

<1894>

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,— стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

<1901>

СКИТАЛЕЦ

КОЛОКОЛ

Я — гулкий медный рев, рожденный жизни бездной,
Злой крик набата я!
Груб твердый голос мой, тяжел язык железный,
Из меди — грудь моя!

И с вашим пением не может слиться вместе
Мой голос: он поет
Обиду кровную, а сердце — песню мести
В груди моей кует!

Из грязи выходец, я жил в болотной тине,
Я в муках возмужал.
Суровый рок меня от юных дней доныне
Давил и унижал.

О да! Судьба меня всю жизнь нещадно била;
Душа моя — в крови...
И в сердце, где теперь еще осталась сила,
Нет больше слов любви!

Я лишь суровые слова и мысли знаю,
Я весь, всегда — в огне...
И песнь моя — дика, и в слово «проклинаю!»
Слилося все во мне!

<1901>

2*

КУЗНЕЦ

Некрасива песнь моя —
Знаю я!
Не похож я на певца —
Я похож на кузнеца.
Я для кузницы рожден,
Я — силен!

Пышет горн в груди моей:
Не слова, а угли в ней!
Песню молотом кую,
Раздувает песнь мою
Грусть моя!
В искрах я!

Я хотел бы вас любить,
Но не в силах нежным быть:
Нет — я груб!
Ласки сумрачны мои:
Не идут слова любви
С жарких губ.

Кто-то в сердце шепчет мне:
«Слишком прям ты и суров —
Не скуешь ты нежных слов
На огне!
Лучше молот кузнеца
Подними в руке твоей
И в железные сердца —
Бей!»

<1901>

* * *

Колокольчики-бубенчики звенят,
Простодушную рассказывают быль...
Тройка мчится, комья снежные летят,
Обдает лицо серебряная пыль!

Нет ни звездочки на темных небесах,
Только видно, как мелькают огоньки.
Не смолкает звон малиновый в ушах,
В сердце нету ни заботы, ни тоски.

Эх! лети, душа, отдайся вся мечте,
Потоните, хороводы бледных лиц!
Очи милые мне светят в темноте
Из-под черных, из-под бархатных ресниц...

Эй, вы, шире, сторонитесь, раздавлю!
Бесконечно, жадно хочется мне жить!
Я дороги никому не уступлю,
Я умею ненавидеть и любить...

Ручка нежная прижалась в рукаве...
Не пришлось бы мне лелеять той руки,
Да от снежной пыли мутно в голове,
Да баюкают бубенчики-звонки!

Простодушные бубенчики-друзья,
Говорливые союзники любви,
Замолчите вы, лукаво затая
Тайны нежные, заветные мои!

Ночь окутала нас бархатной тафтой,
Звезды спрятались, лучей своих не льют,
Да бубенчики под кованой дугой
Про любовь мою болтают и поют...

Пусть узнают люди хитрые про нас,
Догадаются о ласковых словах
По бубенчикам, по блеску черных глаз,
По растаявшим снежинкам на щеках.

Хорошо в ночи бубенчики звенят,
Простодушную рассказывают быль...
Сквозь ресницы очи милые блестят,
Обдает лицо серебряная пыль!..

<1901>

* * *

Я оторван от жизни родимых полей,
Позабыт моим краем далеким,
Стал чужим для родных подъяремных людей
И отверженцем стал одиноким.

Но для тех, в чью страну я заброшен судьбой,
Я не сделался близким и другом:
Я их проклял проклятием злобы святой,
И отброшен я сытым их кругом.

Сытой пошлости я покориться не мог
И ушел, унося свою муку...
И тому, кто отвержен, как я, одинок,
Подаю мою сильную руку.

О, придите ко мне, кто душой изболел,
Кто судьбою своей не изнежен!
О, придите ко мне, кто озлоблен и смел!
О, придите, кто горд и мятежен!

Вы живете во мраке, в оковах, в аду...
Я вас к свету, к свободе, вперед поведу!..
Верьте — некуда больше идти!
Нет иного пути!

<1902>

* * *

Телами нашими устлали мы дорогу
И кровью наших жил спаяли вам мосты.
Мы долго молча шли, взывая только к богу,—
И нам вослед легли могилы и кресты.

Порабощенные, мы с петлею на шее,
В цепях, во тьме брели — без песен боевых...
Погибло много нас, зато теперь — светлее,
И вот идете вы, рать новых, молодых.

Так много вас теперь, что дрогнуло все злое.
Идет гроза небес, близка борьба громов...
И наша песнь звучит, как пред началом боя
В горящем городе набат колоколов.

Идите же смелей и пойте песнь свободы:
Ведь только для нее, страдая, гибли мы!
Лишь этих песен мы в былые дни невзгоды
Так страстно жаждали под сводами тюрьмы!

<1906>

ТИХО СТАЛО КРУГОМ...

Струны порваны! Песня, умолкни теперь!
Все слова мы до битвы сказали.
Снова ожил дракон, издыхающий зверь,
И мечи вместо струн зазвучали.

Потонули в крови города на земле!
Задымились и горы, и степи!
Ночь настала опять, притаилась во мгле
И кует еще новые цепи.

Тихо стало кругом: люди грудой костей
В темных ямах тихонько зарыты.
Люди в тюрьмах гниют, в кольцах крепких цепей,
Люди в каменных склепах укрыты.

Тихо стало кругом; в этой жуткой ночи
Нет ни звука из жизни бывалой.
Там — внизу — побежденные точат мечи,
Наверху — победитель усталый.

Одряхлел и иссох обожравшийся зверь!
Там, внизу, что-то видит он снова,
Там дрожит и шатается старая дверь,
Богатырь разбивает оковы.

Задохнется дракон под железной рукой,
Из когтей он уронит свободу.
С громким, радостным криком могучий герой
Смрадный труп его бросит народу.

<1906>

ВАРШАВЯНКА

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?

В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.

Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

<1897>

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

(Польская рабочая песня)

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд!

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

Пусть слуги тьмы хотят насильно
Связать разорванную сеть,
Слепое зло падет бессильно,
Добро не может умереть.

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет.

Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

Бездушный гнет, тупой, холодный,
Готов погибнуть наконец,
Нам будет счастьем труд свободный,
И братство даст ему венец.

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

Скорей, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой и мысль одна!
Кто скажет буре: стой на месте?
Чья власть на свете так сильна?

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

Долой тиранов! Прочь оковы,
Не нужно старых, рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

<1897>

БЕСНУЙТЕСЬ, ТИРАНЫ...

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозитесь свирепо тюрьмой, кандалами!
Мы вольны душою, хоть телом попра́ны,—
Позор, позор, позор вам, тираны!

Пусть слабые духом трепещут пред вами,
Торгуют бесстыдно святыми правами;
Телесной неволи не страшны нам раны,—
Позор, позор, позор вам, тираны!

За тяжким трудом, в доле вечного рабства,
Народ угнетенный вам копит богатства,
Но рабство и муки не сломят титана! —
На страх, на страх, на страх вам, тираны!

В рудниках под землей, за станком и на поле,
Везде раздаются уж песни о воле,
И звуки той песни доходят до тронов,—
На страх, на страх, на страх всем тиранам!

Сверкайте штыками, грозите войсками,
Спасти вас не могут казармы с тюрьмами,
Ваш собственный страх не сковать вам цепями,—
И стыд, и страх, и месть вам, тираны!

От пролитой крови заря заалела,
Могучая всюду борьба закипела,
Пожаром восстанья объяты все страны,—
И смерть, и смерть, и смерть вам, тираны!

<1897 или 1898>

ЕГОР НЕЧАЕВ

ЯЗЫЧНИЦА

Я верила ему от колыбели:
«Он добр, он добр,— мне говорила мать,
Когда меня укладывала спать,
Голодную, склонившись у постели.—

Он справедлив, голубка, и над нами
Взойдет заря и осчастливит нас...
Ты запоешь, как птичка в ранний час
Поет, резвясь, согретая лучами.

Ты расцветешь, как ландыш белоснежный,
Как василек на ниве золотой...
Болезная, с горячею слезой
Молись ему душою безмятежной».

Я верила... В нужде изнемогая,
Чуждаясь слов «зачем» и «почему»,
Несчастная, я верила ему,
Всю горечь зла в молитве забывая.

Прошла пора. Мечтам моим бесплодным —
Увы! — теперь не верю, как и снам.
Я поняла: он не поможет нам,
Рабам нужды, забитым и голодным.

Он изваян жрецом честолюбивым,
Одетый в шелк. И, золотом залит,
Он бедняку страданием грозит,
А рай земной он отдает счастливым.

Повсюду зло... Кровь неповинных льется,
И с каждым днем мучительней, слышней
Несется стон измученных людей,
Мольба ж к нему бесплодной остается...

Довольно лгать! Я не могу склониться
В мольбе пред тем, кто близок богачу,
А бедным чужд... Довольно! Не хочу
И не могу я более молиться!

<1899>

ГУТАРЯМ

В адском пекле, в тучах пыли,
Под напев стекла и стали,
За работой, на заводе,
Песен звонких о свободе
Мы начало положили.

А мотивы к песням этим
На рассвете
Нам дубравы нашептали.

Чем дышали и болели,
Проливая пот и слезы,
Выход к светлому простору,
Что орлам лишь видеть впору,
В единенье усмотрели...

А идти стальной стеною
Смело к бою
Против зла — внушили грозы.

<1905>

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ

* * *

Эту песню не сам я собою сложил,
И не деды ее мне пропели.
Нет, ту песню принес ко мне ветер с могил,
Где останки товарищей тлели.
Тише, вслушайтесь в звуки фабричных свистков,
Лязг цепей, крик безвольных, бесправных рабов,
Плач детей беспризорных, голодных,
Стон и скрежет проклятий народных...
Через Польшу, Финляндию, дальний Кавказ,
Вплоть до тундры, где день безнадежно погас,
Стон за стоном несется, как в буре морской
За волною волна, за прибоем прибой...
Стон за стоном... На шахтах, полях, рудниках,
У плавильных печей, за станками,
Надрываясь в тяжелых, бессменных трудах,
То рабочие йдут рядами...

И пред нами, вперед, кандалами звеня,
В путь суровый Сибири холодной
В ожидании близкого лучшего дня
Йдут вестники жизни свободной.

<Конец 1890-х годов>

ПЕСНЯ ПРОЛЕТАРИЕВ

Кто добыл во тьме рудников миллионы?
Кто сталь для солдатских штыков отточил?
Воздвиг из гранита и мрамора троны,
В ненастье и холод за плугом ходил?
Кто дал богачам и вино и пшеницу
И горько томится в нужде безысходной?

Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный?
Кто с ранней зари и до поздней полночи
Стонал, надрывался под грохот машин,
Тяжелым трудом ослеплял себе очи,
Чтоб в роскоши жил фабрикант-господин?
Кто мощно вертит колесо мировое
И гибнет бесправным, как червь непригодный?

Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный?
Кто гнету насилья века обрекался,
В оковах неволи боролся и жил,
Под знаменем красным геройски сражался
И кровь неповинную жертвенно лил?
О вестник победы!.. Титан непреклонный!
Ты молнии бросил из сумрака ночи...

Вперед — на борьбу, пролетарий, рабочий!..
Пусть пламя борьбы разрастется пожаром
И бурей пройдет среди братьев всех стран!..
Твердыни насилья мы рушим недаром...
Могуч и един наш воинственный стан...
Пусть враг нас встречает предательством черным,—
Победа за нами, за силой народной!
Победа близка, пролетарий голодный!

<1900>

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ

СМОЛКЛИ ЗАЛПЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ...

Смолкли залпы запоздалые,
  Смолк орудий гром.
Чуть дымятся лужи алые,
Спят кругом борцы усталые —
  Спят нездешним сном.

Вечер веет над скелетами
  Павших баррикад.
Над телами неотпетыми
Гимны скорбными приветами
  В сумраке звучат.

Спите, братья, с честью павшие,—
  Близок судный час.
Спите, радости не знавшие,—
  Ночь в руках у нас.

Все, что днем у нас разрушено,
  Выстроим во мгле.
Жажда битвы не задушена
  В раненом орле.

Ночью снова баррикадами
  Город обовьем.
Утром свежими отрядами
  Новый бой начнем.

Спите, братья и товарищи!
Близок судный час —
На неслыханном пожарище
Мы помянем вас!

<Декабрь 1905>

БРАТЬЯМ

Новый год я встречаю не гордыми, мощными гимнами.
Новый год к нам подкрался средь стынущих тел мертвецов.
Но молчать не могу. Буду плакаться с вьюгами зимними
Над могилами павших — нам близких и милых — борцов.

Будь я сердцем суровей — лишь местью святою звучала бы
Эта песня моя, увлекая вперед и вперед.
Но не верен мне голос. Протяжной, медлительной жалобой
Провожаю кровавый — для многих неконченный — год.

Сердце слишком полно неотмщенными злыми обидами,
И молчать не могу,— для молчанья не стало бы сил.
Но простите, коль песни мои прозвучат панихидами
Над холмами несчетных — нам близких и милых — могил.

<Декабрь 1905>

ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО МЫ УСТАЛИ...

Ты говоришь, что мы устали,
Что и теперь, при свете дня,
В созданьях наших нет огня,
Что гибкий голос твердой стали
Обвит в них сумраком печали
И раздается, чуть звеня.

Но ведь для нас вся жизнь — тревога...
Лишь для того, чтоб отдохнуть,
Мы коротаем песней путь.
И вот теперь, когда нас много,—
У заповедного порога
Нас в песнях сменит кто-нибудь.

Мы не поэты, мы — предтечи
Пред тем, кого покамест нет.
Но он придет — и будет свет,
И будет радость бурной встречи,
И вспыхнут радостные речи,
И он нам скажет: «Я — поэт!»

Он не пришел, но он меж нами.
Он в шахтах уголь достает,
Он тяжким молотом кует,
Он раздувает в горне пламя,
В его руках победы знамя —
Он не пришел, но он придет.

Ты прав, мой друг,— и мы устали.
Мы — предрассветная звезда,
Мы в солнце гаснем без следа.
Но близок он. Из гибкой стали
Создаст он чуждые печали
Напевы воли и труда.

<1905>

СТАРЫЙ ДОМ

Воздух к вечеру прозрачен.
Ветер тише. Пыли нет.
Старый дом тревожно-мрачен.
В старом доме поздний свет.

Кто-то щурится пугливо,
Кто-то ходит за окном...
А ведь было: спал счастливо,
Спал спокойно старый дом.

Спали лапчатые ели,
Спали мощные дубы.
На деревне песни пели
Истомленные рабы.

Песни пели. Песни плыли,
Разливались по реке.
Дни за днями проходили
Здесь — неслышно, там — в тоске.

Завтра так же, как сегодня,
А сегодня — как всегда.
Что же,— станет посвободней?
Если станет — так когда?

Было время — миновало
И травою поросло.
Старый дом глядит устало.
Птица бьется о стекло.

Тихий парк в ограде древней
По ночам не может спать.
За рекою на деревне
Звонких песен не слыхать.

Странно-чуткою дремотой
Все охвачено вокруг.
На деревне ждут чего-то,
Что-то ярко вспыхнет вдруг.

Где-то тень летучей птицы
Промелькнула, замерла.
В старом парке стало тише,
Всюду трепет, всюду мгла.

В старом доме бродит кто-то,
Окна мертвы. Свет погас.
На деревне ждут чего-то.
Ждут, когда свершится час.

Ждут, когда прольются росы,
Звонких песен не поют.
На деревне точат косы,
Эй, вставай, крещеный люд!

<1906>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «TERTIA VIGILIA»[1]

(1900)

ИЗ ЦИКЛА «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

* * *

Ребенком я, не зная страху,
Хоть вечер был и шла метель,
Блуждал в лесу, и встретил пряху,
И полюбил ее кудель.

И было мне так сладко в детстве
Следить мелькающую нить,
И много странных соответствий
С мечтами в красках находить.

То нить казалась белой, чистой;
То вдруг, под медленной луной,
Блистала тканью серебристой;
Потом слилась со мглой ночной.

Я, наконец, на третьей страже.
Восток означился, горя,
И обагрила нити пряжи
Кровавым отблеском заря!

21 октября 1900

[1] «Третья стража» *(лат.)*.

ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБИМЦЫ ВЕКОВ»

АССАРГАДОН

Ассирийская надпись

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.

Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?
Деянья всех людей — как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах — как детская забава.

Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон.

17 декабря 1897

СКИФЫ

Если б некогда гостем я прибыл
К вам, мои отдаленные предки,—
Вы собратом гордиться могли бы,
Полюбили бы взор мой меткий.

Мне легко далась бы наука
Поджидать матерого тура.
Вот — я чувствую гибкость лука,
На плечах моих барсова шкура.

Словно с детства я к битвам приучен!
Все в раздолье степей мне родное!
И мой голос верно созвучен
С оглушительным бранным воем.

Из пловцов окажусь я лучшим,
Обгоню всех юношей в беге;
Ваша дева со взором жгучим
Заласкает меня ночью в телеге.

Истукан на середине деревни
Поглядит на меня исподлобья.
Я уважу лик его древний,
Одарить его пышно — готов я.

А когда рассядутся старцы,
Молодежь запляшет под клики,—
На куске сбереженного кварца
Начерчу я новые лики.

Я буду как все — и особый.
Волхвы меня примут, как сына.
Я сложу им песню для пробы.
Но от них уйду я в дружину.

Где вы! слушайте, вольные волки!
Повинуйтесь жданному кличу!
У коней развеваются челки,
Мы опять летим на добычу.

29 ноября 1899

ДАНТЕ В ВЕНЕЦИИ

По улицам Венеции, в вечерний
Неверный час, блуждал я меж толпы,
И сердце трепетало суеверней.

Каналы, как громадные тропы,
Манили в вечность; в переменах тени
Казались дивны строгие столпы,

И ряд оживших призрачных строений
Являл очам, чего уж больше нет,
Что́ было для минувших поколений.

И, словно унесенный в лунный свет,
Я упивался невозможным чудом,
Но тяжек был мне дружеский привет...

В тот вечер улицы кишели людом,
Во мгле свободно веселился грех,
И был весь город дьявольским сосудом.

Бесстыдно раздавался женский смех,
И зверские мелькали мимо лица...
И помыслы разгадывал я всех.

Но вдруг среди позорной вереницы
Угрюмый облик предо мной возник.
— Так иногда с утеса глянут птицы,—

То был суровый, опаленный лик,
Не мертвый лик, но просветленно-страстный,
Без возраста — не мальчик, не старик.

И жалким нашим нуждам не причастный,
Случайный отблеск будущих веков,
Он сквозь толпу и шум прошел, как властный.

Мгновенно замер говор голосов,
Как будто в вечность приоткрылись двери,
И я спросил, дрожа, кто он таков.

Но тотчас понял: Данте Алигьери.

18 декабря 1900

ИЗ ЦИКЛА «В СТЕНАХ»

* * *

Я люблю большие дома
И узкие улицы города,—
В дни, когда не настала зима,
А осень повеяла холодом.

Пространства люблю площадей,
Стенами кругом огражденные,—
В час, когда еще нет фонарей,
А затеплились звезды смущенные.

Город и камни люблю,
Грохот его и шумы певучие,—
В миг, когда песню глубоко таю,
Но в восторге слышу созвучия.

29 августа 1898

ИЗ ЦИКЛА «ПРОЗРЕНИЯ»

В НЕКОНЧЕНОМ ЗДАНИИ

Мы бродим в неконченом здании
По шатким, дрожащим лесам,
В каком-то тупом ожидании,
Не веря вечерним часам.

Бессвязные, странные лопасти
Нам путь отрезают... мы ждем.
Мы видим бездонные пропасти
За нашим неверным путем.

Оконные встретив пробоины,
Мы робко в пространства глядим:
Над крышами крыши надстроены,
Безмолвие, холод и дым.

Нам страшны размеры громадные
Безвестной растущей тюрьмы.
Над безднами, жалкие, жадные,
Стоим, зачарованы, мы.

Но первые плотные лестницы,
Ведущие к балкам, во мрак,
Встают как безмолвные вестницы,
Встают как таинственный знак!

Здесь будут проходы и комнаты!
Здесь стены задвинутся сплошь!
О думы упорные, вспомните!
Вы только забыли чертеж!

Свершится, что вами замыслено,
Громада до неба взойдет
И в глуби, разумно расчисленной,
Замкнет человеческий род.

И вот почему — в ожидании
Не верим мы темным часам:
Мы бродим в неконченом здании,
Мы бродим по шатким лесам!

1 февраля 1900

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «URBI ET ORBI»[1]

(1903)

ИЗ ЦИКЛА «ВСТУПЛЕНИЯ»

У СЕБЯ

Так все понятно и знакомо,
Ко всем изгибам глаз привык;
Да, не ошибся я, я — дома:
Цветы обоев, цепи книг...

Я старый пепел не тревожу,—
Здесь был огонь и вот остыл.
Как змей на сброшенную кожу,
Смотрю на то, чем прежде был.

Пусть много гимнов не допето
И не исчерпано блаженств,
Но чую блеск иного света,
Возможность новых совершенств!

[1] «Граду (Риму) и миру» *(лат.)*.

Меня зовет к безвестным высям
В горах поющая весна,
А эта груда женских писем
И нежива, и холодна!

Лучей зрачки горят на росах,
Как серебром все залито...
Ты ждешь меня у двери, посох!
Иду! иду! со мной — никто!

1901

РАБОТА

Здравствуй, тяжкая работа,
Плуг, лопата и кирка!
Освежают капли пота,
Ноет сладостно рука!

Прочь венки, дары царевны,
Упадай порфира с плеч!
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!

Я хочу изведать тайны
Жизни мудрой и простой.
Все пути необычайны,
Путь труда, как путь иной.

В час, когда устанет тело
И ночлегом будет хлев,—
Мне под кровлей закоптелой
Что приснится за напев?

Что восстанут за вопросы,
Опьянят что за слова
В час, когда под наши косы
Ляжет влажная трава?

А когда, и в дождь и в холод,
Зазвенит кирка моя,
Буду ль верить, что я молод,
Буду ль знать, что силен я?

<Июль 1901>

ИЗ ЦИКЛА «ДУМЫ»

МИР

Я помню этот мир, утраченный мной с детства,
Как сон непонятый и прерванный, как бред...
Я берегу его — единое наследство
Мной пережитых и забытых лет.
Я помню формы, звуки, запах... О! и запах!
Амбары темные, огромные кули,
Подвалы пóд полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет незоркий,
Лежащий без теней в ленивой тишине,
И запах надо всем, нежалящие когти
Вонзающий в мечты, в желанья, в речь, во все!
Быть может, выросший в веревках или дегте
Иль вползший, как змея, в безлюдное жилье,
Но царствующий здесь над всем житейским складом,
Проникший все насквозь, держащий все в себе!
О, позабытый мир! и я дышал тем ядом,
И я причастен был твоей судьбе!

Я помню: за окном, за дверью с хриплым блоком
Был плоский и глухой, всегда нечистый двор.
Стеной и вывеской кончался кругозор
(Порой закат блестел на куполе далеком).
И этот старый двор всегда был пуст и тих,
Как заводь сорная, вся в камышах и тине...
Мелькнет монахиня... Купец в поддевке синей...
Поспешно пробегут два юрких половых...
И снова душный сон всех звуков, красок, линий.
Когда въезжал сюда телег тяжелый ряд
С самоуверенным и беспощадным скрипом,—
И дюжим лошадям, и безобразным кипам,
И громким окрикам сам двор казался рад.
Шумели молодцы, стуча вскрывались люки,
Мелькали руки, пахло кумачом...
Но проходил тот час, вновь умирали звуки,
Двор застывал во сне, привычном и немом...
А под вечер опять мелькали половые,

Лениво унося порожние судки...
Но поздно... Главы гаснут золотые.
Углы — приют теней — темны и глубоки.
Уже давно вся жизнь влачится неисправней,
Мигают лампы, пахнет керосин...
И скоро вынесут на волю, к окнам, ставни,
И пропоет замок, и дом заснет — один.

Я помню этот мир. И сам я в этом мире
Когда-то был как свой, сливался с ним в одно.
Я мальчиком глядел в то пыльное окно,
У сумрачных весов играл в большие гири
И лазил по мешкам в сараях, где темно.
Мечтанья детские в те дни уже светлели;
Мне снились: рощи пальм, безвестный океан,
И тайны полюсов, и бездны подземелий,
И дерзкие пути междупланетных стран.
Но дряхлый, ветхий мир на все мои химеры
Улыбкой отвечал, как ласковый старик.
И тихо надо мной — ребенком — ник,
Громадный, неподвижный, серый.
И что-то было в нем родным и близким мне.
Он глухо мне шептал, и понимал его я...
И смешивалось все, как в смутном сне:
Мечта о неземном и сладкий мир покоя...

. . . .

Недавно я прошел знакомым переулком
И не узнал заветных мест совсем.
Тот, мне знакомый, мир был тускл и нем —
Теперь сверкало все, гремело в гуле гулком!
Воздвиглись здания из стали и стекла,
Дворцы огромные, где вольно бродят взоры...
Разрыты навсегда таинственные норы,
Бесстрастный свет вошел туда, где жалась мгла.
И лица новые, и говор чужд... Все ново!
Как сказка смелая — воспоминанья лет!
Нет даже и во мне тогдашнего былого,
Напрасно я ищу в душе желанный след...
В душе все новое, как в городе торговли,
И мысли, и мечты, и чаянья, и страх.
Я мальчиком мечтал о будущих годах:
И вот они пришли... Ну, что же? Я таков ли,

Каким желал я быть? Добыл ли я венец?
Иль эти здания, все из стекла и стали,
Восставшие в душе, как призрачный дворец,
Все утоленные восторги и печали,
Все это новое — напрасно взяло верх
Над миром тем, что мне — столетья завещали,
Который был моим, который я отверг!

<1903>
Москва

ИЗ ЦИКЛА «КАРТИНЫ»

ЛЮБЛЮ ОДНО

Люблю одно: бродить без цели
По шумным улицам, один;
Люблю часы святых безделий,
Часы раздумий и картин.

Я с изумленьем, вечно новым,
Весной встречаю синеву,
И в вечер пьян огнем багровым,
И ночью сумраком живу.

Смотрю в лицо идущих мимо,
В их тайны властно увлечен,
То полон грустью нелюдимой,
То богомолен, то влюблен.

Под вольный грохот экипажей
Мечтать и думать я привык,
В теснине стен я весь на страже:
Да уловлю господень лик!

12 октября 1900

КАМЕНЩИК

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
— Верно, не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?
— Может быть, сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!
— Эй, берегись! под лесами не балуй...
Знаем всё сами, молчи!

16 июля 1901

НОЧЬ

Горящее лицо земля
В прохладной тени окунула.
Пустеют знойные поля,
В столицах молкнет песня гула.

Идет и торжествует мгла,
На лампы дует, гасит свечи,
В постели к любящим легла
И властно их смежила речи.

Но пробуждается разврат.
В его блестящие приюты
Сквозь тьму, по улицам, спешат
Скитальцы покупать минуты.

Стрелой вонзаясь в города,
Свистя в полях, гремя над бездной,
Летят немолчно поезда
Вперед по полосе железной.

Глядят несытые ряды
Фабричных окон в темный холод,
Не тихнет резкий стон руды,
Ему в ответ хохочет молот.

И, спину яростно клоня,
Скрывают бешенство проклятий
Среди железа и огня
Давно испытанные рати.

Сентябрь 1902

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «STEPHANOS» [1]

(1906)

ИЗ ЦИКЛА «ВЕЧЕРОВЫЕ ПЕСНИ»

ГОЛОС ПРОШЛОГО

Вьет дорога на деревни
Зеленеющим овсом,
И поет мне голос древний,
Колокольчик, о былом.

Словно в прошлое глядится
Месяц, вставший над рекой,
И янтарный лик двоится:
Он и тот же, и другой.

Снова смутное бряцанье,
Вновь и вечер, и овес,
Лишь одни воспоминанья
Я живыми не донес.

Как в тумане все поблекло,
На минувших годах тень...
Так едва мерцают стекла
Удаленных деревень.

Все темнее. Кто томится
В смутной песне под дугой?
Словно в прошлое глядится
Лик янтарный над рекой.

1904

---

[1] «Венок» *(греч.)*.

ИЗ ЦИКЛА «ПОВСЕДНЕВНОСТЬ»

КАМЕНЩИК

Камни, полдень, пыль и молот,
Камни, пыль и зной.
Горе тем, кто свеж и молод
Здесь, в тюрьме земной!

Нам дана любовь — как цепи,
И нужда — как плеть...
Кто уйдет в пустые степи
Вольно умереть!

Камни, полдень, пыль и молот,
Камни, пыль и зной...
Камень молотом расколот,
Длится труд дневной.

Камни бьем, чтоб жить на свете,
И живем,— чтоб бить...
Горе тем, кто ныне дети,
Тем, кто должен быть!

Камни, полдень, пыль и молот,
Камни, пыль и зной...
Распахнет ли смертный холод
Двери в мир иной!

<Декабрь 1903>

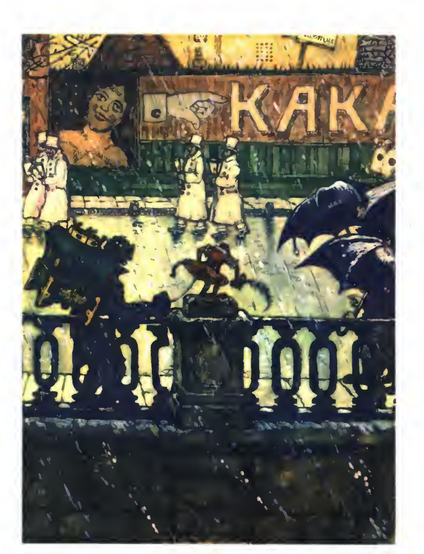
ИЗ ЦИКЛА «СОВРЕМЕННОСТЬ»

КИНЖАЛ

Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок...

М. Лермонтов

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.


КАК

Добужинский М. В.
Гримасы города
Акварель, гуашь. 1908
Государственная Третьяковская галерея

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века, загадочно былые.

Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.

Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной стали,
И снова я с людьми,— затем, что я поэт.
Затем, что молнии сверкали.

1903

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ

Они кричат: за нами право!
Они клянут: ты бунтовщик,
Ты поднял стяг войны кровавой,
На брата брата ты воздвиг!

Но вы, что́ сделали вы с Римом,
Вы, консулы, и ты, сенат!
О вашем гнете нестерпимом
И камни улиц говорят!

Вы мне твердите о народе,
Зовете охранять покой,
Когда при вас Милон и Клодий
На площадях вступают в бой!

Вы мне кричите, что не смею
С сенатской волей спорить я,
Вы, Рим предавшие Помпею
Во власть секиры и копья!

Хотя б прикрыли гроб законов
Вы лаврами далеких стран!
Но что же! Римских легионов
Значки — во храмах у парфян!

Давно вас ждут в родном Эребе!
Вы — выродки былых времен!
Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон!

<Август 1905>

ПАЛОМНИКАМ СВОБОДЫ

Свои торжественные своды
Из-за ограды вековой
Вздымал к простору Храм Свободы,
Затерянный в тайге глухой.

Сюда, предчувствием томимы,
К угрюмо запертым дверям,
Сходились часто пилигримы
Возжечь усердно фимиам.

И, плача у заветной двери,
Не смея прикоснуться к ней,
Вновь уходили — той же вере
Учить, как тайне, сыновей.

И с гулом рухнули затворы,
И дрогнула стена кругом,
И вот уже горят, как взоры,
Все окна храма торжеством.

Так что ж, с испугом и укором,
Паломники иных времен
Глядят, как зарево над бором
Весь заливает небосклон.

1905

ДОВОЛЬНЫМ

Мне стыдно ваших поздравлений,
Мне страшно ваших гордых слов!
Довольно было унижений
Пред ликом будущих веков!

Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочок травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка — и блаженны вы!

Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон!

Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал,
Не молния, а полдень серый,
Не агора́, а общий зал.

На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,
Крушите жизнь — и с ней меня!

18 октября 1905

ГРЯДУЩИЕ ГУННЫ

Топчи их рай, Аттила.

Вяч. Иванов

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколосите веселое поле
На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме,—
Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что́, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?

Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

<Осень 1904,
30 июля — 10 августа 1905>

ФОНАРИКИ

Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!
Огни многообразные, вы тешите мой взгляд...
То яркие, то тусклые фонарики горят.
Сверкают, разноцветные, в причудливом саду,
В котором, очарованный, и я теперь иду.
Вот пламенники красные — подряд по десяти.
Ассирия! Ассирия! мне мимо не пройти!
Хочу полюбоваться я на твой багряный свет:
Цветы в крови, трава в крови, и в небе красный след.
А вот гирлянда желтая квадратных фонарей.
Египет! сила странная в неяркости твоей!
Пронизывает глуби все твой беспощадный луч
И тянется властительно с земли до хмурых туч.

Но что горит высоко там и что слепит мой взор?
Над озером, о Индия, застыл твой метеор.
Взнесенный, неподвижен он, в пространствах —
брат звезде,
Но пляшут отражения, как змеи, по воде.
Широкая, свободная, аллея вдаль влечет,
Простым, но ясным светочем украшен строгий вход.
Тебя ли не признаю я, святой Периклов век!
Ты ясностью, прекрасностью победно мрак рассек!
Вхожу: все блеском залито, все сны воплощены,
Все краски, все сверкания, все тени сплетены!
О Рим, свет ослепительный одиннадцати чаш:
Ты — белый, торжествующий, ты нам родной, ты наш!
Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой...
Лазурное сияние, о Леонардо,— твой!..
Большая лампа Лютера — луч, устремленный вниз...
Две маленькие звездочки, век суетных маркиз...
Сноп молний — Революция! За ним громадный шар,
О, ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!
И вот стою ослепший я, мне дальше нет дорог,
А сумрак отдаления торжественен и строг.
К сырой земле лицом припав, я лишь могу глядеть,
Как вьется, как сплетается огней мелькнувших сеть.
Но вам молюсь, безвестные! еще в ночной тени
Сокрытые, не жившие, грядущие огни!

1904

ИЗ ЦИКЛА «ЛИРИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ»

КОНЬ БЛЕД

И се конь блед и сидящий на нем, имя́ ему Смерть.
Откровение, VI, 8

1

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;

В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле — души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ.

2

И внезапно — в эту бурю, в этот адский шепот,
В этот воплотившийся в земные формы бред,—
Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот,
Заглушая гулы, говор, грохоты карет.
Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах.
В воздухе еще дрожали — отголоски, крики,
Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх!
Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть...
Полосами яркими, как пряжей пышных ниток,
В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь.

3

И в великом ужасе, скрывая лица,— люди
То бессмысленно взывали: «Горе! с нами бог!»,
То, упав на мостовую, бились в общей груде...
Звери морды прятали, в смятенье, между ног.
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей,— в восторге бросилась к коню,
Плача целовала лошадиные копыта,
Руки простирала к огневеющему дню.
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
«Люди! Вы ль не узнаете божией десницы!
Сгибнет четверть вас — от мора, глада и меча!»

4

Но восторг и ужас длились — краткое мгновенье.
Через миг в толпе смятенной не стоял никто:
Набежало с улиц смежных новое движенье,
Было все обычным светом ярко залито.

И никто не мог ответить, в буре многошумной,
Было ль то виденье свыше или сон пустой.
Только женщина из зал веселья да безумный
Всё стремили руки за исчезнувшей мечтой.
Но и их решительно людские волны смыли,
Как слова ненужные из позабытых строк.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.

<Май, июль и декабрь 1903>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ВСЕ НАПЕВЫ»

(1909)

ПОЭТУ

Ты должен быть гордым, как знамя;
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор.
Да будет твоя добродетель —
Готовность взойти на костер.

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

В минуты любовных объятий
К бесстрастью себя приневоль
И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.

В снах утра и в бездне вечерней
Лови, что шепнет тебе Рок,
И помни: от века из терний
Поэта заветный венок.

18 декабря 1907

ИЗ ЦИКЛА «В ПОЛЕ»

ВЕК ЗА ВЕКОМ

Взрывают весенние плуги
Корявую кожу земли,—
Чтоб осенью снежные вьюги
Пустынный простор занесли.

Краснеет лукаво гречиха,
Синеет младенческий лен...
И снова все бело и тихо,
Лишь волки проходят, как сон.

Колеблются нивы от гула,
Их топчет озлобленный бой...
И снова безмолвно Микула
Взрезает им грудь бороздой.

А древние пращуры зорко
Следят за работой сынов,
Ветлой наклоняясь с пригорка,
Туманом вставая с лугов.

И дальше тропой неизбежной,
Сквозь годы и бедствий и смут,
Влечется, суровый, прилежный,
Веками завещанный труд.

<Январь 1907>

ИЗ ЦИКЛА «МЕРТВАЯ ЛЮБОВЬ»

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Ранняя осень любви умирающей.
Тайно люблю золотые цвета
Осени ранней, любви умирающей.
Ветви прозрачны, аллея пуста,
В сини бледнеющей, веющей, тающей
Странная тишь, красота, чистота.

Листья со вздохом, под ветром, их нежащим,
Тихо взлетают и катятся вдаль
(Думы о прошлом в видении нежащем).
Жить и не жить — хорошо и не жаль.
Острым серпом, безболезненно режущим,
Сжаты в душе и восторг и печаль.

Ясное солнце — без прежней мятежности,
Дождь — словно капли струящихся рос
(Томные ласки без прежней мятежности),
Запах в садах доцветающих роз.
В сердце родник успокоенной нежности,
Счастье — без ревности, страсть — без угроз.

Здравствуйте, дни голубые, осенние,
Золото лип и осин багрянец!
Здравствуйте, дни пред разлукой, осенние!
Бледный — над яркими днями — венец!
Дни недосказанных слов и мгновения
В кроткой покорности слитых сердец!

21 августа 1905

ИЗ ЦИКЛА «В ГОРОДЕ»

ГОРОДУ

Дифирамб

Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты — чарователь неустанный,
Ты — не слабеющий магнит.

Драконом, хищным и бескрылым,
Засев,— ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода.

Твоя безмерная утроба
Веков добычей не сыта,—
В ней неумолчно ропщет Злоба,
В ней грозно стонет Нищета.

Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для женщин, для картин, для книг;

Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов — орду
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!

И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд,—

Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.

Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам подымаешь над собой.

Январь 1907

ИЗ ЦИКЛА «ОДЫ И ПОСЛАНИЯ»

ХВАЛА ЧЕЛОВЕКУ

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен, Человек!

По глухим тропам столетий
Ты проходишь с топором,
Целишь луком, ставишь сети,
Торжествуешь над врагом!

Камни, ветер, воду, пламя
Ты смирил своей уздой,
Взвил ликующее знамя
Прямо в купол голубой.

Вечно властен, вечно молод,
В странах Сумрака и Льда,
Петь заставил вещий молот,
Залил блеском города.

Сквозь пустыню и над бездной
Ты провел свои пути,
Чтоб нервущейся, железной
Нитью землю оплести.

В древних вольных Океанах,
Где играли лишь киты,
На стальных левиафанах
Пробежал державно ты.

Змея, жалившего жадно
С неба выступы дубов,
Изловил ты беспощадно,
Неустанный зверолов,

И, шипя под хрупким шаром,
И в стекле согнут в дугу,
Он теперь, покорный чарам,
Светит хитрому врагу.

Царь несытый и упрямый
Четырех подлунных царств,
Не стыдясь, ты роешь ямы,
Множишь тысячи коварств,—

Но, отважный, со стихией
После бьешься с грудью грудь,
Чтоб еще над новой выей
Петлю рабства захлестнуть.

Верю, дерзкий! ты поставишь
По Земле ряды ветрил.
Ты своей рукой направишь
Бег планеты меж светил,—

И насельники вселенной,
Те, чей путь ты пересек,
Повторят привет священный:
Будь прославлен, Человек!

1 декабря 1906

ИЗ ЦИКЛА «ПРИВЕТСТВИЯ»

К МЕДНОМУ ВСАДНИКУ

В морозном тумане белеет Исакий.
На глыбе оснеженной высится Петр.
И люди проходят в дневном полумраке,
Как будто пред ним выступая на смотр.

Ты так же стоял здесь, обрызган и в пене,
Над темной равниной взмутившихся волн;
И тщетно грозил тебе бедный Евгений,
Охвачен безумием, яростью полн.

Стоял ты, когда между криков и гула
Покинутой рати ложились тела,
Чья кровь на снегах продымилась, блеснула
И полюс земной растопить не могла!

Сменяясь, шумели вокруг поколенья,
Вставали дома, как посевы твои...
Твой конь попирал с беспощадностью звенья
Бессильно под ним изогнутой змеи.

Но северный город — как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты, сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне.

24—25 января 1906
Петербург

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ»

(1912)

ИЗ ЦИКЛА «НА ГРУДИ ЗЕМНОЙ»

* * *

Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Ф. Тютчев

Снова, с тайной благодарностью,
Глубоко дышу коварностью
В сердце льющейся весны,
Счастье тихое предчувствую
И живой душой сопутствую
Птицам в далях вышины.

Снова будут сны и радости!
Разольются в поле сладости
Красных кашек, свежих трав.
Слух занежу в вешней прелести,
В шуме мошек, в легком шелесте
Вновь проснувшихся дубрав.

Снова ночи обнаженные
Заглядятся в воды сонные,
Чтоб зардеться на заре.
Тучка тонкая привесится
К золотому рогу месяца,
Будет таять в серебре.

Эти веянья и таянья,
Эти млеянья и чаянья,
Этот милый майский шум,—
Увлекая к беспредельности,
Возвращают тайну цельности
Снов и мира, слов и дум...

1911

* * *

> О нет, мне жизнь не надоела,
> Я жить хочу, я жизнь люблю!
>
> *А. Пушкин*

Идут года. Но с прежней страстью,
Как мальчик, я дышать готов
Любви неотвратимой властью
И властью огненной стихов.
Как прежде, детски верю счастью
И правде переменных снов!

Бывал я, с нежностью, обманут
И, с лаской, дружбой оскорблен,—
Но строфы славить не устанут
Мечты и страсти сладкий сон.
Я говорю: пусть розы вянут,
Май будет ими напоен!

Все прошлое — мне только снилось,
Разгадка жизни — впереди!
Душа искать не утомилась,
И сердце — дрожью жить в груди.
Пусть все свершится,— что б ни сбылось! —
Грядущий миг,— скорей приди!

Вновь, с рыбаком, надежды полный,
Тая восторженную дрожь,
В ладье гнилой, бросаюсь в волны.
Гроза бушует вкруг. Так что ж!
Не бойся, друг! пусть гибнут челны:
Ты счастье Цезаря везешь!

1911

ИЗ ЦИКЛА «РОДНЫЕ СТЕПИ»

ПО МЕЖЕ

Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!

По горбику тесной межи
Иду и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.

За полем усатым, не сжатым
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом...

Душа, насладись и умри!
Все это так странно знакомо,
Как сон, что ласкал до зари.

Итак, я вернулся, я — дома?
Так здравствуй, июльская тишь,
И ты, полевая истома,

Убогость соломенных крыш
И полосы желтого хлеба!
Со свистом проносится стриж

Вкруг церкви Бориса и Глеба.

1910
Белкино

* * *

В полях забытые усадьбы
Свой давний дозирают сон.
И церкви сельские, простые
Забыли про былые свадьбы,
Про роскошь барских похорон.

Дряхлеют парки вековые
С аллеями душистых лип.
Над прудом, где гниют беседки,
В тиши, в часы вечеровые,
Лишь выпи слышен зыбкий всхлип.

Выходит месяц, нежит ветки
Акаций, нежит робость струй.
Он помнит прошлые затеи,
Шелк, кружева, на косах сетки,
Смех, шепот, быстрый поцелуй.

Теперь все тихо. По аллее
Лишь жаба, волочась, ползет
Да еж проходит осторожно...
И все бессильней, все грустнее
Сгибаются столбы ворот.

Лишь в бурю, осенью, тревожно
Парк стонет громко, как больной,
Стряхнуть стараясь ужас сонный...
Старик! Жить дважды невозможно:
Ты вдруг проснешься, пробужденный
Внезапно взвизгнувшей пилой.

<1910—1911>

ИЗ ЦИКЛА «СВЯТОЕ РЕМЕСЛО»

ПОЭТ — МУЗЕ

Я изменял и многому, и многим,
Я покидал в час битвы знамена,
Но день за днем твоим веленьям строгим
Душа была верна.

Заслышав зов, ласкательный и властный,
Я труд бросал, вставал с одра, больной,
Я отрывал уста от ласки страстной,
Чтоб снова быть с тобой.

В тиши полей, под нежный шепот нивы,
Овеян тенью тучек золотых,
Я каждый трепет, каждый вздох счастливый
Вместить стремился в стих.

Во тьме желаний, в муке сладострастья,
Вверяя жизнь безумью и судьбе,
Я помнил, помнил, что вдыхаю счастье,
Чтоб рассказать тебе!

Когда стояла смерть, в одежде черной,
У ложа той, с кем слиты все мечты,
Сквозь скорбь и ужас я ловил упорно
Все миги, все черты.

Измучен долгим искусом страданий,
Лаская пальцами тугой курок,
Я счастлив был, что из своих признаний
Тебе сплету венок.

Не знаю, жить мне много или мало,
Иду я к свету иль во мрак ночной,—
Душа тебе быть верной не устала,
Тебе, тебе одной!

27 ноября 1911

РОДНОЙ ЯЗЫК

Мой верный друг! мой враг коварный!
Мой царь! мой раб! родной язык!
Мои стихи — как дым алтарный!
Как вызов яростный — мой крик!

Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил,
Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.

Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев — нежданных,
Овладевавших мной стихов!

Но часто, радостью измучен
Иль тихой упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей — отзвук твой!

Ты ждешь, подобен великану.
Я пред тобой склонен лицом.
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль с божеством!

Нет грани моему упорству.
Ты — в вечности, я — в кратких днях,
Но все ж, как магу, мне покорствуй
Иль обрати безумца в прах!

Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю,— ты ответствуй,
Иду,— ты будь готов к борьбе!

Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты — Мститель мой, ты — мой Спаситель,
Твой мир — навек моя обитель,
Твой голос — небо надо мной!

31 декабря 1911

ИЗ ЦИКЛА «ВЛАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕНИ»

ЕГИПЕТСКИЙ РАБ

Я жалкий раб царя. С восхода до заката,
Среди других рабов, свершаю тяжкий труд,
И хлеба кус гнилой — единственная плата
За слезы и за пот, за тысячи минут.

Когда порой душа отчаяньем объята,
Над сгорбленной спиной свистит жестокий кнут,
И каждый новый день товарища иль брата
В могилу общую крюками волокут.

Я жалкий раб царя, и жребий мой безвестен;
Как утренняя тень, исчезну без следа,
Меня с лица земли века сотрут, как плесень;

Но не исчезнет след упорного труда,
И вечность простоит, близ озера Мерида,
Гробница царская, святая пирамида.

7—20 октября 1911

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ»

(1916)

ИЗ РАЗДЕЛА «ОРАНЖЕВЫЙ»

ИЗ ЦИКЛА «Я САМ»

ЮНОШАМ

Мне все равно, друзья ль вы мне, враги ли,
И вам я мил иль ненавистен вам,
Но знаю,— вы томились и любили,
Вы душу предавали тайным снам;

Живой мечтой вы жаждете свободы,
Вы верите в безумную любовь,
В вас жизнь бушует, как морские воды,
В вас, как прибой, стучит по жилам кровь;

Ваш зорок глаз, и ваши легки ноги,
И дерзость подвига волнует вас,
Вы не боитесь,— ищете тревоги,
Не страшен,— сладок вам опасный час;

И вы за то мне близки и мне милы,
Как стеблю тонкому мила земля:
В вас, в вашей воле черпаю я силы,
Любуюсь вами, ваш огонь деля.

Вы — мой прообраз. Юности крылатой
Я, в вашем облике, молюсь всегда.
Вы то, что вечно, дорого и свято,
Вы — миру жизнь несущая вода!

Хочу лишь одного — быть вам подобным
Теперь и после: легким и живым,
Как волны океанские свободным,
Взносящимся в лазурь, как светлый дым.

Как вы, в себя я полон вещей веры,
Как вам, судьба поет и мне: живи!
Хочу всего, без грани и без меры,
Опасных битв и роковой любви!

Как перед вами, предо мной — открытый,
В безвестное ведущий, темный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой —
В безмерностях пространства потонуть!

Кем буду завтра, нынче я не знаю,
Быть может, два-три слова милых уст
Вновь предо мной врата раскроют к раю,
Быть может, вдруг мир станет мертв и пуст.

Таким живу, таким пребуду вечно,—
В моих, быть может, чуждых вам стихах,
Всегда любуясь дерзостью беспечной
В неугасимых молодых зрачках!

23 января 1914

ИЗ ЦИКЛА «СЫН ЗЕМЛИ»

ЗЕМЛЕ

Я — ваш, я ваш родич, священные гады!
Ив. Коневской

Как отчий дом, как старый горец горы,
Люблю я землю: тень ее лесов,
И моря ропоты, и звезд узоры,
И странные строенья облаков.

К зеленым далям с детства взор приучен,
С единственной луной сжилась мечта,
Давно для слуха грохот грома звучен,
И глаз усталый нежит темнота.

В безвестном мире, на иной планете,
Под сенью скал, под лаской алых лун,
С тоской любовной вспомню светы эти
И ровный ропот океанских струн.

Среди живых цветов, существ крылатых,
Я затоскую о своей земле,
О счастье рук, в объятье тесном сжатых,
Под старым дубом, в серебристой мгле.

В Эдеме вечном, где конец исканьям,
Где нам блаженство ставит свой предел,
Мечтой перенесусь к земным страданьям,
К восторгу и томленью смертных тел.

Я брат зверью, и ящерам, и рыбам.
Мне внятен рост весной встающих трав,
Молюсь земле, к ее священным глыбам
Устами неистомными припав!

25 августа 1912

ИЗ РАЗДЕЛА «ЗЕЛЕНЫЙ»

ИЗ ЦИКЛА «ПРИРОДЫ СОГЛЯДАТАЙ»

СУХИЕ ЛИСТЬЯ

Сухие листья, сухие листья,
Сухие листья, сухие листья
Под тусклым ветром кружат, шуршат.
Сухие листья, сухие листья,
Под тусклым ветром сухие листья,
Кружась, что шепчут, что говорят?

Трепещут сучья под тусклым ветром;
Сухие листья под тусклым ветром
Что говорят нам, нам шепчут что?
Трепещут сучья под тусклым ветром,
Лепечут листья под тусклым ветром,
Но слов не понял никто, никто!

Меж черных сучьев синеет небо,
Так странно-нежно синеет небо,
Так странно-нежно прозрачна даль.
Меж голых сучьев прозрачно небо,
Над черным прахом синеет небо,
Как будто небу земли не жаль.

Сухие листья шуршат о смерти,
Кружась под ветром, шуршат о смерти:
Они блестели, им время тлеть.
Прозрачно небо. Шуршат о смерти
Сухие листья,— чтоб после смерти
В цветах весенних опять блестеть!

Октябрь 1913
Опалиха

ИЗ РАЗДЕЛА «ЖЕЛТЫЙ»

ИЗ ЦИКЛА «СТОИМ, МЫ СЛЕПЫ...»

КРУГИ НА ВОДЕ

От камня, брошенного в воду,
Далеко ширятся круги.
Народ передает народу
Проклятый лозунг: «Мы — враги!»

Племен враждующих не числи:
Круги бегут, им нет числа;
В лазурной Марне, в желтой Висле
Влачатся чуждые тела;

В святых просторах Палестины
Уже звучат шаги войны;
В Анголе девственной — долины
Ее стопой потрясены;

Безлюдные утесы Чили
Оглашены глухой пальбой,
И воды Пе-че-ли покрыли
Флот, не отважившийся в бой.

Везде — вражда! где райской птицы
Воздушный зыблется полет,
Где в джунглях страшен стон тигрицы,
Где землю давит бегемот!

В чудесных, баснословных странах
Визг пуль и пушек ровный рев,
Повязки белые на ранах
И пятна красные крестов!

Внимая дальнему удару,
Встают народы, как враги,
И по всему земному шару
Бегут и ширятся круги.

2 декабря 1914
Варшава

ИЗ РАЗДЕЛА «ГОЛУБОЙ»

ИЗ ЦИКЛА «В ВАШИХ ЧЕРТОГАХ»

ПЕВЦУ «СЛОВА»

Стародавней Ярославне тихий ропот струн:
Лик твой скорбный, лик твой бледный, как и прежде, юн.
Раным-рано ты проходишь по градской стене,
Ты заклятье шепчешь солнцу, ветру и волне,

Полететь зегзицей хочешь в даль, к реке Каял,
Где без сил, в траве кровавой, милый задремал.
Ах, о муже-господине вся твоя тоска!
И, крутясь, уносит слезы в степи Днепр-река.

Стародавней Ярославне тихий ропот струн.
Лик твой древний, лик твой светлый, как и прежде, юн.
Иль певец безвестный, мудрый, тот, кто «Слово» спел,
Все мечты веков грядущих тайно подсмотрел?

Или русских женщин лики все в тебе слиты?
Ты — Наташа, ты — и Лиза, и Татьяна — ты!
На стене ты плачешь утром... Как светла тоска!
И, крутясь, уносит слезы песнь певца — в века!

1912

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ДЕВЯТАЯ КАМЕНА»

(1917)

ИЗ ЦИКЛА «В ДНИ КРАСНЫХ ЗНАМЕН»

ОСВОБОЖДЕННАЯ РОССИЯ

Освобожденная Россия,—
Какие дивные слова!
В них пробужденная стихия
Народной гордости — жива!
Как много раз в былые годы
Мы различали властный зов:
Зов обновленья и свободы,
Стон-вызов будущих веков!

Они, пред нами стоя, грозно
Нас вопрошали: «Долго ль ждать?
Пройдут года, и будет поздно!
На сроках есть своя печать.
Пусть вам тяжелый жребий выпал:
Вы ль отречетесь от него?
По всем столетьям Рок рассыпал
Задачи, труд и торжество!»

Кто, кто был глух на эти зовы?
Кто, кто был слеп средь долгой тьмы?
С восторгом первый гул суровый,—
Обвала гул признали мы.
То, десять лет назад, надлома
Ужасный грохот пробежал...
И вот теперь, под голос грома,
Сорвался и летит обвал!

И тем, кто в том работал,— слава!
Не даром жертвы без числа
Россия, в дни борьбы кровавой
И в дни былого, принесла!

Не даром сгибли сотни жизней
На плахе, в тюрьмах и в снегах!
Их смертный стон был гимн отчизне,
Их подвиг оживет в веках!

Как те, и наше поколенье
Свой долг исполнило вполне.
Блажен, въявь видевший мгновенья,
Что прежде грезились во сне!
Воплощены сны вековые
Всех лучших, всех живых сердец:
Преображенная Россия
Свободной стала,— наконец!

1 марта 1917

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ»
(1894)

ЧЕЛН ТОМЛЕНЬЯ

Князю А. И. Урусову

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.

Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.

Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти полн.

Умер вечер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод.

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Ландыши, лютики. Ласки любовные.
Ласточки лепет. Лобзанье лучей.
Лес зеленеющий. Луг расцветающий.
Светлый свободный журчащий ручей.

День догорает. Закат загорается.
Шепотом, ропотом рощи полны.
Новый восторг воскресает для жителей
Сказочной светлой свободной страны.

Ветра вечернего вздох замирающий.
Полной луны переменчивый лик.
Радость безумная. Грусть непонятная.
Миг невозможного. Счастия миг.

В СТОЛИЦЕ

Свежий запах душистого сена мне напомнил далекие дни,
Невозвратного светлого детства предо мной загорелись огни;
Предо мною воскресло то время, когда мир я безгрешно любил,
Когда не был еще человеком, но когда уже богом я был.

Мне снятся родные луга,
И звонкая песня косца,
Зеленого сена стога,
Веселье и смех без конца.
Июльского дня красота,
Зарница июльских ночей,
И детского сердца мечта
В сиянье нездешних лучей.
Протяжное пенье стрекоз,
Чуть слышные всплески реки,
Роптание лип и берез,
В полу́ночной тьме светляки.
И все, что в родной стороне
Меня озарило на миг,
Теперь пробудило во мне
Печали певучий родник.

И зачем истомленною грудью я вдыхаю живой аромат,
Вспоминая луга с их раздольем и забытый запущенный сад?
Свежий запах душистого сена только болью терзает меня:
Он мне душною ночью напомнил отлетевшие радости дня.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «В БЕЗБРЕЖНОСТИ»
(1895)

ИЗ ЦИКЛА «ЗА ПРЕДЕЛЫ»

КОВЫЛЬ

И. А. Бунину

Точно призрак умирающий,
На степи ковыль качается,
Смотрит месяц догорающий,
Белой тучкой омрачается.

И блуждают тени смутные
По пространству неоглядному,
И, непрочные, минутные,
Что-то шепчут ветру жадному.

И мерцание мелькнувшее
Исчезает за туманами;
Утонувшее минувшее
Возникает над курганами.

Месяц меркнет, омрачается,
Догорающий и тающий,
И, дрожа, ковыль качается,
Точно призрак умирающий.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ»
(1900)

ИЗ ЦИКЛА «ОТСВЕТЫ ЗАРЕВА»

В ГЛУХИЕ ДНИ

Предание

В глухие дни Бориса Годунова,
Во мгле Российской пасмурной страны,
Толпы́ людей скиталися без крова
И по ночам всходило две луны.

Два солнца по утрам светило с неба,
С свирепостью на дольный мир смотря.
И вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» —
Из тьмы лесов стремился до царя.

На улицах иссохшие скелеты
Щипали жадно чахлую траву,
Как скот, озверены и неодеты,—
И сны осуществлялись наяву.

Гроба, отяжелевшие от гнили,
Живым давали смрадный адский хлеб,
Во рту у мертвых сено находили,
И каждый дом был сумрачный вертеп.

От бурь и вихрей башни низвергались,
И небеса, таясь меж туч тройных,
Внезапно красным светом озарялись,
Являя битву воинств неземных.

Невиданные птицы прилетали,
Орлы парили с криком над Москвой,
На перекрестках, молча, старцы ждали,
Качая поседевшей головой.

Среди людей блуждали смерть и злоба,
Узрев комету, дрогнула земля,
И в эти дни Димитрий встал из гроба,
В Отрепьева свой дух переселя.

ИЗ ЦИКЛА «СТРАНА НЕВОЛИ»

УРОДЫ

Сонет

Я горько вас люблю, о бедные уроды,
Слепорожденные, хромые, горбуны,
Убогие рабы, не знавшие свободы,
Ладьи, разбитые веселостью волны.

И вы мне дороги, мучительные сны
Жестокой матери, безжалостной Природы,—
Кривые кактусы, побеги белены
И змей и ящериц отверженные роды.

Чума, проказа, тьма, убийство и беда,
Гоморра и Содом, слепые города,
Надежды хищные с раскрытыми губами,—

О, есть же и для вас в молитве череда!
Во имя господа, блаженного всегда,
Благословляю вас, да будет счастье с вами!

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ»

(1902)

ИЗ ЦИКЛА «ЧЕТВЕРОГЛАСИЕ СТИХИЙ»

ГИМН ОГНЮ

1

Огонь очистительный,
Огонь роковой,
Красивый, властительный,
Блестящий, живой!

2

Бесшумный в мерцанье церковной свечи,
Многошумный в пожаре,
Глухой для мольбы, многоликий,
Многоцветный при гибели зданий,
Проворный, веселый и страстный,
Так победно-прекрасный,
Что, когда он сжигает мое,
Не могу я не видеть его красоты,—
О красивый Огонь, я тебе посвятил все мечты!

3

Ты меняешься вечно,
Ты — повсюду другой.
Ты красный и дымный
В клокотанье костра.

Ты — как страшный цветок с лепестками из пламени,
Ты — как вставшие дыбом блестящие волосы.
Ты трепещешь, как желтое пламя свечи
С его голубым основаньем.
Ты являешься в быстром сиянье зарниц.
Ты, застывши, горишь в грозовых облаках —
Фиолетовых, аспидно-синих.
Ты средь шума громов и напева дождей
Возникаешь неверностью молний,
То изломом сверкнешь,
То сплошной полосой,
То как шар, окруженный сияющим воздухом,
Золотой, огневой,
С переменными красными пятнами.
Ты — в хрустальности звезд и в порыве комет.
Ты от солнца идешь и, как солнечный свет,
Согревательно входишь в растенья
И, будя и меняя в них тайную влагу,
То засветишься алой гвоздикой,
То зашепчешь, как колос пушистый,
То протянешься пьяной лозой.
Ты как искра встаешь
Из глухой темноты,
Долго ждешь, стережешь.
Кто пришел? Это ты!
Через миг ты умрешь,
Но пока ты живешь,
Нет сильней, нет страшней, нет светлей красоты!

4

Не устану тебя восхвалять,
О внезапный, о страшный, о вкрадчивый!
На тебе расплавляют металлы.
Близ тебя создают и куют
Много тяжких подков,
Много кос легкозвонных,
Чтоб косить, чтоб косить,
Много колец для пальцев лилейных,
Много колец, чтоб жизни сковать,
Чтобы в них, как в цепях, годы долгие быть
И устами остывшими слово «любить»
Повторять.

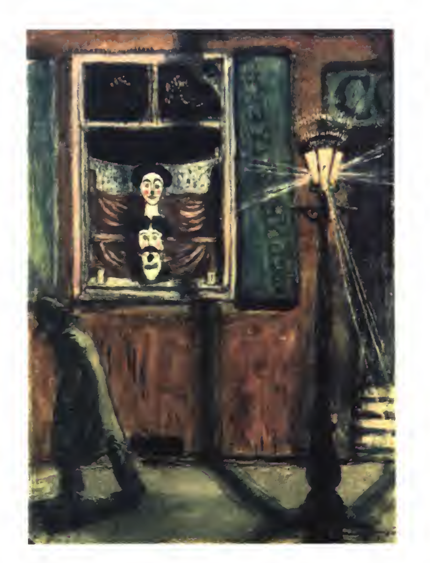
Много можешь ты странных вещей создавать:
Полносложность орудий, чтоб горы дробить,
Чтобы ценное золото в безднах добыть,
И отточенный нож, чтоб убить!

5

Вездесущий Огонь, я тебе посвятил все мечты,
Я такой же, как ты.
О, ты светишь, ты греешь, ты жжешь,
Ты живешь, ты живешь!
В старину ты, как Змей, прилетал без конца
И невест похищал от венца.
И, как огненный гость, много раз, в старину,
Ты утешил чужую жену.
О блестящий, о жгучий, о яростный!
В ярком пламени несколько разных слоев.
Ты горишь, как багряный, как темный, как желтый,
Весь согретый изменчивым золотом, праздник осенних листов.
Ты блестишь — как двенадцатицветный алмаз,
Как кошачья ласкательность женских влюбляющих глаз,
Как восторг изумрудный волны океана,
В тот миг как она преломляется,
Как весенний листок, на котором росинка дрожит и качается,
Как дрожанье зеленой мечты светляков,
Как мерцанье бродячих огней,
Как зажженные светом вечерним края облаков,
Распростерших свой траур над ликом сожженных и гаснущих дней!

6

Я помню, Огонь,
Как сжигал ты меня
Меж колдуний и ведьм, трепетавших от ласки Огня.
Нас терзали за то, что мы видели тайное,
Сожигали за радость полночного шабаша,—
Но увидевшим то, что мы видели,
Был не страшен Огонь.
Я помню еще,
О, я помню другое: горящие здания,
Где сжигали себя добровольно, средь тьмы,



Добужинский М. В.
Окно парикмахерской
Акварель, гуашь, уголь. 1906
Государственная Третьяковская галерея

Меж неверных, невидящих, верные — мы.
И при звуках молитв, с исступленными воплями
Мы слагали хваленья Даятелю сил.
Я помню, Огонь, я тебя полюбил!

7

Я знаю, Огонь,
И еще есть иное сиянье для нас,
Что горит перед взором навеки потухнувших глаз.
В нем внезапное знанье, в нем ужас, восторг
Пред безмерностью новых глубоких пространств.
Для чего, из чего, кто их взял, кто исторг,
Кто облек их в лучи многозвездных убранств?
Я уйду за ответом!
О душа восходящей стихии, стремящейся в твердь,
Я хочу, чтобы белым немеркнущим светом
Засветилась мне — смерть!

29 декабря 1900

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мы унижаемся и спорим
С своею собственной душой.
Я на год надышался морем,
И на год я для всех чужой.

Своих я бросил в чуждых странах,
Ушел туда, где гул волны,
Тонул в серебряных туманах
И видел царственные сны.

В прозрачном взоре отражая
Всю безграничность бледных вод,
Моя душа, для всех чужая,
Непостижимостью живет.

Поняв подвижность легкой пены,
Я создаю дрожащий стих
И так люблю свои измены,
Как неизменность всех своих.

Недели странствий миновали,—
Я к ним вернусь для тишины,
Для нерассказанной печáли
И для сверкания струны.

В тот час, когда погаснет солнце,
Она забьется, запоет —
Светлее звонкого червонца
И полнозвучней синих вод.

<1902>

ИСПАНСКИЙ ЦВЕТОК

Я вижу Толедо,
Я вижу Мадрид.
О белая Леда! Твой блеск и победа
Различным сияньем горит.

Крылатым и смелым
Был тот, кто влюблен.
И белый на белом, ликующим телом,
Он бросил в столетья свой сон.

Иные есть птицы,
Иные есть сны;
Я вижу бойницы: в них гордость орлицы,
В них пышность седой старины.

Застыли громады
Оконченных снов.
И сумрачно рады руины Гранады
Губительной силе веков.

Здесь дерзость желанья
Не гаснет ни в чем.
Везде изваянья былого влиянья,
Крещенья огнем и мечом.

О строгие лики
Умевших любить!
Вы смутно-велики, красивы и дики,
Вы поняли слово: убить.

Я вас не забуду,
Я с вами везде.
Жестокому чуду я верным пребуду,
Я предан испанской звезде!

<1901>

ИЗ ЦИКЛА «ЗМЕИНЫЙ ГЛАЗ»

* * *

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая —
Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.

<1901>

СЛОВА—ХАМЕЛЕОНЫ

Слова — хамелеоны,
Они живут спеша.
У них свои законы,
Особая душа.

Они спешат меняться,
Являя все цвета;
Поблекнут — обновятся,
И в том их красота.

Все радужные краски,
Все, что чарует взгляд,
Желая вечной сказки,
Они в себе таят.

И сказка длится, длится
И нарушает плен.
Как сладко измениться,—
Живите для измен!

6 ноября 1901

* * *

Все равно мне, человек плох или хорош,
Все равно мне, говорит правду или ложь.

Только б вольно он всегда *да* сказал на *да,*
Только б он, как вольный свет, *нет* сказал на *нет*.

Если в небе свет погас, значит — поздний час,
Значит — в первый мы с тобой и в последний раз.

Если в небе света нет, значит — умер свет,
Значит — ночь бежит, бежит, заметая след.

Если ключ поет всегда: «Да,— да, да,— да, да»,—
Значит, в нем молчанья нет — больше никогда.

Но опять зажжется свет в бездне новых туч,
И, быть может, замолчит на мгновенье ключ.

Красен солнцем вольный мир, черной тьмой хорош.
Я не знаю, день и ночь — правда или ложь.

Будем солнцем, будем тьмой, бурей и судьбой,
Будем счастливы с тобой в бездне голубой.

Если ж в сердце свет погас, значит — поздний час,
Значит — в первый мы с тобой и в последний раз.

ИЗ ЦИКЛА «СОЗНАНИЕ»

ТЕРЦИНЫ

Когда художник пережил мечту,
В его душе слагаются картины,
И за чертой он создает черту.

Исчерпав жизнь свою до половины,
Поэт, скорбя о том, чего уж нет,
Невольно пишет стройные терцины.

В них чувствуешь непогасимый свет
Страстей перекипевших и отживших,
В них слышен ровный шаг прошедших лет.

Виденья дней, как будто бы не бывших,
Встают, как сказка, в зеркале мечты,
И слышен гул приливов отступивших.

А в небесах, в провалах пустоты,
Светло горят закатным блеском тучи —
Светлее, чем осенние листы.

Сознаньем смерти глянувшей могучи,
Звучат напевы пышных панихид,
Величественны, скорбны и певучи.

Все образы, что память нам хранит,
В одежде холодеющих весталок
Идут, идут, спокойные на вид.

Но, боже мой, как тот безумно жалок,
Кто не узнает прежний аромат
В забытой сказке выцветших фиалок.

Последний стон. Дороги нет назад.
Кругом, везде, густеют властно тени.
Но тучи торжествующе горят.

Горят огнем переддремотной лени
И, завладев всем царством высоты,
Роняют свет на дольние ступени.

Я вас люблю, предсмертные цветы!

<1900>

ВЕЛАСКЕС

Веласкес, Веласкес, единственный гений,
Сумевший таинственным сделать простое,
Как властно над сонмом твоих сновидений
Безумствует солнце, всегда молодое!

С каким униженьем, и с болью, и в страхе,
Тобою — бессмертные, смотрят шуты,
Как странно белеют согбенные пряхи
В величье рабочей своей красоты!

И этот Распятый, над всеми Христами
Вознесшийся телом утонченно-бледным,
И длинные копья, что встали рядами
Над бранным героем, смиренно-победным!
И эти инфанты с Филиппом Четвертым,
Так чувственно-ярким поэтом-царем,—
Во всем этом блеске, для нас распростертом,
Мы пыль золотую, как пчелы, берем!

Мы черпаем силу для наших созданий
В живом роднике, не иссякшем доныне,
И в силе рожденных тобой очертаний
Приветствуем пышный оазис в пустыне.
Мы так и не знаем, какою же властью
Ты был — и оазис и вместе мираж,—
Судьбой ли, мечтой ли, умом или страстью
Ты вечно — прошедший, грядущий и наш!

<1901>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(1903)

ИЗ ЦИКЛА «БЕЗРАДОСТНОСТЬ»

БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ

Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора,—
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомленье — глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,—
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

<1900>

ИЗ ЦИКЛА «ПРИБЛИЖЕНИЯ»

ВОЗДУШНАЯ ДОРОГА

Памяти Владимира Сергеевича Соловьева

Недалека воздушная дорога,—
Как нам сказал единый из певцов,
Отшельник скромный, обожатель бога,
Поэт-монах Владимир Соловьев.

Везде идут незримые теченья,
Они вкруг нас, они в тебе, во мне.
Все в мире полно скрытого значенья,
Мы на земле — как бы в чужой стране.

Мы говорим. Но мы не понимаем
Всех пропастей людского языка.
Морей мечты, дворцов души не знаем,
Но в нас проходит звездная река.

Ты подарил мне свой привет когда-то,
Поэт-отшельник с кроткою душой.
И ты ушел отсюда без возврата,
Но мир земли — для неба не чужой.

Ты шествуешь теперь в долинах бога,
О дух, приявший светлую печать.
Но так близка воздушная дорога,
Вот вижу взор твой — я с тобой — опять.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ»

(1905)

ИЗ ЦИКЛА «БЫЛИНКИ»

БЕРЕЗА

Береза родная со стволом серебристым,
О тебе я в тропических чащах скучал.
Я скучал о сирени в цвету и о нем, соловье голосистом,
Обо всем, что я в детстве с мечтой обвенчал.
Я был там далёко —
В многокрасочной пряности пышных ликующих стран.
Там зловещая пума враждебно так щурила око
И пред быстрой грозой оглушал меня рев обезьян.
Но, тихонько качаясь
На тяжелом, чужом, мексиканском седле,
Я душою дремал — и, воздушно во мне расцвечаясь,
Восставали родимые тени в серебряной мгле.
О весенние грозы!
Детство с веткой сирени, в вечерней тиши — соловей,
Зыбь и шепот листвы этой милой плакучей березы,
Зачарованность снов — только раз расцветающих дней!

ИЗ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЯ»

(1906)

РУССКОМУ РАБОЧЕМУ

Рабочий, только на тебя
Надежда всей России.
Тяжелый молот пал, дробя
Оплоты крепостные.

Тот молот — твой. Пою тебя
Во имя всей России!

Ты знал нужду, ты знаешь труд,
Ты слишком знаешь голод.
Но ты восстал. С тобой идут
Все те, кто сердцем молод.
Будь тверд, яви еще свой суд,—
Острог не весь расколот.

Тебя желают обмануть
Опять, опять и снова.
Но ты нам всем наметил путь,
Дал всем свободу слова.
Так в бой со тьмой, и грудь — на грудь,—
То — зов сторожевого.

Сторожевой средь темноты,
Сторожевой средь ночи —
Лишь ты, бесстрашно-смелый, ты!
Твои нам светят очи.
Осуществятся все мечты,
Ты победишь, рабочий!

<Октябрь 1905>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЖАР-ПТИЦА»

(1907)

ИЗ ЦИКЛА «ТЕНИ БОГОВ СВЕТЛОГЛАЗЫХ»

СЛАВЯНСКОЕ ДРЕВО

Корнями гнездится глубоко,
Вершиной восходит высоко,
Зеленые ветви уводит в лазурно-широкую даль.
Корнями гнездится глубоко в земле,
Вершиной восходит к высокой скале,
Зеленые ветви уводит широко в безмерную синюю даль.

Корнями гнездится глубоко в земле и в бессмертном подземном огне,
Вершиной восходит высоко-высоко, теряясь светло в вышине,
Изумрудные ветви в расцвете уводит в бирюзовую вольную даль.
И знает веселье,
И знает печаль.
И, от моря до моря раскинув свои ожерелья,
Колыбельно поет над умом и уводит мечтание в даль.

Девически вспыхнет красивой калиной,
На кладбище горькой зажжется рябиной,
Взнесется упорно, как дуб вековой.
Качаясь и радуясь свисту метели,
Растянется лапчатой зеленью ели,
Сосной перемолвится с желтой совой.
Осиною тонкой, как дух, затрепещет,
Березой засветит, березой заблещет,
Серебряной ивой заплачет листвой.
Как тополь, как факел пахучий, восстанет,
Как липа июльская, ум затуманит,
Шепнет звездоцветно в ночах, как сирень.
И яблонью цвет свой рассыплет по саду,
И вишеньем ластится к детскому взгляду,
Черемухой нежит душистую тень.
Раскинет резьбу изумрудного клена
И долгою песней зеленого звона
Чарует дремотную лень.

В вешней роще, вдоль дорожки,
Ходит легкий ветерок.
На березе есть сережки,
На беляне — сладкий сок.

На березе белоствольной
Бьются липкие листки.
Над рекой весенней, вольной
Зыбко пляшут огоньки.

Над рекою в час разлива
Дух узывчивый бежит.
Ива, ива так красива,
Тонким кружевом дрожит.

Слышен голос ивы гибкой,
Как русалочий напев,
Как протяжность сказки зыбкой,
Как улыбка водных дев:

Срежь одну из веток стройных,
Освяти мечтой апрель
И, как Лель, для беспокойных,
Заиграй, запой в свирель.

Не забудь, что возле Древа
Есть кусты и есть цветки,
В зыбь свирельного напева
Все запутай огоньки,

Все запутай, перепутай,
Наш славянский цвет воспой,
Будь певучею минутой,
Будь веснянкой голубой.

И все растет зеленый звон,
И сон в душе поет:
У нас в полях есть нежный лен
И люб-трава цветет.
У нас есть папороть-цветок
И перелет-трава.
Небесно-радостный намек,
У нас есть синий василек —
Вся нива им жива.
Есть подорожник, есть дремá,
Есть ландыш-первоцвет.
И нет цветов, где злость и тьма,
И мандрагоры нет.
Нет тяжких кактусов, агав,
Цветов, глядящих, как удав,
Кошмаров естества.
Но есть ромашек нежный свет,
И сладких кашек есть расцвет,
И есть плакун-трава.

А наш пленительник долин,
Светящий, нежный наш жасмин —
Не это ль красота?
А сну подобные цветы,

Что безымянны, как мечты,
И странны, как мечта?
А наших лилий водяных —
Какой восторг заменит их?
Не нужно ничего.
И самых пышных орхидей
Я не возьму за сеть стеблей
Близ Древа моего.

Не все еще вымолвил голос свирели,
Но лишь не забудем, что круглый нам год
От ивы к березе, от вишенья к ели
Зеленое Древо цветет.

И туча протянется с молнией, с громом,
Как дьявольский омут, как ведьмовский сглаз,
Но Древо есть терем — и этим хоромам
Нет гибели, вечен их час.

Свежительны бури, рожденье в них чуда,
Колодец, криница, ковер-самолет.
И вечно нам, вечно, как сон изумруда,
Славянское Древо цветет.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОГРАД»

(1909)

РАДУЙСЯ

Радуйся — Сладим-река, Сладим-река течет,
Радуйся — в Сладим-реке, в Сладим-реке есть мед,
Радуйся — к Сладим-реке, к Сладим-реке прильнем,
Радуйся — с Сладим-рекой мы в рай, мы в рай войдем,
Радуйся — Сладим-река поит и кормит всех,
Радуйся — Сладим-река смывает всякий грех,
Радуйся — в Сладим-реке вещанье для души,
Радуйся — к Сладим-реке, к Сладим-реке спеши,
Радуйся — Сладим-река, Сладим-река есть рай,
Радуйся — в Сладим-реке Сладим-реку вбирай,
Радуйся — Сладим-река, Сладим-река есть мед,
Радуйся — Сладим-река, Сладим-река зовет.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЗАРЕВО ЗОРЬ»

(1912)

ИЗ ЦИКЛА «ДОЧЕРИ НОЧИ»

ЗОЛОТОЕ СЛОВО

Осень обещала: «Я озолочу».
А зима сказала: «Как я захочу».
А весна сказала: «Ну-ка, ну, зима».
И весна настала. Всюду кутерьма.

Солнце золотится. Лютик — золотой.
Речка серебрится и шалит водой.
Родилась на воле, залила луга,
Затопила поле, стерла берега.

Там, где не достала,— лютик золотой,
Желтый одуванчик — будет и седой.
Осень обещала. Помогла весна.
Ну, зима, пропала, хоть была сильна.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЕДА И ЛУНЫ»

(1917)

ПАНТЕРА

Она пестра, стройна и горяча.
Насытится — и на три дня дремота.
Проснется — и предчувствует. Охота
Ее зовет. Она встает, рыча.

Идет, лениво длинный хвост влача.
А мех ее — пятнистый. Позолота
Мерцает в нем. И говорил мне кто-то,
Что взор ее — волшебная свеча.

Дух от нее идет весьма приятный.
Ее воспел средь острых гор грузин,
Всех любящих призывный муэззин,—

Чей стих — алоэ густо-ароматный.
Как барс, ее он понял лишь один,
Горя зарей кроваво-беззакатной.

<Октябрь 1915 (?)>

БЛЕСК БОЛИ

«Дай сердце мне твое неразделенным»,—
Сказала Тариэлю Нэстан-Джар.
И столько было в ней глубоких чар,
Что только ею он пребыл зажженным.

Лишь ей он был растерзанным, взметенным,
Лишь к Нэстан-Дарэджан был весь пожар.
Лишь молния стремит такой удар,
Что ей нельзя не быть испепеленным.

О Нэстан-Джар! О Нэстан-Дарэджан!
Любовь твоя была — как вихрь безумий.
Твой милый был в огне, в жерле, в самуме.

Но высшей боли — блеск сильнейший дан.
Ее пропел, как никогда не пели,
Пронзенным сердцем Шота Руставели.

27 июня 1916

ФЕДОР СОЛОГУБ

АНГЕЛ БЛАГОГО МОЛЧАНИЯ

Грудь ли томится от зною,
Страшно ль смятение вьюг,—
Только бы ты был со мною,
Сладкий и радостный друг.

Ангел благого молчанья,
Тихий смиритель страстей,
Нет ни венца, ни сиянья
Над головою твоей.

Кротко потуплены очи,
Стан твой окутала мгла,
Тонкою влагою ночи
Веют два легких крыла.

Реешь над дольным пределом
Ты без меча, без луча,—
Только на поясе белом
Два золотые ключа.

Друг неизменный и нежный,
Тенью прохладною крыл
Век мой безумно-мятежный
Ты от толпы заслонил.

В тяжкие дни утомленья,
В ночи бессильных тревог
Ты отклонил помышленья
От недоступных дорог.

2—3 декабря 1900

* * *

Я ухо приложил к земле,
Чтобы услышать конский топот,—
Но только ропот, только шепот
Ко мне доходит по земле.

Нет громких стуков, нет покоя,
Но кто же шепчет, и о чем?
Кто под моим лежит плечом
И уху не дает покоя?

Ползет червяк? Растет трава?
Вода ли капает до глины?
Молчат окрестные долины,
Земля суха, тиха трава.

Пророчит что-то тихий шепот?
Иль, может быть, зовет меня,
К покою вечному клоня,
Печальный ропот, темный шепот?

31 декабря 1900
Миракс

* * *

Моя усталость выше гор,
Во рву лежит моя любовь,
И потускневший ищет взор,
Где слезы катятся и кровь.

Моя усталость выше гор,
Не для земли ее труды...
О, темный взор, о, скучный взор,
О, злые, страшные плоды!

10 мая 1902

* * *

Когда звенят согласные напевы
Ойлейских дев
И в пляске медленной кружатся девы
Под свой напев,—

Преодолев несносные преграды
И смерти рад,
Вперяю я внимательные взгляды
В их светлый град.

Отрад святых насытясь дуновеньем,
С тебя, Ойле,
Стремлюсь опять, окованный забвеньем,
К моей земле.

Во мгле земли свершаю превращенья,
Покорен я,—
И дней медлительных влачатся звенья,
О, жизнь моя!

16 июня 1902

* * *

Я живу в темной пещере,
Я не вижу белых ночей.
В моей надежде, в моей вере
Нет сиянья, нет лучей.

Ход к пещере никем не иден,
И не то ль защита от меча!
Вход в пещеру чуть виден,
И предо мною горит свеча.

В моей пещере тесно и сыро,
И нечем ее согреть.
Далекий от земного мира,
Я должен здесь умереть.

16 июня 1902

* * *

Оргийное безумие в вине,
Оно весь мир, смеясь, колышет.
Но в трезвости и в мирной тишине
Порою то ж безумье дышит.

Оно молчит в нависнувших ветвях,
И стережет в пещере жадной,
И, затаясь в медлительных струях,
Оно зовет в покой прохладный.

Порою, в воду мирно погрузясь,
Вдруг власть безумия признает тело,
И чуешь ты таинственную связь
С твоей душой губительного дела.

18 июня 1902

* * *

В тихий вечер на распутье двух дорог
Я колдунью молодую подстерег,
И во имя всех проклятых вражьих сил
У колдуньи талисмана я просил.
Предо мной она стояла чуть жива,
И шептала чародейные слова,
И искала талисмана в тихой мгле,
И нашла багряный камень на земле,
И сказала: «Этот камень ты возьмешь,—
С ним не бойся,— не захочешь, не умрешь.
Этот камень всё на шее ты носи
И другого талисмана не проси.
Не для счастья, иль удачи, иль венца,—
Только жить, все жить ты будешь без конца.
Станет скучно — ты веревку оборвешь,
Бросишь камень, станешь волен, и умрешь».

7 июля 1902

ИЗ ЦИКЛА «ГИМНЫ РОДИНЕ»

* * *

О Русь! в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!

Твоих равнин немые дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышат небеса,
Среди болот, в бессилье хилом,
Цветком поникшим и унылым,
Восходит бледная краса.

Твои суровые просторы
Томят тоскующие взоры
И души полные тоской.
Но и в отчаянье есть сладость.
Тебе, отчизна, стон и радость,
И безнадежность, и покой.

Милее нет на свете края,
О Русь, о родина моя.
Тебе, в тоске изнемогая,
Слагаю гимны я.

6 апреля 1903

* * *

Я один в безбрежном мире, я обман личин отверг.
Змий в пылающей порфире пред моим огнем померк.

Разделенья захотел я и воздвиг широкий круг,
Вольный мир огня, веселья, сочетаний и разлук.

Но наскучила мне радость переменчивых лучей,
Я зову иную сладость, слитность верную ночей.

Темнота ночная пала, скрылась бледная луна,
И под сенью покрывала ты опять со мной одна.

Ты оставила одежды у порога моего.
Исполнение надежды — радость тела твоего.

Предо мною ты нагая, как в творящий первый час.
Содрогаясь и вздыхая, ты нагая. Свет погас.

Ласки пламенные чую, вся в огне жестоком кровь.
Весть приемлю роковую: «Ты один со мною вновь».

17 июня 1904

ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Сел Иван-Царевич
На коня лихого.
Молвил нам Царевич
Ласковое слово:

«Грозный меч подъемлю,
В бой пойду я рано,
Заберу всю землю
Вплоть до океана».

Год проходит. Мчится
Вестник, воин бледный.
Он поспешно мчится,
Шлем иссечен медный.

«Сгибли наши рати
Силой вражьей злобы.
Кстати иль некстати,
Запасайте гробы.

Наш Иван-Царевич
Бился с многой славой».
«Где ж Иван-Царевич?»
«В битве пал кровавой».

3 декабря 1904

* * *

Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

Если сердце преданиям верно,
Утешаясь лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.

К повторениям сердце привычно,—
Однозвучно и скучно кукуем.
Все в зверинце безлично, обычно,
Мы о воле давно не тоскуем.

Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

<24 февраля 1905>

ШВЕЯ

Нынче праздник. За стеною
Разговор веселый смолк.
Я одна с моей иглою,
Вышиваю красный шелк.

Все ушли мои подруги
На веселый свет взглянуть,
Скоротать свои досуги,
Забавляясь как-нибудь.

Мне веселости не надо.
Что мне шум и что мне свет!
В праздник вся моя отрада,
Чтоб исполнить мой обет.

Все, что юность мне сулила,
Все, чем жизнь меня влекла,
Все судьба моя разбила,
Все коварно отняла.

«Шей нарядные одежды
Для изнеженных госпож!
Отвергай свои надежды!
Проклинай их злую ложь!»

И в покорности я никла,
Трепетала, словно лань,
Но зато шептать привыкла
Слово гордое: восстань!

Белым шелком красный мечу,
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Рати вражеской и злой.

5 августа 1905

ЗЕМЛЕ

В блаженном пламени восстанья
Моей тоски не утоля,
Спешу сказать мои желанья
Тебе, моя земля.

Производительница хлеба,
Разбей оковы древних меж
И нас, детей святого Феба,
Простором вольности утешь.

Дыханьем бури беспощадной,
Пожаром ярым уничтожь
Заклятья собственности жадной,
Заветов хитрых злую ложь.

Идущего за тяжким плугом
Спаси от долга и от клятв
И озари его досугом
За торжествами братских жатв.

И засияют светлой волей
Труда и сил твои поля
Во всей безгранности раздолий
Твоих, моя земля.

20 ноября 1905

ИСКАЛИ ДОЧЬ

Печаль в груди была остра,
Безумна ночь,—
И мы блуждали до утра,
Искали дочь.

Нам запомнилась навеки
Жутких улиц тишина,
Хрупкий снег, немые реки,
Дым костров, штыки, луна.

Чернели тени на огне
Ночных костров.
Звучали в мертвой тишине
Шаги врагов.

Там, где били и рубили,
У застав и у палат,
Что-то чутко сторожили
Цепи хмурые солдат.

Всю ночь мерещилась нам дочь,
Еще жива,
И нам нашептывала ночь
Ее слова.

По участкам, по больницам
(Где пускали, где и нет)
Мы склоняли к многим лицам
Тусклых свеч неровный свет.

Бросали груды страшных тел
В подвал сырой.
Туда пустить нас не хотел
Городовой.

Скорби пламенной язык ли,
Деньги ль дверь открыли нам,—
Рано утром мы проникли
В тьму, к поверженным телам.

Ступени скользкие вели
В сырую мглу,—
Под грудой тел мы дочь нашли
Там, на полу...

25 ноября 1905

ВЕСЕЛАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

(На четыре голоса)

Что вы, старцы, захудали,
Таковы невеселы,
Головы повесили?
«Отощали!»

Что вы, старые старухи,
Таковы невеселы,
Головы повесили?
«С голодухи!»

Что вы, парни, тихи стали,
Не играете, не скачете,
Всё ревете, плачете?
«Тятьку угнали!»

Что вы, детки, приуныли,
Не играете, не скачете,
Всё ревете, плачете?
«Мамку убили!»

4 декабря 1905

НЮРЕНБЕРГСКИЙ ПАЛАЧ

Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча.

И я учился в школе
В стенах монастыря,
От мудрости и боли
Томительно горя.

Но путь науки строгой
Я в юности отверг,
И вольною дорогой
Пришел я в Нюренберг.

На площади казнили:
У чьих-то смуглых плеч
В багряно-мглистой пыли
Сверкнул широкий меч.

Меня прельстила алость
Казнящего меча
И томная усталость
Седого палача.

Пришел к нему, учился
Владеть его мечом,
И в дочь его влюбился,
И стал я палачом.

Народною боязнью
Лишенный вольных встреч,
Один пред каждой казнью
Точу мой темный меч.

Один взойду на помост
Росистым утром я,
Пока спокоен дома
Строгий судия.

Свяжу веревкой руки
У жертвы палача.
О, сколько тусклой скуки
В сверкании меча!

Удар меча обрушу,
И хрустнут позвонки,
И кто-то бросит душу
В размах моей руки.

И хлынет ток багряный,
И, тяжкий труп влача,
Возникнет кто-то рдяный
И темный у меча.

Не опуская взора,
Пойду неспешно прочь
От скучного позора
В мою дневную ночь.

Сурово хмуря брови,
В окошко постучу,
И дома жажда крови
Приникнет к палачу.

Мой сын покорно ляжет
На узкую скамью,
Опять веревка свяжет
Тоску мою.

Стенания и слезы,—
Палач — везде палач.
О, скучный плеск березы!
О, скучный детский плач!

Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

22 февраля 1907

ЧЕРТОВЫ КАЧЕЛИ

В тени косматой ели
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.

Качает и смеется,
    Вперед, назад,
    Вперед, назад.
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.

Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь,
    Вперед, назад,
    Вперед, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.

Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».

В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».

Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,

Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.

Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Всё выше, выше... ах!

14 июня 1907

НА ВОЛГЕ

Плыву вдоль волжских берегов,
Гляжу в мечтаньях простодушных
На бронзу яркую лесов,
Осенней прихоти послушных.

И тихо шепчет мне мечта:
«Кончая век, уже недолгий,
Приди в родимые места
И догорай над милой Волгой».

И улыбаюсь я, поэт,
Мечтам сложивший много песен,
Поэт, которому весь свет
Для песнопения стал тесен.

Скиталец вечный, ныне здесь,
А завтра там, опять бездомный,
Найду ли кров себе и весь,
Где положу мой посох скромный?

21 сентября 1915
Волга. Кострома — Нагорево

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ»

(1903)

ИЗ ЦИКЛА «ПОРЫВ И ГРАНИ»

ПОКОРНОСТЬ

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Пушкин

Ты любишь горестно и трудно.

Пушкин

Иду в вечерней мгле под сводами древес.
Звезда, как перл слезы, на бледный лик небес
Явилась и дрожит... Иду, как верный воин,—
Устал — и мужествен. Унылый дух спокоен...

Эоны долгие, светило, ты плывешь;
Ты мой летучий век, как день, переживешь;
Мы — братья чуждые: но мой привет печальный
Тебе сопутствует в твоей дороге дальной!

Светило братское, во мне зажгло ты вновь
Неутолимую, напрасную любовь!
Детей творения, нас, в разлученной доле,
Покорность единит единой вечной Воле.

Как осенью листы, сменяясь без конца,
Несутся смертные дыханием Отца;
Простертые, на миг соединяют руки —
И вновь гонимы в даль забывчивой разлуки...

Сосредоточив жар, объемлющий весь мир,
Мы любим в Женщине его живой кумир:
Но в грани существа безвыходно стесненный,
Наш тайный, лучший пыл умрет неизъясненный...

Иду. В лазури ночь и веет, и парит;
Светило вечное торжественней горит:
А долу дышит мгла, влажней густые тени,
И тленьем пахнет лес, подобный смертной сени.

Покорность! нам испить три чаши суждено:
Дано нам умереть, как нам любить дано;
Гонясь за призраком — и близким, и далеким, —
Дано нам быть в любви и в смерти одиноким.

ИЗ ЦИКЛА «ДИОНИСУ»

МУЗЫКА

Голос музыки

Мой отец —
Оный алчущий бог, что нести восхотел
Воплощений слепых цветно-тканый удел,
Многострадную, страстную долю.
И поит он, и пенит сосуд бытия,
И лиют, не вместив, золотые края
Неисчерпно-кипящую волю.
Но, как облак златой,
Я рождаюсь из пены, в громах пролитой,
И несусь, и несу
Неизбытых пыланий глухую грозу,
И рыдаю в пустынях эфира...

Человеческий голос

И меня, и меня,
Ненасытного семя и светоч огня,
На шумящие бурно возьми ты крыла!

Как тебя,
Несказанная воля мне сердце зажгла;
Нерожденную Землю объемлю, любя,—
И колеблю узилище мира!

ЛИСТОПАД

В чаще багряной
Мраморный Пан
С праздной свирелью
Дремлет у влаги:
«Дуй, Аквилон,
В мою свирель,
Мой сон лелея!
Ярче алейте,
Хладные зори,
Пред долгой ночью!
Дольше кружитесь,
Желтые листья,
Над влагой черной!
Ждет терпеливо
Судьбы неизбежной
Темное лоно...»

Желтые листья
Ветр гонит к поблекшему брегу;
Царственный лебедь скользит между них,
А важная Муза героев,
С мраморным свитком,
Вперила на волны
Незрящие зрящие очи —
И думает думу:

«Над темным лоном судеб,
Обагренным жатвой падучей
Мгновенной жизни,
Как царственный лебедь,
Скользит ваш смертный соперник,
Титаноубийцы,—
Среди поколений летучих —
Муж Рока! —
И мерит бестрепетным оком

Бездонные тайны;
И, в омут времен недвижимых
Глядясь, узнаёт
Лелеемый влагой дремучей —
Свой образ...»

ИЗ ЦИКЛА «ГЕСПЕРИДЫ»

ТРИЗНА ДИОНИСА

Зимой, порою тризн вакхальных,
Когда менад безумный хор
Смятеньем воплей погребальных
Тревожит сон пустынных гор,—

На высотах, где Мельпомены
Давно умолкнул страшный глас
И меж развалин древней сцены
Алтарь вакхический угас,—

В благоговенье и печали
Воззвав к тому, чей был сей дом,
Менаду новую венчали
Мы Дионисовым венцом:

Сплетались пламенные розы
С плющом, отрадой дерзких нег,
И на листах, как чьи-то слезы,
Дрожа, сверкал алмазный снег...

Тогда пленительно-мятежной
Ты песнью огласила вдруг
Покрытый пеленою снежной
Священный Вакхов полукруг.

Ты пела, вдохновеньем оргий
И опьяняясь, и пьяня,
И беспощадные восторги,
И темный гроб земного дня:

«Увейте гроздьем тирсы, чаши!
Властней богов, сильней Судьбы,
Несите упоенья ваши!
Восстаньте — боги, не рабы!

Земных обетов и законов
Дерзните преступить порог,—
И в муке нег, и в пире стонов
Воскреснет исступленный бог!..»

Дул ветер; осыпались розы;
Склонялся скорбный кипарис...
Обнажены, роптали лозы:
«Почил великий Дионис!»

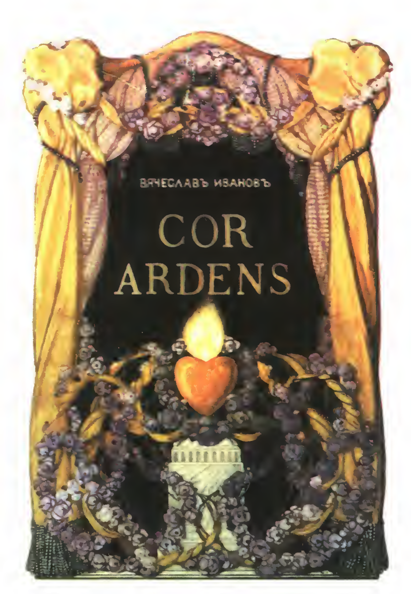
И с тризны мертвенно-вакхальной
Мы шли, туманны и грустны;
И был далек земле печальной
Возврат языческой весны.

<1898>

ОРФЕЙ

Не Судьба — незрячий пастырь — властным посохом,
Орфей! —
Боги путь твой указали промыслительной рукой,
И склонили путь рыданий к безнадежным глубинам,
И живым увидеть оком дали тихой Смерти дол.
И томительной неволи, умолительный певец,
Вечны створы бледноликий пред тобой разверз Аид!

Даровали мудро боги невредиму быть певцу
В преисподней, скрытой милой цветоносною землей.
В сумрак бездны, над которой наш беспечный хор
скользит,
Он доверчиво нисходит к рою зыблемых теней.
Видит ловчий лет Эриний на пахучий крови след,
Видит пленных вечный ужас в медяных тюрьмах
Горгон.
И, с Харитой неразлучен, уклонясь от многих рук,
К нам восходит и заводит победительный пеан.



ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ
COR
ARDENS

Сомов К. А.
Фронтиспис книги стихов Вяч. Иванова «Cor ardens»
(Москва, изд-во «Скорпион», 1911)
Акварель, гуашь, тушь, кисть, перо
Государственная Третьяковская галерея

ИЗ ЦИКЛА «ОРЕАДЫ»

ВЕЧНОСТЬ И МИГ

Играет луч, на гранях гор алея;
Лучится дум крылатая беспечность...
Не кровью ль истекает сердце, млея?..

Мгновенью ль улыбнулась, рдея, Вечность?
Лобзаньем ли прильнуло к ней Мгновенье?..
Но всходит выше роковая млечность.

Пугливый дух приник в благоговенье:
Гость бледный входит в льдистый дом к Бессмертью,
И синей мглой в снегах легло Забвенье...

Молчанье! Вечность там, одна со Смертью!

ИЗ ЦИКЛА «ДИСТИХИ»

ТИХИЙ ФИАС

С маской трагической мы заедино мыслить привыкли
  Бурю страстных речей, кровь на железе мечей.
Древний фиас Мельпомены, ступень у фимелы пришельцам
  Дай! Герои встают; проникновенно глядят;
Красноречивые губы, безмолвно-страдальные, сжаты;
  Тайный свершается рок в запечатленных сердцах.
Бремя груди тесной — тяжелую силу — Титаны
  Вылили в ярой борьбе: внуки выносят в себе.

ДЕМОН

Ваши на сводах небес бремена престольные, боги!
  Твой, их превыше, висит трон своевластный, Судьба!
Все вы, что вне человека, одержите, вечные силы!
  Дух же таинственно вы предали в чуждую власть.
В духе людском недвижно царит обитатель незримый,
  Чьим послушный толчкам слепо бредет человек.
К лучшему знает он путь, и путь он знает в погибель;
  Но не противься ему: он седмерицею мстит.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ПРОЗРАЧНОСТЬ»

(1904)

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачность! купелью кристальной
Ты твердь улегчила — и тонет
Луна в среброзарности сизой.
Прозрачность! Ты лунною ризой
Скользнула на влажные лона;
Пленила дыхания мая,
И звук отдаленного лая,
И призраки тихого звона.
Что полночь в твой сумрак уронит,
В бездонности тонет зеркальной.

Прозрачность! колдуешь ты с солнцем,
Сквозной раскаленностью тонкой
Лелея пожар летучий;
Колыша под влагой зыбучей,
Во мгле голубых отдалений,
По мхам малахитным узоры;
Граня снеговерхие горы
Над смутностью дольних селений;
Простор раздражая звонкий
Под дальним осенним солнцем.

Прозрачность! воздушною лаской
Ты спишь на челе Джоконды,
Дыша покрывалом стыдливым.
Прильнула к устам молчаливым —
И вечностью веешь случайной;
Таящейся таешь улыбкой,
Порхаешь крылатостью зыбкой,
Бессмертною, двойственной тайной.
Прозрачность! божественной маской
Ты реешь в улыбке Джоконды.

Прозрачность! улыбчивой сказкой
Соделай видения жизни,
Сквозным — покрывало Майи!
Яви нам бледные раи
За листвою кущ осенних;

За радугой легкой — обеты;
Вечерние скорбные светы
За цветом садов весенних!
Прозрачность! божественной маской
Утишь изволения жизни.

ИЗ СБОРНИКА «COR ARDENS»[1]

(1911—1912)

ИЗ ЦИКЛА «СОЛНЦЕ-СЕРДЦЕ»

ХВАЛА СОЛНЦУ

О Солнце! вожатый ангел божий
С расплавленным сердцем в разверстой груди!
Куда нас влечешь ты, на нас непохожий,
Пути не видящий пред собой впереди?

Предвечный солнца сотворил и планеты.
Ты — средь ангелов-солнц! Мы — средь темных планет...
Первозданным светом вы, как схимой, одеты:
Вам не светят светы,— вам солнца нет!

Слепцы Любви, вы однажды воззрели,
И влечет вас, приливом напухая в груди,
Притяженный пламень к первоизбранной цели,—
И пути вам незримы в небесах впереди.

И в расплавленном лоне пока не иссякла
Вихревой пучины круговратная печь,—
Нас, зрящих и темных, к созвездью Геракла,
Вожатый слепец, ты будешь влечь!

Любовью ты будешь истекать неисчерпной
К созвездью родному,— и влечь,— и влечь!
В веках ты поволил венец страстотерпный
Христа-Геракла своим наречь!

---

[1] «Пламенеющее сердце» *(лат.)*.

ЗАВЕТ СОЛНЦА

Солнце ясное восходит,
Солнце красное заходит,
Солнце белое горит
Во свершительном притине —
И о жертвенной судьбине
Солнцу-сердцу говорит:

«Ты, сжимаясь, разжимаясь,
Замирая, занимаясь
Пылом пламенным, горишь,
Сердце, брат мой неутомный,
И в своей неволе темной
Светлый подвиг мой творишь!

Истекаешь неисчерпно,
Поникаешь страстотерпно
Во притине роковом;
Весь ты — радость, ранним-рано,
Брат мой,— весь ты кровь и рана
На краю вечеровом!

Будь же мне во всем подобен:
Бескорыстен и незлобен,
И целительно-могуч,
Сердце,— милостный губитель,
Расточитель, воскреситель,
Из себя воскресший луч!

От себя я возгораюсь,
Из себя я простираюсь,
Отдаюсь во все концы,
И собою твердь и землю,
Пышно-распятый, объемлю:
Раздели мои венцы,—

Острия и лалы терна,
Как венчаемый покорно,
Помазуемый в цари!
Уподобься мне в распятье,
Распростри свое объятье —
И гори, гори, гори!»

СЕРДЦЕ ДИОНИСА

Осиян алмазной славой,
Снеговерхий, двоеглавый,—
В день избранный,— ясногранный, за лазурной пеленой
Узкобрежной Амфитриты,
Где купаются Хариты,—
Весь прозрачностью повитый
И священной тишиной,—
Ты предстал, Парнас венчанный, в день избранный, предо мной!

Сердце, сердце Диониса под своим святым курганом,
Сердце отрока Загрея, обреченного Титанам,
Что, исторгнутое, рдея, трепетало в их деснице,
Действо жертвенное дея, скрыл ты в солнечной гробнице,—

Сердце древнего Загрея, о таинственный Парнас!
И до дня, в который Гея,— мать Земля сырая, Гея,—
Как божественная Ниса, просветится зеленея,—
Сердце Солнца-Диониса утаил от буйных нас.

ИЗ ЦИКЛА «ГОДИНА ГНЕВА»

ОЗИМЬ

Как осенью ненастной тлеет
Святая озимь,— тайно дух
Над черною могилой реет,
И только душ легчайших слух

Незадрожавший трепет ловит
Меж косных глыб,— так Русь моя
Немотной смерти прекословит
Глухим зачатьем бытия...

1904

ИЗ ЦИКЛА «СИВИЛЛА»

НА БАШНЕ

Л. Д. Зиновьевой-Аннибал

Пришелец, на башне притон я обрел
С моею царицей — Сивиллой,
Над городом-мороком,— смурый орел
С орлицей ширококрылой.

Стучится, вскрутя золотой листопад,
К товарищам ветер в оконца:
«Зачем променяли свой дикий сад,
Вы, дети-отступники Солнца,

Зачем променяли вы ребра скал,
И шепоты вещей пещеры,
И ропоты моря у гордых скал,
И пламенноликие сферы —

На тесную башню над городом мглы?
Со мной,— на родные уступы!..»
И клекчет Сивилла: «Зачем орлы
Садятся, где будут трупы?»

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

В этой призрачной Пальмире,
В этом мареве полярном,
О, пребудь с поэтом в мире,
Ты, над взморьем светозарным

Мне являвшаяся дивной
Ариадной, с кубком рьяным,
С флейтой буйно-заунывной
Иль с узывчивым тимпаном,—

Там, где в гроздьях, там, где в гимнах
Рдеют Вакховы экстазы...
В тусклый час, как в тучах дымных
Тлеют мутные топазы,

Закружись стихийной пляской
С предзакатным листопадом
И под сумеречной маской
Пой, подобная менадам!

В желто-серой рысьей шкуре,
Увенчавшись хвоей ельной,
Вихревейной взвейся бурей,
Взвейся вьюгой огнехмельной!..

Ты стоишь, на грудь склоняя
Лик духовный, лик страдальный,
Обрывая и роняя
В тень и мглу рукой печальной

Лепестки прощальной розы,—
И в туманные волокна,
Как сквозь ангельские слезы,
Просквозили розой окна —

И потухли... Все смесилось,
Погасилось в волнах сизых...
Вот — и ты преобразилась
Медленно... В убогих ризах

Мнишься ты в ночи Сивиллой...
Что, седая, ты бормочешь?
Ты грозишь ли мне могилой?
Или миру смерть пророчишь?

Приложила перст молчанья
Ты к устам,— и я, сквозь шепот,
Слышу медного скаканья
Заглушенный тяжкий топот...

Замирая, кликом бледным
Кличу я: «Мне страшно, дева,
В этом мороке победном
Медно-скачущего Гнева...»

А Сивилла: «Чу, как тупо
Ударяет медь о плиты...
То о трупы, трупы, трупы
Спотыкаются копыта...»

ПЕСНИ ИЗ ЛАБИРИНТА

1
ЗНАКИ

То пело ль младенцу мечтанье?
Но все я той песни полн...
Мне снится лучей трепетанье,
Шептанье угаданных волн.

Я видел ли в грезе сонной,
Младенцем, живой узор,—
Сень тающей сети зеленой,
С ней жидкого золота спор?

Как будто вечерние воды
Набросили зыбкий плен
На бледно-отсветные своды,
На мрамор обветренный стен.

И там, в незримом просторе,
За мшистой оградой плит,—
Я чую,— на плиты море
Волной золотой пылит...

Чуть шепчет,— не шепчет, дышит,
И вспомнить, вспомнить велит,—
И знаки светом пишет,
И тайну родную сулит.

2
ТИШИНА

С отцом родная сидела;
Молчали она и он.
И в окна ночь глядела...
«Чу,— молвили оба,— звон...»

И мать, наклонясь, мне шепнула:
«Далече — звон... Не дыши!..»
Душа к тишине прильнула,
Душа потонула в тиши...

И слышать я начал безмолвье
(Мне было три весны),—
И сердцу доносит безмолвье
Заветных звонов сны.

3
ПАМЯТЬ

И видел, младенцем, я море
(Я рос от морей вдали):
Белели на тусклом море
В мерцающей мгле корабли.

И кто-то гладь голубую
Показывал мне из окна;
И вещей душой я тоскую
По чарам живого сна...

И видел я робких оленей
У черной воды ложбин.
О, темный рост поколений!
О, тайный сев судьбин!

4
ИГРЫ

Мой луг замыкали своды
Истóнченных мраморных дуг...
Часы ль там играл я — иль годы —
Средь бабочек, легких подруг?

И там, под сенью узорной,
Сидели отец и мать.
Далось мне рукой проворной
Крылатый луч поймать.

И к ним я пришел, богатый,—
Поведать новую быль...
Серела в руке разжатой,
Как в урне могильной,— пыль.

Отец и мать глядели:
Немой ли то был укор?
Отец и мать глядели:
Тускнел неподвижный взор...

И старая скорбь мне снится,
И хлынет в слезах из очей...
А в темное сердце стучится
Порханье живых лучей.

5

СЕСТРА

И где те плиты порога?
Из аметистных волн —
Детей — нас выплыло много.
Чернел колыбельный челн.

Белела звезда отрады
Над жемчугом утра вдали.
Мы ждали у серой ограды...
И все предо мной вошли.

И я в притвор глубокий
Ступил,— и вот — Сестра.
Не знал я сестры светлоокой:
Но то была — Сестра.

И жалостно так возрыдала,
И молвила мне: «Не забудь!
Тебя я давно поджидала:
Мой дар возьми в свой путь».

И нити клуб волокнистый —
Воздушней, чем может спрясти
Луна из мглы волнистой,—
Дала и шепнула: «Прости!

До тесной прости колыбели,
До тесного в дугах двора,—
Прости до заветной цели,
Прости до всего, что — вчера...»

6

В ОБЛАКАХ

Ночь пряжу прядет из волокон
Пронизанной светом волны.
И в кружево облачных окон
Глядят голубые сны.

И в трещинах куполов тлеет
Зенит надлунных слав;
И в тусклых колодцах белеет
Глубоких морей расплав.

В даль тихо плывущих чертогов
Уводит светлая нить,—
Та нить, что у тайных порогов
Сестра мне дала хранить.

Как звон струны заунывной,
В затвор из затвора ведет,
Мерцая, луч прерывный,—
И пряха-Ночь прядет.

И, рея в призраках зданий,
Кочует душа, чутка
К призывам сквозящих свиданий,
За нитью живой мотка.

Кочует средь кладбищ сонных
И реет под сень и столпы,
Где жатвы коленопреклонных,
Где пляска свивает толпы,—

На овчие паствы безбрежий,
И в шаткий под инеем лес,
Сплетеньем разостланных мрежей,
По за́мкам глухим небес...

И путь окрыленный долог;
Но Тайной — мне ль изменить?
Из полога в облачный полог
Бежит, мелькая, нить...

И вдруг, из глуби черной,
Зигзаг ледяной возник:
Увижу ль с кручи горной
Разоблаченный лик?

Сугробы последней поляны
Алмазный застлали восклон...
Сквозят и тают туманы,—
И тает, сквозя, мой сон...

ИЗ ЦИКЛА «РУНЫ ПРИБОЯ»

ФЕЙЕРВЕРК

Константину Сомову

Замер синий сад в испуге...
Брызнув в небо, змеи-дуги
Огневые колесят,
Миг — и сумрак оросят:
Полночь пламенные плуги
Нивой звездной всколосят...
Саламандры ль чары деют?
Сени ль искристые рдеют?
В сенях райских гроздья зреют!..
Не Жар-Птицы ль перья реют,
Опахалом алым веют,
Ливнем радужным висят?

Что же огненные лозы,
Как плакучие березы,
Как семья надгробных ив,
Косы длинные развив,
Тая, тлеют,— сеют слезы,—
И, как светляки в траве,
Тонут в сонной синеве?
Тускнут чары, тухнут грезы
В похоронной синеве...
И недвижные созвездья
Знаком тайного возмездья
Выступают в синеве.

ИЗ ЦИКЛА «СЕВЕРНОЕ СОЛНЦЕ»

МОСКВА

А. М. Ремизову

Влачась в лазури, облака
Истомой влаги тяжелеют.
Березы никлые белеют,
И низом стелется река.

И Город-марево, далече
Дугой зеркальной обойден,—
Как солнца зарных ста знамен —
Ста жарких глав затеплил свечи.

Зеленой тенью поздний свет,
Текучим золотом играет;
А Град горит и не сгорает,
Червонный зыбля пересвет.

И башен тесною толпою
Маячит, как волшебный стан,
Меж мглой померкнувших полян
И далью тускло-голубою:

Как бы, ключарь мирских чудес,
Всей столпной крепостью заклятий
Замкнул от супротивных ратей
Он некий талисман небес.

СФИНКСЫ НАД НЕВОЙ

Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полóн полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?

Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?

Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся лучами, дея чары,
И в небесах меняют янтари,—

Как два серпа, подъемля две тиары,
Друг другу в очи — девы иль цари —
Глядите вы, улыбчивы и яры.

КАНЦОНА III

1

Я вопрошал полуденные волны:
«К вам, волны, прихожу осиротелый:
Как одиноким быть— и быть единым?»
Ответствовали волны: «В полдень белый
Мы осмоленные лелеем челны
И прядаем, гонялсь за дельфином.
Вернись, когда на побережье длинном
Луч удлинит гребней зеленых тени
И час пески опенит розой алой».
Я на заре усталой
Сошел на отмель и заслышал пени
Стихии одичалой:
Луна всходила, и волна вставала,
По ласке лунной томно тосковала.

2

Мятежной влаги рос прилив, мужая,
Под пристальным и нежным притяженьем;
И в камни зыбь хлестала пеной белой,
До глубины волнуема движеньем,
Всем зéркальным простором отражая
Богини нимб, средь неба онемелой,
Сплав серебра в золе порозовелой,—
Впивая полным лоном свет струистый,
Струясь и рея струйностью двойною,—
Вся жизнию родною,
Вся плотию согретая пречистой,—
Волшебной пеленою
Покрытая,— но светлых чар не видя,
В касаниях разлуку ненавидя.

3

Подлунные так в полночь пели волны
Свою тоску душе осиротелой;
Я ж в одиночестве прозрел слиянность
Сил соприродных, и на лире смелой
Отшедшей пел: «О ты, которой полны
Все сны мои,— чья в сердце осиянность
Мерцает мне сквозь тусклую туманность
Мирской пустыни! Стала прозорлива
Душа страданьем, и прикосновений
Твоих, мой близкий гений,
Познала трепет, и в огне прилива
Незримою счастлива.
Откройся ж мне, мои разверзни очи,
Разоблачись светилом ясной ночи!»

*

Она в ответ: «Когда б узнали волны,
Что в них луна, что блеща реют ею,—
В струях своих узрели б лик желанный.
Твоим, о мой избранный,
Я стала телом; ты — душой моею.
В песках моею манной
Питаемый! воззри на лик свой вчуже:
Жену увидишь воплощенной в муже».

ИЗ ЦИКЛА «СОНЕТЫ»

ИТАЛИЯ

В стране богов, где небеса лазурны,
И меж олив, где море светозарно,
Где Пиза спит, и мутный плещет Арно,
И олеандр цветет у стен Либурны,

Я счастлив был. И вам, святые урны
Струй фэзуланских, сердце благодарно,
За то, что бог настиг меня коварно,
Где вы шумели, благостны и бурны.

Туда, туда, где умереть просторней,
Где сердца сны — и вздох струны — эфирней,
Несу я посох, луч ловя вечерний.

И суеверней странник и покорней —
Проходит опустелою кумирней,
Минувших роз ища меж новых терний.

СОБОР СВ. МАРКА

Царьградских солнц замкнув в себе лучи,
Ты на порфирах темных и агатах
Стоишь, согбен, как патриарх в богатых
И тяжких ризах кованой парчи,

В деснице три и в левой две свечи
Подъемлющий во свещниках рогатых,—
Меж тем как на галерах и фрегатах
Сокровищниц початки и ключи

В дарохранительный ковчежец божий
Вселенная несет, служа жезлам
Фригийскою скуфьей венчанных дожей,

По изумрудным Адрии валам;
И роза Византии червленеет,
Где с книгой лев крылатый каменеет.

ПОЭТ

В науке царственной, крепящей дух державный,
В повиновении, сей доблести владык,
Ты музами, поэт, наставлен и привык
Их мере подчинять свой голос своенравный.

Зане ты сердце сжег и дал богам язык,
Тебе судили лавр, пророческий и славный,
С плющом, что Пинд взрастил и Киферон дубравный
Вещуньи Памяти и матери Музык.

И твой безумный плющ и ужас твой лавровый
Улыбкой озарив Авроры пурпуровой,
Венчальный пламенник вознесшему в ночи

В листву священную вплетают три Хариты,—
За то что недр земных ты пел земле лучи,—
Божественный цветок престольной Афродиты.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ»

(1904)

ИЗ ЦИКЛА «ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ»

ЗОЛОТОЕ РУНО

Посвящено Э. К. Метнеру

1

Золотея, эфир просветится
и в восторге сгорит.
А над морем садится
ускользающий, солнечный щит.

И на море от солнца
золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
среди всплесков тоски.

Встали груди утесов
средь трепещущей солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
полон крик альбатросов:

«Дети солнца, вновь холод бесстрастья!
Закатилось оно —
золотое, старинное счастье —
золотое руно!»

Нет сиянья червонца.
Меркнут светочи дня.
Но везде вместо солнца
ослепительный пурпур огня.

<Апрель 1903>.
Москва

2

Пожаром склон неба объят...
И вот аргонавты нам в рог отлетаний
трубят...
Внимайте, внимайте...
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!

Зовет за собою
старик аргонавт,
взывает
трубой
золотою:
«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой!..»

Старик аргонавт призывает на солнечный пир,
трубя
в золотеющий мир.

Все небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
над нами.
На горных вершинах
наш Арго,
наш Арго,
готовясь лететь, золотыми крылами
забил.

Земля отлетает...
Вино
мировое

пылает
пожаром
опять:
то огненным шаром
блистать
выплывает
руно
золотое,
искрясь.

И, блеском объятый,
светило дневное,
что факелом вновь зажжено,
несясь,
настигает
наш Арго крылатый.

Опять настигает
свое золотое
руно...

<Октябрь 1903>
Москва

ОБРАЗ ВЕЧНОСТИ

Бетховену

Образ возлюбленной — Вечности —
встретил меня на горах.
Сердце в беспечности.
Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной,
образ возлюбленной — Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах.

Там стоит,
там манит рукой...
И летит
мир предо мной —
вихрь крутит
серых облак рой.

Полосы солнечных струй златотканые
в облачной стае горят...
Чьи-то призывы желанные,
чей-то задумчивый взгляд.

Я стар — сребрится
мой ус и темя,
но радость снится.
Река, что время:
летит — кружится...
Мой челн сквозь время,
сквозь мир помчится.

И умчусь сквозь века в лучесветную даль...
И в очах старика
не увидишь печаль.

Жизни не жаль
мне загубленной.
Сердце полно несказанной беспечности —
образ возлюбленной,
образ возлюбленной —
Вечности!..

<Апрель 1903>

ДУША МИРА

Вечной
тучкой несется,
улыбкой
беспечной,
улыбкой зыбкой
смеется.
Грядой серебристой
летит над водою —
— лучисто —
волнистой
грядою.

Чистая,
словно мир,
вся лучистая —
золотая заря,
мировая душа.
За тобой бежишь,
весь
горя,
как на пир,
как на пир
спеша.
Травой шелестишь:
«Я здесь,
где цветы...
Мир
вам...»
И бежишь,
как на пир,
но ты —
Там...

Пронесясь
ветерком,
ты зелень чуть тронешь,
ты пахнёшь
холодком
и, смеясь,
вмиг
в лазури утонешь,
улетишь на крыльях стрекозовых.
С гвоздик
малиновых,
с бледно-розовых
кашек —
ты рубиновых
гонишь
букашек.

1902

ИЗ ЦИКЛА «ОБРАЗЫ»

МАГ

В. Я. Брюсову

Я в свисте временных потоков,
мой черный плащ мятежно рвущих.
Зову людей, ищу пророков,
о тайне неба вопиющих.

Иду вперед я быстрым шагом.
И вот — утес, и вы стоите
в венце из звезд упорным магом,
с улыбкой вещею глядите.

У ног веков нестройный рокот,
катясь, бунтует в вечном сне.
И голос ваш — орлиный клекот —
растет в холодной вышине.

В венце огня над царством скуки,
над временем вознесены —
застывший маг, сложивший руки,
пророк безвременной весны.

1903

УТРО

1

Грядой пурпурной
проходят облачка всё той же сменой.
В них дышит пламень.
Отхлынет прочь волна, разбившись бурной
шипучей пеной
о камень.

Из чащи вышедший погреться, фавн лесной,
смешной
и бородатый,
копытом бьет
на валуне.

Поет
в волынку гимн весне,
наморщив лоб рогатый.

У ног его вздохнет
волна и моется.
Он вдаль бросает взгляды.
То плечи, то рука играющей наяды
меж волн блеснет
и скроется...

2

В небе туча горит янтарем.
Мглой курится.
На туманном утесе забила крылом
белоснежная птица.

Водяная поет.
Волоса распускает.
Скоро солнце взойдет,
и она, будто сказка, растает.

И невольно грустит.
И в алмазах ресницы.
Кто-то, милый, кричит.
Это голос восторженной птицы.

Над морскими сапфирами рыбьим хвостом
старец старый трясет, грозовой и сердитый.
Скоро весь он рассеется призрачным сном,
желто-розовой пеной покрытый.

Солнце тучу перстом
огнезарным пронзило.
И опять серебристым крылом
эта птица забила.

1902
Москва

ИЗ ЦИКЛА «БАГРЯНИЦА В ТЕРНИЯХ»

ОСЕНЬ

1

Огромное стекло
в оправе изумрудной
разбито вдребезги под силой ветра чудной —

огромное стекло
в оправе изумрудной.

Печальный друг, довольно слез — молчи!
Как в ужасе застывшая зарница,
луны осенней багряница.

Фатою траурной грачи
несутся — затенили наши лица.

Протяжно дальний визг
окрестность опояшет.
Полынь метлой испуганно нам машет.

И красный лунный диск
в разбитом зеркале, чертя рубины, пляшет.

2

В небесное стекло
с размаху свой пустил железный молот...
И молот грянул тяжело.
Казалось мне — небесный свод расколот.

И я стоял,
как вольный сокол.
Беспечно хохотал
среди осыпавшихся стекол.

И что-то страшное мне вдруг
открылось.
И понял я — замкнулся круг,
и сердце билось, билось, билось.

Раздался вздох ветров среди могил:
«Ведь ты, убийца,
себя убил,—
убийца!»
Себя убил.

За мной пришли. И я стоял,
побитый бурей сокол —
молчал
среди осыпавшихся стекол.

<Август 1903>
Серебряный Колодезь

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ПЕПЕЛ»

(1909)

ИЗ ЦИКЛА «РОССИЯ»

ОТЧАЯНЬЕ

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать:

Туда, на равнине горбатой,
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И в ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков,—

Туда,— где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

<Июль 1908>
Серебряный Колодезь

ДЕРЕВНЯ

Г. А. Рачинскому

Снова в поле, обвеваем
Легким ветерком.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет за селом.

Плещут облаком косматым
По полям седым
Избы, роем суковатым
Изрыгая дым.

Ощетинились их спины,
Как сухая шерсть.
День и ночь струят равнины
В них седую персть.

Огоньками злых поверий
Там глядят в простор,
Как растрепанные звери
Пав на лыс-бугор.

Придавила их неволя,
Вы — глухие дни.
За бугром с пустого поля
Мечут головни,

И над дальним перелеском
Просверкает пыл:
Будто змей взлетает блеском
Искрометных крыл.

Журавель кривой подъемлет,
Словно палец, шест.
Сердце оторопь объемлет,
Очи темень ест.

При дороге в темень сухо
Чиркает сверчок.
За деревней тукнет глухо
Дальний колоток.

С огородов над полями
Взмоется лоскут.
Здесь встречают дни за днями:
Ничего не ждут.

Дни за днями, год за годом:
Вновь за годом год.
Недород за недородом.
Здесь — немой народ.

Пожирают их болезни,
Иссушает глаз...
Промерцает в синей бездне —
Продрожит — алмаз,

Да заря багровым краем
Над бугром стоит.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет; и молчит.

1908
Серебряный Колодезь

ШОССЕ

Д. В. Философову

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстегнутый ворот
Прохладой целует меня.

В пространство бежит — убегает
Далекая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.

Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонек.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.

Слагаются темные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу. Обнимаю колени
На груде дорожных камней.

Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо.

<Август 1904>.
Ефремов

ИЗ ОКНА ВАГОНА

Эллису

Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.

Пролетаю: так пусто, так голо...
Пролетают — вон там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь;

И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей;
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.

Мать Россия! Тебе мои песни,—
О немая, суровая мать! —
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.

Поезд плачется. Дали родные.
Телеграфная тянется сеть —
Там — в пространства твои ледяные
С буреломом осенним гудеть.

<Август 1908>
Суйда

ТЕЛЕГРАФИСТ

С. Н. Величкину

Окрестность леденеет
Туманным октябрем.
Прокружится, провеет
И ляжет под окном,—

И вновь взметнуться хочет
Большой кленовый лист.
Депешами стрекочет
В окне телеграфист.

Служебный лист исчертит.
Руками колесо
Докучливое вертит,
А в мыслях — то и се.

Жена болеет боком,
А тут — не спишь, не ешь,
Прикованный потоком
Летающих депеш.

В окне кустарник малый.
Окинет беглый взгляд —
Протянутые шпалы
В один тоскливый ряд,

Вагон, тюки, брезенты
Да гаснущий закат...
Выкидывает ленты,
Стрекочет аппарат.

В лесу сыром, далеком
Теряются пески,
И еле видным оком
Мерцают огоньки.

Там путь пространства чертит...
Руками колесо
Докучливое вертит;
А в мыслях — то и се.

Детишки бьются в школе
Без книжек (где их взять!):
С семьей прожить легко ли
Рублей на двадцать пять:

На двадцать пять целковых —
Одежа, стол, жилье.
В краях сырых, суровых
Тянись, житье мое! —

Вновь дали мерит взором:
Сырой, осенний дым
Над гаснущим простором
Пылит дождем седым.

У рельс лениво всхлипнул
Дугою коренник,
И что-то в ветер крикнул
Испуганный ямщик.

Поставил в ночь над склоном
Шлагбаум пестрый шест:
Ямщик ударил звоном
В простор окрестных мест.

Багрянцем клен промоет —
Промоет у окна.
Домой бы! Дома ноет,
Без дел сидит жена,—

В который раз, в который,
С надутым животом!..
Домой бы! Поезд скорый
В полях вопит свистком;

Клокочут светом окна —
И искр мгновенный сноп
Сквозь дымные волокна
Ударил блеском в лоб.

Гремя, прошли вагоны.
И им пропел рожок.
Зеленый там, зеленый,
На рельсах огонек...

Стоит он на платформе,
Склонясь во мрак ночной,—
Один, в потертой форме,
Под стужей ледяной.

Слезою взор туманит.
В костях озябших — лом.
А дождик барабанит
Над мокрым козырьком.

Идет (приподнял ворот)
К дежурству — изнемочь.
Вдали уездный город
Кидает светом в ночь.

Всю ночь над аппаратом
Он пальцем в клавиш бьет.
Картонным циферблатом
Стенник ему кивнет.

С речного косогора
В густой, в холодный мрак —
Он видит — семафора
Взлетает красный знак.

Вздыхая, спину клонит;
Зевая над листом,
В небытие утонет,
Затянет вечным сном

Пространство, время, бога
И жизнь, и жизни цель —
Железная дорога,
Холодная постель.

Бессмыслица дневная
Сменяется иной —
Бессмыслица дневная
Бессмыслицей ночной.

Листвою желтой, блеклой,
Слезливой, мертвой мглой
Постукивает в стекла
Октябрьский дождик злой.

Лишь там на водокачке
Моргает фонарек.
Лишь там в сосновой дачке
Рыдает голосок.

В кисейно нежной шали
Девица средних лет
Выводит на рояли
Чувствительный куплет.

1906—1908
Серебряный Колодезь

АРЕСТАНТЫ

В. П. Поливанову

Много, брат, перенесли
На веку с тобою бурь мы.
Помнишь — в город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы.

Била ливнем нас гроза:
И одежда перемокла.
Шел ты, в даль вперив глаза,
Неподвижные, как стекла.

Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.

За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили.
Коротал я время сном
В желтых клубах душной пыли.

Ты не раз меня будил.
Приносил нам сторож водки.
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.

Как с убийцей, с босяком,
С вором,
Распевали вечерком
Хором.

Здесь, на воле, меж степей
Вспомним душные палаты,
Неумолчный лязг цепей,
Наши серые халаты.

Не кручинься, брат, о том,
Что морщины лоб изрыли.
Всё забудем: отдохнем —
Здесь, в волнах седой ковыли.

1904
Серебряный Колодезь

ПЕСЕНКА КОМАРИНСКАЯ

Шел калика, шел неведомой дороженькой —
Тень ползучую бросал своею ноженькой.

Протянулись страны хмурые, мордовские —
Нападали силы-прелести бесовские.

Приключилось тут с каликою мудреное:
Уж и кипнем закипала степь зеленая.

Тень возговорит калике гласом велием:
«Отпусти меня, калика, со веселием.

Опостылело житье мне мое скромное,
Я пройдусь себе повадочкою темною».

Да и втапоры калику опрокидывала;
Кафтанишко свой по воздуху раскидывала.

Кулаками-тумаками бьет лежачего —
Вырастает выше облака ходячего.

Над рассейскими широкими раздольями
Как пошла кидаться в люд хрестьянский кольями.

Мужикам, дьякам, попам она поповичам
Из-под ног встает лихим Сморчом-Сморчовичем.

А и речи ее дерзкие, бесовские:
«Заведу у вас порядки не таковские;

Буду водочкой опаивать-угащивать:
Свое брюхо на напастиях отращивать.

Мужичище-кулачище я почтеннейший:
Подпираюсь я дубиной здоровеннейшей!»

Темным вихорем уносит подорожного
Со пути его прямого да не ложного.

Засигает он в кабак кривой дорожкою;
Загуторит, засвистит своей гармошкою:

«Ты такой-сякой комаринский дурак:
Ты ходи-ходи с дороженьки в кабак.

Ай люли-люли люли-люли-люли:
Кабаки-то по всея Руси пошли!..»

А и жизнь случилась втапоры дурацкая:
Только ругань непристойная, кабацкая.

Кабаки огнем моргают ночкой долгою
Над Сибирью, да над Доном, да над Волгою.

То и свет, родимый, видеть нам прохожего —
Видеть старого калику перехожего.

Все-то он гуторит, все-то сказы сказывает,
Все-то посохом, сердешный, вдаль указывает:

На житье-бытье-де горькое да бховое
Нападало тенью чучело гороховое.

<Июнь 1907>.
Петровское

РУСЬ

Поля моей скудной земли
Вон там преисполнены скорби.
Холмами пространства вдали
Изгорби, равнина, изгорби!

Косматый, далекий дымок.
Косматые в далях деревни.
Туманов косматый поток.
Просторы голодных губерний.

Просторов простертая рать:
В пространствах таятся пространства.
Россия, куда мне бежать
От голода, мора и пьянства?

От голода, холода тут
И мерли, и мрут миллионы.
Покойников ждали и ждут
Пологие скорбные склоны.

Там Смерть протрубила вдали
В леса, города и деревни,
В поля моей скудной земли,
В просторы голодных губерний.

1908
Серебряный Колодезь

РОДИНА

В. П. Свентицкому

Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,
Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ;

И в раздолье, на воле — неволя;
И суровый свинцовый наш край
Нам бросает с холодного поля —
Посылает нам крик: «Умирай —

Как и все умирают...» Не дышишь,
Смертоносных не слышишь угроз:
Безысходные возгласы слышишь
И рыданий, и жалоб, и слез.

Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.

Роковая страна, ледяная,
Проклята́я железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

1908
Москва

ИЗ ЦИКЛА «ПАУТИНА»

ПАУК

Нет, буду жить — и буду пить
Весны благоуханный запах.
Пусть надо мной, где блещет нить,
Звенит комар в паучьих лапах.
Пусть на войне и стон, и крик,
И дым пороховой — пусть едок,—
Зажгу позелененший лик
В лучах, блеснувших напоследок.
Пусть веточка росой блеснет;
Из-под нее, горя невнятно,
Пусть на меня заря прольет
Жемчужно-розовые пятна...
Один. Склонился на костыль.
И страстного лобзанья просит
Душа моя...

И ветер пыль
В холодное пространство бросит,—
В лазуревых просторах носит.

И вижу:
Ты бежишь в цветах
Под мраморною, старой аркой
В пурпуровых своих шелках
И в шляпе с кисеею яркой.
Ты вот: застенчиво мила,
Склоняешься в мой лед и холод;
Ты не невестой мне цвела:
Жених твой и красив, и молод.
Дитя, о улыбнись,— дитя!
Вот рук — благоуханных лилий —
Браслеты бледные,— блестя,
Снопы лучей озолотили.
Но урони, смеясь сквозь боль,
Туда, где облака-скитальцы,—
Ну, урони желтофиоль
В мои трясущиеся пальцы!
Ты вскрикиваешь, шепчешь мне:
«Там, где ветвей скрестились дуги,
Смотри,— крестовик в вышине
Повис на серебристом круге...»
Смеешься, убегаешь вдаль;
Там улыбнулась в дали вольной.

Бежишь — а мне чего-то жаль.
Ушла — а мне так больно, больно...

Так в бирюзовую эмаль
Над старой, озлащенной башней
Касатка малая взлетит —
И заюлит, и завизжит,
Не помня о грозе вчерашней;
За ней другая — и смотри:
За ней, повизгивая окол,
В лучах пурпуровой зари
Над глянцем колокольных стекол —
Вся черная ее семья...

Грызет меня тоска моя.
И мне кричат издалека,—
Из зарослей сырой осоки,
Что я похож на паука:
Прислушиваюсь... Смех далекий,
Потрескиванье огонька...
Приглядываюсь... Спит река...
В туманах — берегов излучья...

Туда грозит моя рука,
Сухая, мертвая... паучья...

Иду я в поле за плетень.
Рожь тюкает перепелами;
Пред изумленными очами
Свивается дневная сень.
И разольется над лугами
В ночь умножаемая тень —
Там отверзаемыми мглами,
Испепеляющими день.

И над обрывами откоса,
И над прибрежною косой
Попыхивает папироса,
Гремит и плачет колесо.
И зеленеющее просо
Разволновалось полосой...
Невыразимого вопроса —
Проникновение во всё...

Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?

1908
Москва

ИЗ ЦИКЛА «ГОРОД»

ПРАЗДНИК

В. В. Гофману

Слепнут взоры: а джиорно
Освещен двухсветный зал.
Гость придворный непритворно
Шепчет даме мадригал,—

Контредансом, контредансом
Завиваясь в «chinoise»[1].
Искры прыщут по фаянсам,
По краям хрустальных ваз.

Там — вдали — проходит полный
Седовласый кавалер.
У окна вскипают волны
Разлетевшихся портьер.

Обернулся: из-за пальмы
Маска черная глядит.
Плещут струи красной тальмы
В ясный блеск паркетных плит.

«Кто вы, кто вы, гость суровый,—
Что вам нужно, домино?»
Но, закрывшись в плащ багровый,
Удаляется оно.

Прислонился к гобелэнам,
Он белее полотна...
А в дверях шуршит уж трэном
Гри-де-перлевым жена.

Искры прыщут по фаянсам,
По краям хрустальных ваз.
Контредансом, контредансом
Вьются гости в «chinoise».

<Июль 1908>
Серебряный Колодезь

---

[1] Китайский *(франц.)*.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ»

(1919)

РОДИНА

Наскучили
Старые годы...
Измучили:
Сердце,
Скажи им: «Исчезните, старые
Годы!»

И старые
Годы
Исчезнут.

Как тучи, невзгоды
Проплыли.
Над чащей
И чище и слаще
Тяжелый, сверкающий воздух;
И — отдыхи...

В сладкие чащи
Несутся зеленые воды.
И песня знакомого
Гнома
Несется вечерним приветом.

«Вернулись
Ко мне мои дети
Под розовый куст розмарина...
Склоняюсь над вами
Цветами
Из старых столетий...»
Ты, злая година,—
Рассейся!
В уста эти влейся —
О нектар! —

Тяжелый, сверкающий воздух
Из пьяного сладкого кубка.

Проснулись:
Вернулись!..

<Апрель 1909>
Москва

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЗВЕЗДА»

(1922)

РОДИНЕ

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия,—
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины,—
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,—
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

<Август 1917>
Поворовка

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ»

(1910)

ИЗ РАЗДЕЛА «ТРИЛИСТНИКИ»

ИЗ «ТРИЛИСТНИКА СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО»

СТАРАЯ ШАРМАНКА

Небо нас совсем свело с ума:
То огнем, то снегом нас слепило,
И, ощерясь, зверем отступила
За апрель упрямая зима.

Чуть на миг сомлеет в забытьи —
Уж опять на брови шлем надвинут,
И под наст ушедшие ручьи,
Не допев, умолкнут и застынут.

Но забыто прошлое давно,
Шумен сад, а камень бел и гулок,
И глядит раскрытое окно,
Как трава одела закоулок.

Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленье мая
Все никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.

И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что не к чему работа,
Что обида старости растет
На шипах от муки поворота.

Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?..

ИЗ «ТРИЛИСТНИКА ОСЕННЕГО»

ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ

То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.

Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.

Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала,
Все будто рвалася назад.

Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук,—
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.

Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.

И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Как листья, тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

ТРИЛИСТНИК КОШМАРНЫЙ

КОШМАРЫ

«Вы ждете? Вы в волненье? Это бред.
Вы отворять ему идете? Нет!
Поймите: к вам стучится сумасшедший,
Бог знает где и с кем всю ночь проведший,
Оборванный, и речь его дика,
И камешков полна его рука;
Того гляди — другую опростает,
Вас листьями сухими закидает,
Иль целовать задумает, и слез
Останутся следы в смятенье кос,
Коли от губ удастся скрыть лицо вам,
Смущенным и мучительно пунцовым.
. . . .
Послушайте!.. Я только вас пугал:
Тот далеко, он умер... Я солгал.
И жалобы, и шепоты, и стуки —
Все это «шелест крови», голос муки...
Которую мы терпим, я ли, вы ли...
Иль вихри в плен попались и завыли?
Да нет же! Вы спокойны... Лишь у губ
Змеится что-то бледное... Я глуп...
Свиданье здесь назначено другому...
Все понял я теперь: испуг, истому
И влажный блеск таимых вами глаз».

Стучат? Идут? Она приподнялась.
Гляжу — фитиль у фонаря спустила,
Он розовый... Вот косы отпустила.
Взвились и пали косы... Вот ко мне
Идет... И мы в огне, в одном огне...
Вот руки обвились и увлекают,
А волосы и колют, и ласкают...
Так вот он ум мужчины, тот гордец,
Не стоящий ни трепетных сердец,
Ни влажного и розового зноя!
. . . .
И вдруг я весь стал существо иное...
Постель... Свеча горит. На грустный тон
Лепечет дождь... Я спал и видел сон.

КИЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Тают зеленые свечи,
Тускло мерцает кадило,
Что-то по самые плечи
В землю сейчас уходило,

Чьи-то беззвучно уста
Молят дыханья у плит,
Кто-то, нагнувшись, «с креста»
Желтой водой их поит...

«Скоро ль?» — Терпение, скоро...
Звоном наполнились уши,
А чернота коридора
Все безответней и глуше...

Нет, не хочу, не хочу!
Как? Ни людей, ни пути?
Гасит дыханье свечу?
Тише... Ты должен ползти...

ТО И ЭТО

Ночь не тает. Ночь как камень.
Плача тает только лед,
И струит по телу пламень
Свой причудливый полет.

Но лопочут, даром тая,
Ледышки́ на голове:
Не запомнить им, считая,
Что подушек только две.

И что надо лечь в угарный,
В голубой туман костра,
Если тошен луч фонарный
На скользоте топора.

Но отрадной до рассвета
Сердце дремой залито,
Все простит им... если это
Только *Это*, а не *То*.

ТРИЛИСТНИК ВАГОННЫЙ

ТОСКА ВОКЗАЛА

О канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала...

Полумертвые мухи
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.

Флаг линяло-зеленый,
Пара белые взрывы,
И трубы отдаленной
Без отзыва призывы.

И эмблема разлуки
В обманувшем свиданье —
Кондукто́р однорукий
У часов в ожиданье...

Есть ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка,
Чем дрожанье полудней
Над дремотой листочка...

Что-нибудь, но не это...
Подползай — ты обязан;
Как ты жарок, измазан,
Все равно — ты не это!

Уничтожиться, канув
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики!..

В ВАГОНЕ

Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.

В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
«До завтра,— говорю тебе,—
Сегодня мы с тобою квиты».

Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.

А ты красуйся, ты — гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.

ЗИМНИЙ ПОЕЗД

Снегов немую черноту
Прожгло два глаза из тумана,
И дым остался на лету
Горящим золотом фонтана.

Я знаю — пышущий дракон,
Весь занесен пушистым снегом,
Сейчас порвет мятежным бегом
Завороженной дали сон.

А с ним, усталые рабы,
Обречены холодной яме,
Влачатся тяжкие гробы,
Скрипя и лязгая цепями.

Пока с разбитым фонарем,
Наполовину притушенным,
Среди кошмара дум и дрем
Проходит Полночь по вагонам.

Она — как призрачный монах,
И чем ее дозоры глуше,
Тем больше чада в черных снах,
И затеканий, и удуший;

Тем больше слов, как бы не слов,
Тем отвратительней дыханье,
И запрокинутых голов
В подушках красных колыханье.

Как вор, наметивший карман,
Она тиха, пока мы живы,
Лишь молча точит свой дурман
Да тушит черные наплывы.

А снизу стук, а сбоку гул,
Да все бесцельней, безымянней...
И мерзок тем, кто не заснул,
Хаос полусуществований!

Но тает ночь... И дряхл и сед,
Еще вчера Закат осенний,
Приподнимается Рассвет
С одра его томившей Тени.

Забывшим за ночь свой недуг
В глаза опять глядит терзанье,
И дребезжит сильнее стук,
Дробя налеты обмерзанья.

Пары желтеющей стеной
Загородили красный пламень,
И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень.

ТРИЛИСТНИК ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

ТОСКА МАЯТНИКА

Неразгаданным надрывом
Подоспел сегодня срок:
В стекла дождик бьет порывом,
Ветер пробует крючок.

Точно вымерло все в доме...
Желт и черен мой огонь,
Где-то тяжко по соломе
Переступит, звякнув, конь.

Тело скорбно и разбито,
Но его волнует жуть,
Что обиженно-сердито
Кто-то мне не даст уснуть.

И лежу я околдован,
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный розан намалеван.

Да по стенке ночь и день,
В душной клетке человечьей,
Ходит-машет сумасшедший,
Волоча немую тень.

Ходит-ходит, вдруг отскочит,
Зашипит — отмерил час,
Зашипит и захохочет,
Залопочет, горячась.

И опять шагами мерить
На стене дрожащий свет,
Да стеречь, нельзя ль проверить,
Спят ли люди или нет.

Ходит-машет, а для такта
И уравнивая шаг,
С злобным рвеньем «так-то, так-то»
Повторяет маниак...

Все потухло. Больше в яме
Не видать и не слыхать...
Только кто же там махать
Продолжает рукавами?

Нет. Довольно... хоть едва,
Хоть тоскливо даль белеет,
И на пледе голова
Не без сладости хмелеет.

КАРТИНКА

Мелко, мелко, как из сита,
В тарантас дождит туман,
Бледный день встает сердито,
Не успев стряхнуть дурман.

Пуст и ровен путь мой дальний...
Лишь у черных деревень
Бесконечный все печальней,
Словно дождь, косой плетень.

Чу... Проснулся грай вороний,
В шалаше встает пастух,
И сквозь тучи липких мух
Тяжело ступают кони.

Но узлы седых хвостов
У буланой нашей тройки,
Доски свежие мостов,
Доски черные постройки,—

Все поплыло в хлябь и смесь,
Пересмякло, послипалось...
Ночью мне совсем не спалось,
Не попробовать ли здесь?

Да, заснешь... чтоб быть без шапки.
Вот дела...— Держи к одной! —
Глядь — замотанная в тряпки
Амазонка предо мной.

Лет семи всего — ручонки
Так и впилися в узду,
Не дают плестись клячонке,
А другая — в поводу.

Жадным взглядом проводила,
Обернувшись, экипаж
И в тумане затрусила,
Чтоб исчезнуть, как мираж.

И щемящей укоризне
Уступило забытье:
«Это — праздник для нее.
Это — утро, утро жизни».

СТАРАЯ УСАДЬБА

Сердце дома. Сердце радо. А чему?
Тени дома? Тени сада? Не пойму.

Сад старинный, всё осины — тощи, страх!
Дом — руины... Тины, тины что в прудах...

Что утрат-то!.. Брат на брата... Что обид!..
Прах и гнилость... Накренилось... А стоит...

Чье жилище? Пепелище?.. Угол чей?
Мертвой нищей логови́ще без печей...

Ну как встанет, ну как глянет из окна:
«Взять не можешь, а тревожишь, старина!

Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть!
Любит древних, любит давних ворошить...

Не сфальшивишь, так иди уж: у меня
Не в окошке, так из кошки два огня.

Дам и брашна — волчьих ягод, белены...
Только страшно — месяц за год у луны...

Столько вышек, столько лестниц — двери нет...
Встанет месяц, глянет месяц — где твой след?..»

Тсс... ни слова... даль былого — но сквозь дым
Мутно зрима... Мимо, мимо... И к живым!

Иль истомы сердцу надо моему?
Тени дома? Шума сада?.. Не пойму...

ТРИЛИСТНИК БАЛАГАННЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Серебряным блеском туман
К полудню еще не развеян,
К полудню от солнечных ран
Стал даже желтее туман,
Стал даже желтей и мертвей он,
А полдень горит так суров,
Что мне в этот час неприятны
Лиловых и алых шаров
Меж клочьями мертвых паров
В глаза замелькавшие пятна.
И что ей тут надо скакать,
Безумной и радостной своре,
Всё солнце ловить и искать?
И солнцу с чего ж их ласкать,
Воздушных на мертвом просторе!
Подумать, что помпа бюро,
Огней и парчи серебро,
Должна потускнеть в фимиаме:
Пришли Арлекин и Пьеро,
О, белая помпа бюро!
И стали у гроба с свечами!

ШАРИКИ ДЕТСКИЕ

Шарики, шарики!
Шарики детские!
Деньги отецкие!
Покупайте, сударики, шарики!
Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
Не пожалей пятишни:
Запущу под самое нёбо —
Два часа потом глазей, да в оба!

Хорошо ведь, говорят, на воле.
Чирикнуть, ваше степенство, что ли?
Прикажите для общего восторгу,
Три семьдесят пять — без торгу!
    Ужели же менее
    За освободительное движение?
    Что? Пасуешь?..
Эй, тетка! Который торгуешь?
    Мал?
Извините, какого поймал...
    Бывает —
Другой и вырастает,
А наш Тит
Так себя понимает,
Что брюха не растит,
А все по верхам глядит
От больших от дум!..
Ты который торгуешь?
Да не мни, не кум,
Наблудишь — не надуешь...
    Шарики детски,
    Красны, лиловы,
    Очень дешёвы!
    Шарики детски!
Эй, воротник, говоришь по-немецки?
Так бери десять штук по парам,
Остальные даром...
Жалко, ты по-немецки слабенек,
А не то — уговор лучше денег!
Пожалте, старичок!
Как вы — чок в чок —
Вот этот пузатенький,
    Желтоватенький
И на сердце с Катенькой...
    Цена не цена —
    Всего пятак,
Да разве еще четвертак,
А прибавишь гривенник для барства,—
Бери с гербом государства!
    Шарики детски, шарики!
    Вам, сударики, шарики,
    А нам бы, сударики, на шкалики!..

УМИРАНИЕ

Слава богу, снова тень!
Для чего-то спозаранья
Надо мною целый день
Длится это умиранье,
Целый сумеречный день!
Между старых желтых стен,
Доживая горький плен,
Содрогается опалый
Шар на нитке, темно-алый,
Между старых желтых стен!
И бессильный, точно тень,
В этот сумеречный день
Все еще он тянет нитку
И никак не кончит пытку
В этот сумеречный день...
Хоть бы ночь скорее, ночь!
Самому бы изнемочь,
Да забыться присмиренным,
И уйти бы одуренным
В одуряющую ночь!
Только б тот над головой,
Темно-алый, чуть живой,
Подождал пока над ложем
Быть таким со мною схожим...
Этот темный, чуть живой,
Там, над самой головой...

ИЗ РАЗДЕЛА «РАЗМЕТАННЫЕ ЛИСТЫ»

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

1901

БАБОЧКА ГАЗА

Скажите, что сталось со мной?
Что сердце так жарко забилось?
Какое безумье волной
Сквозь камень привычки пробилось?

В нем сила иль мука моя,
В волненье не чувствую сразу:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...

Фонарь свой не водит ли тать
По скопищу литер унылых?
Мне фразы нельзя не читать,
Но к ней я вернуться не в силах...

Не вспыхнуть ей было невмочь,
Но мрак она только тревожит:
Так бабочка газа всю ночь
Дрожит, а сорваться не может...

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

ПЕСНИ С ДЕКОРАЦИЕЙ

1

ГАРМОННЫЕ ВЗДОХИ

Фруктовник. Догорающий костер среди туманной ночи под осень. Усохшая яблоня. Оборванец на деревяшке перебирает лады старой гармоники. В шалаше на соломе разложены яблоки.

Под яблонькой, под вишнею
Всю ночь горят огни,—
Бывало, выпьешь лишнее,
А только ни-ни-ни.

. . . .

Под яблонькой кудрявою
Прощались мы с тобой,—
С японскою державою
Предполагался бой.

С тех пор семь лет я плаваю,
На шапке «Громобой»,—
А вы остались павою,
И хвост у вас трубой...

. . . .

Как получу, мол, пенцию,
В Артуре стану бой,
Не то, так в резиденцию
Закатимся с тобой...

. . . .

Зачем скосили с травушкой
Цветочек голубой?
А ты с худою славушкой
Ушедши за гульбой?

. . . .

Ой, яблонька, ой, грушенька,
Ой, сахарный миндаль,—
Пропала наша душенька,
Да вышла нам медаль!

. . . .

На яблоне, на вишенке
Нет гусени числа...
Ты стала хуже нищенки
И вскоре померла.

Поела вместе с листвием
Та гусень белый цвет...

. . . .

Хоть нам и все единственно,
Конца японцу нет.

. . . .

Ой, реченька желты-пески,
Куплись в тебе другой...
А мы уж, значит, к выписке...
С простреленной ногой...

. . . .

Под яблонькой, под вишнею
Сиди да волком вой...
И рад бы выпить лишнее,
Да лих карман с дырой.

2
БЕЗ КОНЦА И БЕЗ НАЧАЛА
(Колыбельная)

Ночь. Керосинка чадит. Баба над зыбкой борется со сном.

Баю-баюшки-баю,
Баю деточку мою!

Полюбился нам буркот,
Что буркотик, серый кот...

Как вечор на речку шла,
Ночевать его звала.

«Ходи, Васька, ночевать,
Колыбель со мной качать!»
. . . .
Выйду, стану в ворота,
Встрену серого кота...

Ба-ай, ба-ай, бай-баю,
Баю милую мою...
. . . .
Я для того для дружка
Нацедила молока...
. . . .
Кот латушку облизал,
Облизавши, отказал.
. . . .
Отказался напрямик:
(Будешь спать ты, баловник?)

«Вашей службы не берусь:
У меня над губой ус.

Не иначе, как в избе
Тараканов перебей.

Тараканы ваши злы.
Съели в избе вам углы.

Как бы после тех углов
Да не съели мне усов».
. . . .

Баю-баю, баю-бай,
Поскорее засыпай.

. . . .

Я кота за те слова
Коромыслом оплела...

Коромыслом по губы:
«Не порочь моей избы.

Молока было не пить,
Чем так подло поступить?»

. . . .

(Сердито.)

Долго ж эта маета?
Кликну черного кота...

Черный кот-то с печки шасть,—
Он ужо тебе задасть...

Вынимает ребенка из зыбки и закачивает.
(Тише.)

А ты, котик, не блуди,
Приходи к белóй груди.

(Еще тише.)

Не один ты приходи,
Сон-дрему с собой веди...

(Сладко зевая.)

А я дитю перевью,
А кота за верею.

Пробует положить ребенка. Тот начинает кричать.
(Гневно.)

Расстрели тебя пострел,
Ай ты нынче очумел?

. . . .

Тщетно борется с одолевающим сном.

Баю-баюшки-баю...
Баю-баюшки-баю...

. . . .

3
КОЛОКОЛЬЧИКИ

Глухая дорога. Колокольчик в зимнюю ночь рассказывает путнику свадебную историю.

Динь-динь-динь,
Дини-дини...
Дидо Ладо, Дидо Ладо,
Лиду диду ладили,
Дида Лиде ладили,
Ладили, не сладили,
Деду надосадили.
День делали,
Да день не делали,
Дела не доделали,
Головы-то целы ли?
Ляду дида надо ли —
Диду баню задали.
Динь-динь-динь, дини-динь...
Колоколы-балаболы,
Колоколы-балаболы,
Накололи, намололи,
Дале боле, дале боле...
Накололи, намололи,
Колоколы-балаболы.
Лопотуньи налетели,
Болмоталы навязали,
Лопотали-хлопотали,
Лопотали, болмотали,
Лопоталы поломали.
Динь!
Ты бы, дид, не зеньками,
Ты бы, диду, деньгами...
Деньгами, деньгами...
Долго ли, не долго ли,
Лиде шубу завели...
Холили — не холили,
Волили — неволили,
Мало ль пили, боле лили,
Дида Ладу золотили.
Дяди ли, не дяди ли,
Ладили — наладили...
Ой, пила, пила, пила,
Диду пива не дала:

Диду Лиду надобе,
Ляду дида надобе.
Ой, динь, динь, динь — дини, динь, дини,
динь,
Деньги дида милые,
А усы-то сивые...
Динь!
День.
Дан вам день...
Долго ли вы там?
Мало было вам?
Вам?
Дам
По губам.
По головам
Дам.
Буби-буби-бубенцы-ли,
Мы ли ныли, вы ли ныли,
Бубенцы ли, бубенцы ли...
День, дома бы день,
День один...
Колоколы-балаболы,
Мало лили, боле пили,
Балаболы потупили...
Бубенцы-бубенчики,
Малые младенчики,
Болмоталы вынимали,
Лопоталы выдавали,
Лопотали, лопотали...
Динь...
Колоколы-балаболы...
Колоколы-балаболы...

30 марта 1906
Вологодский поезд

СТАРЫЕ ЭСТОНКИ

Из стихов кошмарной совести

Если ночи тюремны и глухи,
Если сны паутинны и тонки,
Так и знай, что уж близко старухи,
Из-под Ревеля близко эстонки.

Вот вошли,— приседают так строго,
Не уйти мне от долгого плена,
Их одежда темна и убога,
И в котомке у каждой полено.

Знаю, завтра от тягостной жути
Буду сам на себя непохожим...
Сколько раз я просил их: «Забудьте...»
И читал их немое: «Не можем».

Как земля, эти лица не скажут,
Что в сердцах похоронено веры...
Не глядят на меня — только вяжут
Свой чулок бесконечный и серый.

Но учтивы — столпились в сторонке...
Да не бойся: присядь на кровати...
Только тут не ошибка ль, эстонки?
Есть куда же меня виноватей.

Но пришли, так давайте калякать,
Не часы ж, не умеем мы тикать.
Может быть, вы хотели б поплакать?
Так тихонько, неслышно... похныкать?

Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах...
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших... я ж не казнил их...

Я, напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких глазетах.

Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки,
И ни разу она не сжималась?

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Добродетель... Твою добродетель
Мы ослепли вязавши, а вяжем...
Погоди — вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем...»

. . . .

Сон всегда отпускался мне скупо,
И мои паутины так тонки...
Но как это печально... и глупо...
Неотвязные эти чухонки...

<?>



Сомов К. А.
Арлекин и смерть
Акварель, гуашь. 1907
Государственная Третьяковская галерея

ПЕТР ПОТЕМКИН

СВОБОДА, СОЖАЛЕНИЕ И ЧИТАТЕЛЬ

Однажды нам была дарована Свобода,
Но, к Сожалению, такого рода,
Что в тот же миг куда-то затерялась...

Тебе, Читатель мой, она не попадалась?

<1905>

ДУБАСОВ И СВЕЧКА

Придя к Дубасову, копеечная Свечка
С ним о заслугах стала толковать
И утверждать,
Что он пред ней смиренная овечка.
«Превосходительный, судите сами вы,—
Так Свечка говорила,—
Сожгли вы только треть Москвы,
А я так всю Москву спалила».

<1905>

ПЕШКА, КОРОЛЬ И ФЕРЯЗЬ

Шахматная басня

В своем бессилии уверясь,
Сказала Пешка: «Друг мой Ферязь,
Скажи мне, отчего, как я ни бьюсь,
Все в Короли не проберусь,

Хотя, не скрою,
Фигурой сделаться могу любою?»
«Утешься, не горюй о том,—
Ей Ферязь говорит с усмешкой.—
Ты не бываешь Королем,
Зато Король бывает Пешкой».

<1905>

МАНИФЕСТ И ТАРАТАЙКА

Наняв газетчик таратайку,
Пук манифестов вез с собою,
Но, подвернувшись под нагайку,
Лечим был преданной женою.
Читатель, в басне сей, откинув манифесты,
Здесь помещенные не к месту,
Ты только это соблюди:
Чтоб не попробовать нагайки,
Не езди ты на таратайке,
Да и пешком не выходи.

<1905 или 1906>

* * *

Он был прокурор из палаты,
Она же — родная печать.
Она о свободе мечтала,
А он — как бы крестик поймать.
И с горя она побледнела,
Померкнул сатиры задор...
И грезится ей беспрестанно:
«Сто третья», арест, прокурор.

<1905 или 1906>

У ВОРОТ

Суббота. Отзвонили
От всенощной в церквах.
Летят автомобили
В блестящих фонарях.

Давно устал татарин
«Халат, халат!» кричать.
Прислугу выслал барин
С собакой погулять.

На пуделе намордник,
На горничной бурнус...
Увидел старший дворник,
Лукаво крутит ус.

Направо у калитки
Уселся вместе с ней,
Просил принять две нитки
Поддельных янтарей...

Растаял старший дворник,
Растаял у ворот...
Собака сквозь намордник
Понюхает — пройдет.

<1908>

СКУЛЬПТОРУ АНДРЕЕВУ

Он выбрал Гоголя «Портрет»,
Когда поэт
Страдал последние недели.
Испортив множество резцов,
В конце концов
Он сделал Гоголя из «Носа» и «Шинели».

<1909>

НА ВЫСТАВКЕ «ТРЕУГОЛЬНИК»

Шутка

1

ШМИТ-РЫЖОВА

Шмит-Рыжова падка
К рифмам на «адко»,
Всё очень сладко,
Тона — помадка,
А в общем...

2

С. ГОРОДЕЦКИЙ

На грязной рогоже
Рожа на роже.
Художе-
Ство тоже!

3

БУРЛЮК

(«МОЯ СЕСТРА»)

Коль у тебя фантазия востра —
Взгляни-ка на портрет «Моя сестра»
И объясни: чем разнится от бурдюка
Сестрица Бурлюка?

4

Д. БУРЛЮК

(«ЗИМНЯЯ БАНЯ»)

Пальцем, выпачканным в сажу
(В бане не был я давно),
Я все мажу, мажу, мажу
Терпеливо полотно.
И нечистый плод исканий
Называю «Зимней баней».

5

СТАТУЭТКА

Колено, изрытое оспой,
Будет весь век колено —
Это нередко,—
А полено, изрытое оспой,
Будет уже не полено,
А статуэтка.

<1910>

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПАРИКМАХЕР

Скоро глянет месяц бледный
В милу горенку твою —
Одиношенек я, бедный,
В палисадничке стою.

Невтерпеж мне дух жасминный,
Хоть всегда я вижу в нем
Безусловную причину,
Что я в Катеньку влюблен.

Под жасминовым кусточком
Мы видались первый раз.
Ты цвела совсем цветочком
Для моих влюбленных глаз.

Ты клялась, что не обманешь,
Фотографию дала —
А теперь ты и не взглянешь
На несчастного меня.

С той поры я все страдаю:
На портрет ли посмотрю
Или книжку почитаю —
Все страдаю и горю.

Жду, когда пройдешь ты мимо...
Слезы капают на ус...
Катя, непреодолимо
Я к тебе душой стремлюсь!

<1910>

ЧЕСТЬ

Служа в охранке
Уже лет десять,
Свои замашки
И привычки
Давно успел уравновесить
Иван Петров.
Подле часов
Всегда в кармашке
Носил он спички,
Медаль в петличке,

И в Новом банке
Имел он свой вклад —
Сто пятьдесят.
Мужчина в соку,
Под тридцать лет,
Вставал он чуть свет
И до поздней ночи
Был начеку.
За всеми следил,
За всеми ходил
Походкой тяжелой,
Подняв воротник...
Короче —
Наблюдал за крамолой,
Как честный шпик.
Была у него любовница,
Мелкая чиновница,
Угощала его по воскресеньям
Пирогами
С грибами.
Сравнивала себя с грациями
И завязывала банки с вареньем
Прокламациями.
Любил он ее лет пять,
И жизнь его была благодать.
Но вдруг все вокруг изменилось.
Распустились цветочки акаций,
И чиновница весною влюбилась.
Нет уже прокламаций
На банках с вареньем,
Явились с новой любовью
Пироги с морковью,
А на сладкое бомбы.
И, обиженный сим охлажденьем,
Лишился совсем апломба
Мой Иван Петров.
И хмур, и суров,
Ходит он, опустив воротник,
И судьбу ругает аллигатором,
Ведь обидно: он — честный шпик,
А она связалась с провокатором.
И, с горя о чувстве столь чистом,
Стал мой шпик октябристом.

<1911>

ИДИЛЛИЯ

Околоточный Ива́нов злым домой
Из участка полицейского вернулся.
Хлопнул дверью, двинул пса ногой,
А на вой собачий и не обернулся.
Прямиком прошел Иванов в кабинет,
И фальшиво не свистел он «Периколу» —
Нынче времени на «Периколу» нет,
Нынче он идет излавливать крамолу.
Приставом своим назначен нынче он
В лекционный зал на реферат дежурить,
И ему придется прения сторон
Олегалить, оскопить и оцензурить.
Ну, а как цензурить, если Ивано́в
(Иль Ива́нов, это, в общем, безразлично)
Не знавал значенья иностранных слов,
Кроме слов «шикарно» или «симпатично»?
И решил Иванов бедный почитать
Хоть немножко перед лекцией по книжкам —
После обыска на Курской, сорок пять,
У него брошюр имеется с излишком.
Вынул книжку, начал разбирать — куда!
Ничего не понял и позвал сынишку,
И сынишка-гимназист не без труда
Начал объяснять ему лихую книжку.
Через час взопрел и младший Иванов:
«Нет, папаша, будет! Я вам приготовлю
Список нецензурных иностранных слов,
С этим списком и ступайте вы на ловлю».
Так и сделали. Сынишка написал
Сорок с лишком измов, уций, аций,
Бебель, Каутский, и Бокль, и «Капитал» —
Все сюда попали, даже сам Гораций.
Только Маркса околоточный изъял,
Вычеркнув из списка и испортив строчку:
Карла Маркса знал он, ибо получал
«Ниву» с приложеньями семь лет в рассрочку.

<1912>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «САТИРЫ»

(1910)

КРИТИКУ

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,—
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бородою.

<1909>

ИЗ ЦИКЛА «ВСЕМ НИЩИМ ДУХОМ»

ЛАМЕНТАЦИИ

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать,—

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты...

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клок!
А у нас... углы да стены
И над ними потолок.

Но подчас, не веря мифам,
Так событий личных ждешь!
Заболеть бы, что ли, тифом,
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,
Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг — кривые спины
Мутноглазых Акулин.

Где событья *нашей* жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи
Все, от крошек до старух,
Углубив в страницы очи,
Небывалым дразнят дух.

В звуках музыки — страданье,
Боль любви и шепот грез,
А вокруг одно мычанье,
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи и дохни.
Рок — хозяин, ты — лишь раб.
Плюнь, ослепни и оглохни
И ворочайся, как краб!

...Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Перелистывать эстампы
И по клавишам бренчать.

<1909>

ПЕСНЯ О ПОЛЕ

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе.

Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки
И прочий весь народ.
Виват, Проблема Пола!
Сплетайте вкруг подола
Веселый «Хоровод».

Ни слез, ни жертв, ни муки...
Подымем знамя-брюки
Высоко над толпой.
Ах, нет доступней темы!
На ней сойдемся все мы —
И зрячий и слепой.

Научно и приятно,
Идейно и занятно —
Умей момент учесть:
Для слабенькой головки
В проблеме-мышеловке
Всегда приманка есть.

1908

ПОШЛОСТЬ

(Пастель)

Лиловый лиф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза — как два пупка.
Чужие локоны к вискам прилипли густо
И маслянисто свесились бока.

Сто слов, навитых в черепе на ролик,
Замусленную всеми ерунду,—
Она, как четки набожный католик,
Перебирает вечно на ходу.

В ее салонах — *все*, толпою смелой,
Содравши шкуру с девственных идей,
Хватают лапами бесчувственное тело
И рьяно ржут, как стадо лошадей.

Там говорят, что вздорожали яйца
И что комета стала над Невой,—
Любуясь, как каминные китайцы
Кивают в такт, под граммофонный вой.

Сама мадам наклонна к идеалам:
Законную двуспальную кровать
Под стеганым атласным одеялом
Она всегда умела охранять.

Но, нос суя любовно и сурово
В случайный хлам бесштемпельных «грехов»,
Она читает вечером Баркова
И с кучером храпит до петухов.

Поет. Рисует акварелью розы.
Следит, дрожа, за модой всех сортов,
Копя остроты, слухи, фразы, позы
И растлевая музу и любовь.

На каждый шаг — расхожий катехизис,
Прин-ци-пи-аль-но носит бандажи.
Некстати поминает слово «кризис»
И томно тяготеет к глупой лжи.

В тщеславном, нестерпимо остром зуде
Всегда смешна, себе самой в ущерб,
И даже на интимнейшей посуде
Имеет родовой дворянский герб.

Она в родстве и дружбе неизменной
С бездарностью, нахальством, пустяком.
Знакома с лестью, пафосом, изменой
И, кажется, в амурах с дураком...

Ее не знают, к счастью, только... Кто же?
Конечно — дети, звери и народ.
Одни — когда со взрослыми не схожи,
А те — когда подальше от господ.

Портрет готов. Карандаши бросая,
Прошу за грубость мне не делать сцен:
Когда свинью рисуешь у сарая —
На полотне не выйдет belle Hélène [1].

<1910>

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА

Утро. Мутные стекла как бельма,
Самовар на столе замолчал.
Прочел о визитах Вильгельма
И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,
Барабанил марш по стеклу
И следил, как хозяйская кошка
Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо
Комод, «Остров мертвых», кровать.
Это было и скучно, и глупо —
И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку.
Взял Гете — и тоже назад.
Зевая, подглядывал в щелку,
Как соседка пила шоколад.

---

[1] Прекрасная Елена *(франц.)*.

Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил...
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался
И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.
Ругал бездарность и ложь.
Обедал. Со скуки напился
И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости,
Говорил о холере, добре,
Гучкове, Урьеле д'Акосте —
И домой пришел на заре.

Утро... Мутные стекла как бельма.
Кипит самовар. Рядом «Русь»
С речами того же Вильгельма.
Встаю — и снова тружусь.

<1910>

ОТБОЙ

> За жирными коровами следуют тощие, за тощими — отсутствие мяса.
>
> *Гейне*

По притихшим редакциям,
По растерзанным фракциям,
По рутинным гостиным,
За молчанье себя награждая с лихвой,
Несется испуганный вой:
Отбой, отбой,
Окончен бой,
Под стол гурьбой!
Огонь бенгальский потуши,
Соси свой палец, не дыши,
Кошмар исчезнет сам собой —
Отбой, отбой, отбой!

Читали, как сын полицмейстера ездил по городу,
Таскал по рынку почтеннейших граждан за бороду,
От нечего делать нагайкой их сек,
Один — восемьсот человек?
Граждане корчились, морщились,
Потом послали письмо со слезою в редакцию
И обвинили... реакцию.
Читали?
Ах, политика узка
И притом опасна.
Ах, партийность так резка
И притом пристрастна.
Разорваны по листику
Программки и брошюры,
То в ханжество, то в мистику
Нагие прячем шкуры.
Славься, чистое искусство
С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувство
Нам — ни мертвым ни живым.
Вечная память прекрасным и звучным словам!
Вечная память дешевым и искренним позам!
Страшно дрожать по своим беспартийным углам
Крылья спалившим стрекозам!
Ведьмы, буки, черные сотни,
Звездная палата, «черный кабинет»...
Все проворней и все охотней
Лезем сдуру в чужие подворотни —
Влез. Молчок. И нет как нет.
Отбой, отбой,
В момент любой,
Под стол гурьбой.
В любой момент
Индифферент:
Семья, горшки,
Дела, грешки —
Само собой.
Отбой, отбой, отбой!
«Отречемся от старого мира...»
И полезем гуськом под кровать.
Нам, уставшим от шумного пира,
Надо свежие силы набрать.
Ура!!

<1908>

ИЗ ЦИКЛА «БЫТ»

ОБСТАНОВОЧКА

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.
Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастия полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль».
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

<1909>

ОКРАИНА ПЕТЕРБУРГА

Время года неизвестно.
Мгла клубится пеленой.
С неба падает отвесно
Мелкий бисер водяной.

Фонари горят как бельма,
Липкий смрад навис кругом,
За рубашку ветер-шельма
Лезет острым холодком.

Пьяный чуйка обнял нежно
Мокрый столб — и голосит.
Бесконечно, безнадежно
Кислый дождик моросит...

Поливает стены, крыши,
Землю, дрожки, лошадей.
Из ночной пивной все лише
Граммофон хрипит, злодей.

«Па-ца-луем дай забвенье!»
Прямо за сердце берет.
На панели тоже пенье:
Проститутку дворник бьет.

Брань и звуки заушений...
И на них из всех дверей
Побежали светотени
Жадных к зрелищу зверей.

Смех, советы, прибаутки,
Хлипкий плач, свистки и вой —
Мчится к бедной проститутке
Постовой городовой.

Увели... Темно и тихо.
Лишь в ночной пивной вдали
Граммофон выводит лихо:
«Муки сердца утоли!»

<1910>

НОЧНАЯ ПЕСНЯ ПЬЯНИЦЫ

Темно...
Фонарь куда-то к черту убежал!
Вино
Качает толстый мой фрегат, как в шквал...
Впотьмах
За телеграфный столб держусь рукой.
Но, ах!
Нет вовсе сладу с правою ногой:
Она
Вокруг меня танцует — вот и вот...

Стена
Все время лезет прямо на живот.
Свинья!!
Меня назвать свиньею? Ах, злодей!
Меня,
Который благородней всех людей?!
Убью!
А впрочем, милый малый, бог с тобой —
Я пью,
Но так уж предназначено судьбой.
Ослаб...
Дрожат мои колени — не могу!
Как раб,
Лежу на мостовой и ни гугу...
Реву...
Мне нынче сорок лет — я нищ и глуп.
В траву
Заройте наспиртованный мой труп.
В ладье
Уже к чертям повез меня Харон...
Adieu! [1]
Я сплю, я сплю, я сплю со всех сторон...

<1909>

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

Профиль тоньше камеи,
Глаза как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан как у леди Годивы.

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,—
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.

[1] Прощайте! *(франц.)*

Влюбился жестоко и сразу
В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.

«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод... Сталь инструмента.
Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.
Ну, вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом... был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины...

Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла —
Коллега! Возьмите варенья,—
Сама сегодня варила».

Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!

<1909>

ИЗ ЦИКЛА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕХ»

ВЕШАЛКА ДУРАКОВ

1

Раз двое третьего рассматривали в лупы
И изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был в том,
Что тот, кого они признали дураком,
Был умницей,— они же были глупы.

2

«Кто этот, лгущий так туманно,
Неискренно, шаблонно и пространно?»
«Известный мистик N, большой чудак».
«Ах, мистик? Так... Я полагал — дурак».

3

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче — ах, злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

4

Дурак рассматривал картину:
Лиловый бык лизал моржа.
Дурак пригнулся, сделал мину
И начал: «Живопись свежа...
Идея слишком символична,
Но стилизовано прилично»
(Бедняк скрывал сильней всего,
Что он не понял ничего).

5

Умный слушал терпеливо
Излиянья дурака:
«Не затем ли жизнь тосклива,
И бесцветна, и дика,
Что вокруг, в конце концов,
Слишком много дураков?»
Но, скрывая желчный смех,
Умный думал, свирепея:
«Он считает только тех,
Кто его еще глупее,—
«Слишком много» для него...
Ну а мне-то каково?»

6

Дурак и мудрецу порою кровный брат:
Дурак вовек не поумнеет,
Но если с ним заспорит хоть Сократ,—
С двух первых слов Сократ глупеет!

7

Пусть свистнет рак,
Пусть рыба запоет,
Пусть манна льет с небес,—
Но пусть дурак
Себя в себе найдет —
Вот чудо из чудес!

<Между 1909 и 1910>

ЧИТАТЕЛЬ

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.

Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия,
Говорят: здоровенный талант!
Да еще не мешало б Горация —
Тоже был, говорят, не без грации...
А Шекспир, а Сенека, а Дант?

Утешаюсь одним лишь — к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
«Кто читал Ювенала, Вергилия?»
Но, увы (умолчу о фамилиях),
Оказалось — никто не читал!

Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику...
Перешли вообще на пиитику —
И поехали. Пылкий народ!

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
«О влиянье желудка на стиль»...

Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознанье сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней!

<1911>

ИЗ ЦИКЛА «НЕВОЛЬНАЯ ДАНЬ»

ТАМ ВНУТРИ

У меня серьезный папа —
Толстый, важный и седой;
У него с кокардой шляпа,
А в сенях городовой.

Целый день он пишет, пишет —
Даже кляксы на груди.
Подойдешь, а он не слышит,
Или скажет: «Уходи».

Ухожу... У папы дело,
Как у всех других мужчин.
Только как мне надоело:
Все один да все один!

Но сегодня утром рано
Он куда-то заспешил
И на коврик из кармана
Ключ в передней обронил.

Наконец-то... Вот так штука.
Я обрадовался страсть.
Кабинет открыл без звука
И, как мышка, в двери — шасть!

На столе четыре папки,
Все на месте. Все — точь-в-точь.
Ну-с, пороемся у папки —
Что он пишет день и ночь?

«О совместном обученье,
Как вреднейшей из затей»,
«Краткий список книг для чтенья
Для кухаркиных детей»,

«В Думе выступить с законом:
Чтобы школ не заражать,
Запретить еврейским женам
Девяносто лет рожать»,

«Об издании журнала
«Министерский детский сад»,
«О любви ребенка к баллам»,
«О значении наград»,

«Черновик проекта школы
Государственных детей»,
«Возбуждение крамолой
Малолетних на властей»,

«Дух законности у немцев
В младших классах корпусов»,
«Поощрение младенцев,
Доносящих на отцов».

Фу, устал. В четвертой папке
«Апология плетей».
Вот так штука... Значит, папка
Любит маленьких детей?

<1909>

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ

Я сегодня всю ночь просидел до утра,—
Я испортил, волнуясь, четыре пера:
Злободневность мелькала, как бешеный хвост,
Я поймал ее, плюнул и свез на погост.

Называть наглецов наглецами, увы,
Не по силам для бедной моей головы,
Наглецы не поверят, а зрячих смешно
Убеждать в том, что зрячим известно давно.

Пуришкевич... обглоданный, тухлый Гучков...
О, скорее полы натирать я готов
И с шарманкой бродить по глухим деревням,
Чем стучать погремушкой по грязным камням.

Сколько дней, золотых и потерянных дней,
Возмущались мы черствостью этих камней
И сердились, как дети, что камни не хлеб,
И громили ничтожество жалких амеб?

О, ужели пять-шесть ненавистных имен
Погрузили нас в черный, безрадостный сон?
Разве солнце погасло и дети мертвы?
Разве мы не увидим весенней травы?

Я, как страус, не раз зарывался в песок...
Но сегодня мой дух так спокойно высок...
Злободневность — Гучкова и Гулькина дочь —
Я с улыбкой прогнал в эту ночь.

<1910>

ИЗ ЦИКЛА «ЛИРИЧЕСКИЕ САТИРЫ»

У МОРЯ

Облаков жемчужный поясок
Полукругом вьется над заливом.
На горячий палевый песок
Мы легли в томлении ленивом.

Голый доктор, толстый и большой,
Подставляет солнцу бок и спину.
Принимаю вспыхнувшей душой
Даже эту дикую картину.

Мы наги, как дети-дикари,
Дикари, но в самом лучшем смысле.
Подымайся, солнце, и гори,
Растопляй кочующие мысли!

По морскому хрену, возле глаз,
Лезет желтенькая божия коровка.
Наблюдаю трудный перелаз
И невольно восхищаюсь: ловко!

В небе тают белые клочки.
Покраснела грудь от ласки солнца.
Голый доктор смотрит сквозь очки,
И в очках смеются два червонца.

«Доктор, друг! А не забросить нам
И белье, и платье в сине море?
Будем спины подставлять лучам
И дремать, как галки на заборе...

Доктор, друг... мне кажется, что я
Никогда не нашивал одежды!»
Но коварный доктор — о, змея! —
Разбивает все мои надежды:

«Фантазер! Уже в закатный час
Будет холодно, и ветрено, и сыро.
И притом фигуришки у нас:
Вы — комар, а я — бочонок жира.

Но всего важнее, мой поэт,
Что меня и вас посадят в каталажку».
Я кивнул задумчиво в ответ
И пошел напяливать рубашку.

<1909>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «САТИРЫ И ЛИРИКА»

(1913)

ИЗ ЦИКЛА «БУРЬЯН»

В ПРОСТРАНСТВО

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Ярлык пришит. Как для дантиста
Все рты полны гнилых зубов,
Так для поэта-пессимиста
Земля — коллекция гробов.

Конечно, это свойство взоров!
Ужели мир так впал в разврат,
Что нет натуры для узоров
Оптимистических кантат?

Вот редкий подвиг героизма,
Вот редкий умный господин,
Здесь — брак, исполненный лиризма,
Там — мирный праздник именин...

Но почему-то темы эти
У всех сатириков в тени,
И все сатирики на свете
Лишь ловят минусы одни.

Вновь с безнадежным пессимизмом
Я задаю себе вопрос:
Они ль страдали дальтонизмом
Иль мир бурьяном зла зарос?

Ужель из дикого желанья
Лежать ничком и землю грызть
Я исказил все очертанья,
Лишь в краску тьмы макая кисть?

Я в мир, как все, явился голый
И шел за радостью, как все...
Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

О Мефистофель, как обидно,
Что нет статистики такой,
Чтоб даже толстым стало видно,
Как много рухляди людской!

Тогда, объяв века страданья,
Не говорили бы порой,
Что пессимизм как заиканье
Иль как душевный геморрой...

<1910 или 1911>

ПРЯНИК

Как-то, сидя у ворот,
Я жевал пшеничный хлеб,
А крестьянский мальчик Глеб
Не дыша смотрел мне в рот.

Вдруг он буркнул, глядя вбок:
«Дай-кась толичко и мне!»
Я отрезал на бревне
Основательный кусок.

Превосходный аппетит!
Вмиг крестьянский мальчик Глеб,
Как акула, съел свой хлеб
И опять мне в рот глядит.

«Вкусно?» Мальчик просиял:
«Бытто пряник! Дай ишо!»
Я ответил: «Хорошо»,
Робко сжался и завял...

Пряник?.. Этот белый хлеб
Из пшеницы мужика —
Нынче за два пятака
Твой отец мне продал, Глеб.

<1911>

ИЗ ЦИКЛА «ГОРЬКИЙ МЕД»

ХЛЕБ

(Роман)

Мечтают двое...
Мерцает свечка.
Трещат обои.
Потухла печка.

Молчат и ходят...
Снег бьет в окошко,
Часы выводят
Свою дорожку.

«Как жизнь прекрасна
С тобой в союзе!» —
Рычит он страстно,
Копаясь в блузе.

«Прекрасней рая...»
Она взглянула
На стол без чая,
На дырки стула.

Ложатся двое...
Танцуют зубы.
Трещат обои,
И воют трубы.

Вдруг в двери третий
Ворвался с плясом —
Принес в пакете
Вино и мясо:

«Вставайте, черти!
У подворотни
Нашел в конверте
Четыре сотни!!»

Ликуют трое.
Жуют, смеются.
Трещат обои,
И тени вьются...

Прощаясь, третий
Так осторожно
Шепнул ей: «Кэти!
Теперь ведь можно?»

Ушел. В смущенье
Она метнулась,
Скользнула в сени
И не вернулась...

Улегся сытый.
Зевнул блаженно
И как убитый
Заснул мгновенно.

<1910>

НА НЕВСКОМ НОЧЬЮ

Темно под арками Казанского собора.
Привычной грязью скрыты небеса.
На тротуаре в вялой вспышке спора
Хрипят ночных красавиц голоса.

Спят магазины, стены и ворота.
Чума любви в накрашенных бровях
Напомнила прохожему кого-то,
Давно истлевшего в покинутых краях...

Недолгий торг окончен торопливо —
Вон на извозчике любовная чета:
Он жадно курит, а она гнусит.

Проплыл городовой, зевающий тоскливо,
Проплыл фонарь пустынного моста,
И дева пьяная вдогонку им свистит.

<1913>

ИЗ ЦИКЛА «У НЕМЦЕВ»

В БЕРЛИНЕ

1

Над крышами мчатся вагоны, скрежещут машины,
Под крышами мчатся вагоны, автобусы гнусно пыхтят.
О, скоро будут людей наливать по горло бензином,
И люди, шипя, по серым камням заскользят!

Летал по подземной дороге, летал по надземной,
Ругал берлинцев и пиво тянул без конца,
Смотрел на толстый шаблон, убого системный,
И втайне гордился своим выраженьем лица...

Потоки парикмахеров с телячьими улыбками
Щеголяли жилетами орангутангских тонов,
Ватные военные, украшенные штрипками,
Вдев в ноздри усы, охраняли дух основ.

Нелепые монументы из чванного железа —
Квадратные Вильгельмы на наглых лошадях,—
Умиляя берлинских торгующих Крезов,
Давили землю на серых площадях.

Гармония уборных, приветствий, извинений,
Живые манекены для шляп и плащей.
Фабричная вежливость всех телодвижений,
Огромный амбар готовых вещей...

Продажа, продажа! Галстуки и подтяжки
Завалили окна до пятых этажей.
Портреты кайзера, пепельницы и чашки,
Нижнее белье и гирлянды бандажей...

Буквы вдоль стен, колыхаясь, плели небылицы:
«Братья Гешвиндер»... Наверно, ужасно толсты,
Старший, должно быть, в пенсне, блондин и тупица,
Младший играет на цитре и любит цветы.

Военный оркестр! Я метнулся испуганно к стенке,
Толкнул какую-то тушу и зло засвистал.
От гула и грохота нудно дрожали коленки,
А едкий сплин и бензин сердце мое провонял...

2

Спешат старые дети в очках,
Трясутся ранцы на пиджачках.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат девушки — все, как одна:
Сироп в глазах, прическа из льна.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат юноши — все, как один:
Один потемнее, другой блондин.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат старухи. Лица — как гриб...
Жесткая святость... Кто против — погиб!
Солидно смеются. Скучно!

Спешат дельцы. Лица в мешках.
Сопящая сила в жирных глазах.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат трамваи, повозки, щенки.
Кричат рожки, гудки и звонки.
Дымится небо. Скучно!

1907

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЖАЖДА»

(1923)

ИЗ ЦИКЛА «ВОЙНА»

ЧУЖАЯ КВАРТИРА

Поручик Жмых, сорвав с дверей печать,
Нас водворил в покинутой квартире:
Железная разрытая кровать,
На синей печке кафельные лиры,
На стенке, позабытый впопыхах,
Портрет приготовишки в новой форме.
Лишь час назад, на чьих-то сундуках,
Мы под дождем дрожали на платформе.
Чужой уют... Увы, не в первый раз
Влезали мы в покинутые гнезда...
Кто у окна, не осушая глаз,
В последний час сквозь сад смотрел на звезды?
Кто вырос здесь, в уездном городке,
Под сенью лип и старого костела?
Фонарь дрожит в протянутой руке,
Нырнула мышь у шкафа в щелку пола...
«Где чайник, эй?» Раскрыт походный стол.
Трещит свеча в замусленной бутылке,
И вестовой, работая как вол,
У светлой печки сало жжет на вилке.
Штабс-капитан, разрыв до дна чулан,
Вернулся с книжкой и смеется: «Чехов!»
Спирт на столе. Кряхтит старик-диван.
Закуска? Хлеб и горсти две орехов...
А завтра вновь отхлынем мы назад.
И, может быть, от этого уюта
Останется обугленный фасад,—
И даже мышь не сыщет здесь приюта.
Храпят носы из серых одеял...
Не оторвать ресниц от милой книжки!
А с койки кто-то сонно пробурчал:
«Возьми с собой портрет приготовишки».

<Между 1914 и 1917>
Замброво

НОВОРОЖДЕННОМУ КАБИНЕТУ

Вот они, мужи искомые,
Нужд отечества печальники!
Эва, лица-то знакомые —
Те же всё столоначальники!

<Октябрь 1905>

ПЯТЬ И ОДНА

Пять свобод нам обещали,
И хоть мы их не видали,
Но подумай, о народ,
Целых пять ведь их — свобод.
А народ затылок чешет,
Молвя: «*Пять* меня не тешат.
Лучше б дали мне, народу,
Просто-напросто — *свободу*».

<Конец 1905>

КТО ОН?

Организатор смут,
Патронов истребитель,
Реакционный кнут,
Погромов вдохновитель...
Ушел сей молодец,
Насилия поборник:
Назначен во дворец
Как самый старший дворник!..

<Декабрь 1905 или январь 1906>


ПОЧТОВ
ЯЩИК

Яковлев А. Е.
Почтовый ящик
Журнал «Новый Сатирикон», 1913, № 10

* * *

Господь Россию приукрасил —
Он двух героев ей послал:
Один в Москве народ *дубасил,*
Другой же в Питере — *трепал.*

<Декабрь 1905 или январь 1906>

ЭПИГРАММА (НА МЕНЬШЕВИКОВ)

Чем хочешь будь себе свободно:
Буржуем, барином, купцом,
Нововременцем, подлецом —
Ну, всем, чем, душенька, угодно.
Семеновцем, прохвостом, вором,
Жандармом будь, будь прокурором,
Будь палачом, будь «октябристом»,
По мне, хоть будь себе шпиком.
Но... если стал социалистом,
Мой друг, *не будь меньшевиком.*

<Конец 1905 или начало 1906>

АРТУРЦУ

Томился ты в плену —
Жена глодала корку.
Окончили войну —
Пришел... получишь порку.

<1906>

ГИМНАСТИКА ОСОБОГО РОДА

Когда-то по градам и весям России,
По всем закоулкам ее и углам
Носился суровый казарменный окрик:
«Руки по швам!!!»

Но вот времена наступили иные,
Девиз дисциплины, как будто на смех,
Теперь изменился, и слышим мы крики:
«Эй, руки вверх!!!»

<1905 или 1906>

ПО ПОВОДУ ДВУХ ПАЛАТ В РОССИИ

Посвящается первому Российскому парламенту

Как на рубище заплаты,
Вдруг явились две палаты.
Торжествуй же, храбрый росс!
Только вот один вопрос:
Будет ли ума палата?..
Это, кажется, сверх штата.

<Апрель 1906>

* * *

Печатай книги и брошюры,
Свободой пользуйся святой —
Без предварительной цензуры,
Но с предварительной тюрьмой.

<1906>

ВЫБОРНЫЙ, ДУМА И ТЮРЕМЩИК

Однажды выборный поплелся в Думу.
Ушел тихохонько, без шуму,
Но уж назад не возвращался...
Тюремщик! Он тебе не попадался?..

<1906>

ТОНКИЙ РАСЧЕТ

Чтоб добиться в Третьей думе
Благотворных результатов,
В октябре (заметьте это)
Выбирают депутатов.
Здесь расчет заметен сразу,
И расчет довольно чистый:
В *октябре* проникнут в Думу,
Натурально, *октябристы*.

<Октябрь 1907>

АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ

ПРИЗЫВ

Нет, товарищи! Так дольше жить нельзя!
Лучше смерть, чем жизнь позорная рабов!
Выходите же на улицу, друзья,
Из своих прогнивших домиков-гробов!
Прочь бессилье! Становитеся в ряды —
И вперед, на верх горящих баррикад!
За свободу! Против мрака и нужды!
Тот изменник, кто вернется с них назад.
Кровь прольется... Ну так что же? Без крови
Ни один народ свободы не добыл —
Царство воли, царство счастья и любви
Люди строят на развалинах могил.
Вот и мы на месте тюрем и дворцов
Наше царство вечной правды создадим
И за рабство наших дедов и отцов
Всех врагов позорной плахой наградим.
А героев, павших в битве роковой,
С честью в братскую могилу отнесем,
И курган ее мы вольною толпой
Вечной памяти цветами уберем.
Выходите же на улицу скорей,
На борьбу, на верх горящих баррикад!
Стыдно жить под гнетом мрака и цепей.
Смерть иль воля! Вот наш лозунг и набат.

<1905 или 1906>

НАБАТ

В черном мраке душной ночи
      Стонет злой набат;
Толпы грозные рабочих
      В улицах кишат.

Из жилищ-гробов с проклятьем
      Вековым цепям
Они встали дружной ратью —
      На беду царям.

И на место жизни ада,
      Где давил их мрак,
Вырастают баррикады,
      Рвется красный флаг.

И под знаменем восстанья,
      Воли и борьбы
Бьются с тьмой, горя сознаньем,
      Гордые рабы.

А набат мятежным словом
      Бьет их по сердцам:
Смерть врагам! Долой оковы!
      Жизнь и честь борцам!

В черном мраке душной ночи,
      В боевом дыму,
Рать свободная рабочих
      Рушит жизнь-тюрьму.

<1905 или 1906>

* * *

Гори, мое сердце, бестрепетно, смело,
Не прихотью чувств, не бесплодной тоской,
А жаждой великого общего дела
В борьбе за свободу отчизны родной.

В тюрьме я. А там, за стенами, на воле,
Борьба... Там дрожат властелины-цари...,
Телами борцов покрывается поле...
Гори, мое сердце, сильнее гори!

Крепки еще цепи тупого насилья!..
Темно. Чуть забрезжился отблеск зари.
О, если бы вольности, вольности крылья!
Гори, мое сердце, сильнее гори!

Гори! Твое страстное гордое пламя
Охватит немало таких же сердец.
Гори, мое сердце, как красное знамя,
Которое поднял рабочий-борец.

<Между январем и апрелем 1907>

* * *

Нет в моих песнях ни тени искусства,
Нет в них ни музыки, ни красоты;
В них я излил свои юные чувства,
В них я излил дорогие мечты.

В стенах глухой и холодной темницы
Их породили тоска и любовь,
Звуки их слушали дум вереницы
И омывала сердечная кровь.

Сытые люди, быть может, забаву
В них от хандры и безделья найдут;
Только пусть знают: не смех, а отраву
Песни мои для души принесут.

Только лишь тот их поймет и оценит,
Кто, как и я, беспредельно страдал,
Тот, кто, как я, в волю светлую верит,
Тот, кто, как я, без борьбы изнывал.

Пой, мое сердце! В объятьях неволи
Негодованьем и местью звучи!
Близка, уж близка желанная воля!
Скоро позорно падут палачи.

Знайте, товарищи: годы страданья
Местью, борьбою я вмиг искуплю!
И на развалинах рабского зданья,
Песню, свободную песню спою!

<1907>

* * *

Я погибну, но вместе со мной не умрут
Пролетарские песни мои.
Знаю я, что к могиле моей не придут
Ни друзья, ни слепые враги.

Далеко за тюрьмой, где клубится туман,
Без обряда схоронят меня,
И покроет могилу колючий бурьян
С первым зноем горячего дня.

А зимой, когда вьюга заплачет над ней
И ковром снеговым опахнет,
Зазвенят мои песни по шири степей,
И, быть может, хоть звук до любимых людей
Буйный ветер тогда донесет.

Я умру, но со мною в тюрьме не умрет
Муза-узница, крошка моя.
И в последний мой час лишь она обовьет
Грустной песней и лаской меня.

<1911>

ФИЛИПП ШКУЛЕВ

* * *

Гуди призывом благодатным,
Смелей, настойчивей гуди,
И всех, кто спит в родной отчизне,
На дело общее буди.

Несися вдаль по горным кручам,
По стогнам бедных деревень,
Где под ярмом тяжелой доли
Страдают люди ночь и день.

Гуди призывом благодатным,
Чтоб наш измученный народ
Разрушил цепи роковые
И сбросил вековечный гнет...

Гуди, набат, гуди сильнее,
Гуди над Русью без конца...
Пусть от твоих ударов мощных
Дрожат холодные сердца.

<Апрель 1912>

МЫ КУЗНЕЦЫ, И ДУХ НАШ МОЛОД...

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы к счастию ключи!
Вздымайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи!

Мы светлый путь куем народу —
Мы счастье родине куем...
В горне желанную свободу
Горячим закалим огнем.
Ведь после каждого удара
Редеет тьма, слабеет гнет,
И по полям родным и ярам
Народ измученный встает.

<Май 1912>

* * *

Яснеет даль, все ярче
блики.
Рассвет, собратья, недалек;
Я вижу радостные лики,
Я вижу огненный поток...
Редеет мрак!
Бегут весенние потоки,
Зарницы пышут и горят,
Они о счастье недалеком,
О счастье светлом говорят...
Идет весна!
Чу, слышен звон... То звук
набата,
Он нас зовет на пир весны,
Все дали заревом объяты,
И люди радости полны,
И в сердце звон!
Конец засилью темной ночи,
Оно уйдет за грань веков,
Яснеют страждущие очи
Родимых братьев и отцов...
Светлеет мир!

<Май 1912>

ГРЕБЦЫ

Не страшась борьбы упорной,
Неустанно день за днем
Мы по бездне моря черной
В даль заветную плывем.

В первом радостном обмане
Цель казалась нам близка...
Но кругом в седом тумане
Потонули берега...

Уж одни гребцы устали
В волны весла опускать
И сырой туманной дали
Золотого солнца ждать.

Мы гребцов усталых сменим
И, бесстрашно, в свой черед,
Дружно волны моря вспенив,
Смело двинемся вперед!

1912

* * *

Не говори в живом призванье
Мне слова гордого «поэт».
Мы — первой радости дыханье,
Мы — первой зелени расцвет.

Разрушив черные оконца,
Мы жаждем миром опьянеть.
Еще не нам, не знавшим солнца,
Вершиной гордою шуметь.
Еще неведомой тревогой
Полна восторженная грудь,
И очарованной дорогой
Мы только начали свой путь.
Придет пора, порыв созреет,
Заблещет солнцем наша цель.
Поэта мощного взлелеет
Рабочих песен колыбель.
И он придет как вождь народный,
Как бури радостный раскат,
И в песне пламенной, свободной
И наши песни прозвучат.

1914

АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ

ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Чуть раздались, приоткрылись облака седой зимы.
Зовы верхние мятежные услышали вдруг мы.
Улыбнулись, заискрились солнца раннего лучи,
В снег сбежали и разбились блеском пурпурной парчи.
И поднялись люди кверху от тоскующей земли,
Забуянили надежды, окрыленные вдали.
О, не скоро, не так скоро к нам весна с небес придет,
Нет, не скоро хоры песен светлых с моря приведет.
Но поверьте: мы натешимся, взовьемся, полетим,
Хороводы мы с гирляндами цветными закружим.
Мы забрызжем, мы затопим весь цветами старый мир,
Солнцу, звездам слышен будет наш бескрайный хмельный пир.
Мы согреем, мы осветим, мы сожжем всю жизнь весной,
Мы прокатимся, промчимся по земле шальной волной,
Мы ударим!
Приударим!
Мы по льдинам,
По твердыням,
Мы... Да что тут говорить?
Беспощадно зиму будем мы разить и хоронить!

<1913>

ДУМА РАБОТНИЦЫ

Я сегодня утром по полю гуляла,
Дожидалась в травке, как пробьет гудок.
Я в тропинках дивных счастье все искала,
Я в овражках чудных сорвала цветок.

Думала, мечтала, зорьку вопрошала:
Не опять ли к нивкам брошенным пойти?
Так в душе легко бы, вольно бы мне стало,
Так легко бы счастье давнее найти.
Но пути-дороженьки все-то позабыты,
Старый дом разрушен, прудики разрыты,
Сон мой детский, ранний жизнью погребен.
Загулял, забегал, зазвонил призывно,
Застонал надрывным голосом гудок:
Встань скорей, работай быстро, непрерывно,
Заведи сверлильный чистенький станок.
Но и не печалься, не гляди тоскливо
В старые сказанья, заглуши их стон,
А беги к надеждам новым торопливо,
Живо откликайся на машинный звон.
Ты укрась машины свежими цветами,
Лаской, нежной грезой отуманъ, обвей,
Смелыми оденься, облачись мечтами,
Алые знамена на станках развей.

<1913>

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ

КУЗНЕЦ

Товарищ, скорее за дело!
Недаром ты встал до зари.
Остывший свой горн разъяри,
Чтоб пламя рвалось и гудело,
И крепче, сильней и смелей
В железо горячее бей.

Металлов могучим владыкой
Стой в злой, мятущейся мгле
И век золотой на земле
Из века железного выкуй!

Вся в зареве горна, рука
Верна, и тверда, и метка.

1913

ТОВАРИЩ

Весенним дыханьем, нежданно и ново,
Меж нами промчалось заветное слово,
Заветное имя одно:
— Товарищ! —
Как песня звучит нам оно.

То — песня во славу труда-миродержца,
То — мост, переброшенный к сердцу от сердца,
То — братьям от братьев привет.
— Товарищ! —
Прекрасней воззвания нет.

Из темных подвалов, из глуби подполья
Помчалось оно на простор, на раздолья
Кипящих толпой площадей.
— Товарищ! —
То — новое имя людей.

Лучистее взгляды, смелее улыбки,
И кажется: майским сиянием зыбким
Вся жизнь озарилась до дна.
— Товарищ! —
Мы — сила, мы — воля одна.

<Осень 1917>

АЛЕКСАНДР БЛАГОВ

ДУМА

В разгаре машинного шума,
Под мерные взмахи ремней,
Нередко отрадная дума
В душе возникает моей.

И греет, и ласково светит
Надеждой, что время придет —
И жизнью счастливой на свете
Рабочий народ заживет.

Поймет он, откинув тревоги
Покорной, позорной судьбы,
Что нет ему кроме дороги,
Как только дорога борьбы.

И встанет он дружной семьею,
За брата — униженный брат,
И солнце тогда над страною
Заблещет яснее в сто крат.

1914

НИКИФОР ТИХОМИРОВ

БРАТЬЯ

Мы с тобой родные братья,
Я — рабочий, ты — мужик.
Наши крепкие объятья —
Смерть и гибель для владык.

Я кую, ты пашешь поле,
Оба мы трудом живем,
Оба рвемся к светлой воле,
С бою каждый шаг берем.

Я сверлю земные недра,
Добываю сталь и медь.
Награжу тебя я щедро
За твои труды и снедь.

Наши руки мощью дышат,
Наши груди крепче лат,
Наши очи местью пышут,—
Постоим за брата брат.

Мы с тобой родные братья,
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие объятья —
Смерть и гибель для владык.

<Осень 1917>

О ДЕМЬЯНЕ БЕДНОМ, МУЖИКЕ ВРЕДНОМ

Поемный низ порос крапивою;
Где выше, суше — сплошь бурьян.
Пропало все! Как ночь, над нивою
Стоит Демьян.

В хозяйстве тож из рук все валится:
Здесь — недохватка, там — изъян...
Ревут детишки, мать печалится...
Ох, брат Демьян!

Строчит урядник донесение:
«Так што нееловских селян,
Ваш-бродь, на сходе в воскресение
Мутил Демьян:

Мол, не возьмем — само не свалится,—
Один конец, мол, для крестьян.
Над мужиками черт ли сжалится...»
Так, так, Демьян!

Сам становой примчал в Неелово,
Рвал и метал: «Где? Кто смутьян?
Сгною... Сведу со света белого!»
Ох, брат Демьян!

«Мутить народ? Вперед закается!..
Связать его! Отправить в стан!..
Узнаешь там, что полагается!»
Ась, брат Демьян?

Стал барин чваниться, куражиться:
«Мужик! Хамье! Злодей! Буян!»
Буян!.. Аль не стерпеть, отважиться?
Ну ж, брат Демьян!..

1909

КУКУШКА

Кукушка,
Хвастливая болтушка,
Однажды, сидя на суку,
Перед собранием кукушечьим болтала
О чем попало,
Что ни взбрело в башку.
Сначала то да се, по общему примеру:
Врала да знала меру.
Но под конец — поди ж ты! — соврала,
Что видела орла.
«Орла! Ведь выпадет же случай! —
Кукушки все тут в крик наперебой.—
Скажи ж скорей, каков орел собой?
Чать, туча тучей?!»
«Ну, это — как кому,— хвастуньи был ответ,—
Особого в орле, пожалуй, мало.
По мне, так ничего в нем нет,
Чего бы нам недоставало:
Те ж когти, клюв и хвост,
Почти такой же рост,
Подобно нам, весь сер — и крылья и макушка...
Короче говоря,
Чтоб слов не тратить зря:
Орел — не более как крупная кукушка!»

*

Так, оскорбляя прах бойца и гражданина,
Лгун некий пробовал на днях морочить свет,
Что, дескать, обсудить — так выйдет все едино
И разницы, мол, нет,
Что Герцен — что кадет.

1912

ГАЗЕТА

Конфискованы №№ 1 и 2
рабочей газеты «Правда».

«Слыхал?» — «Слыхал!»
«Видал?» — «А не видал!»
«Подумай: наша, брат, рабочая газетка...
Чай, жиру не придаст хозяйским-то горбам!»
«Да... Кой-кому не по зубам
Конфетка».
«А нам, гляди, как выйдет впрок!
Пойдем-кась купим номерок».
Пошли, по переулкам рыщут,
Газету ищут.
«Тьфу! Будто черт газетчиков посмёл!»
«Нашел газетчика, нашел!»
И впрямь нашел, судя по бляхе медной;
Стоит парнишка сам не свой,
Весь бледный.
«Газетку...» — «Братцы, все унес городовой!»
«Ой, прах его возьми!.. Теперь хоть волком вой...
Ты шутишь аль взаправду?!»

*

Нет, не шутил бедняк:
Под глазом у него синяк
За «Правду».

1912

РАБОТНИЦА

Склонилась тихо у станка.
Привычен труд руке проворной.
Из-под узорного платка
Задорно вьется волос черный.

Но грустен взгляд лучистых глаз:
В нем боль и скорбь души невинной.
Слеза, сверкая, как алмаз,
Повисла на реснице длинной.

В груди тревогу сердце бьет:
Враг властный стал с рабою рядом,
Дыханьем жарким обдает,
Всю раздевает жарким взглядом:

«Слышь... беспременно... ввечеру...
Упрешься — после не взыщи ты!»
Застыла вся: «Умру... Умру!»
И нет спасенья! Нет защиты!

1912

ЛАПОТЬ И САПОГ

Через года полтора
Все уйдут на хутора.
Худо ль, лучше ль будет жить,
А нет охоты выходить.

*«Псковская жизнь», № 557, 1911 г.
«Деревенские частушки»*

Где в мире найдем мы пример, подобный русской аграрной реформе? Почему не могло бы совершиться нечто подобное и среди тружеников промышленного дела?

«Россия», 17 августа 1912 г.

Над переулочком стал дождик частый крапать.
Народ — кто по дворам, кто под навес бегом.
У заводских ворот столкнулся старый лапоть
С ободранным рабочим сапогом.
«Ну что, брат лапоть, как делишки?» —
С соседом речь завел сапог.
«Не говори... Казнит меня за что-то бог:
Жена больна и голодны детишки...
И сам, как видишь, тощ,
Как хвощ...
Последние проели животишки...»
«Что так? Аль мир тебе не захотел помочь?»
«Не, мира не порочь.
Мир... он бы, чай, помог... Да мы-то не миряне!»
«Что ж? Лапти перешли в дворяне?»
«Ох, не шути...
Мы — хуторяне».
«Ахти!
На хутора пошел?! С ума ты, что ли, выжил?»

«Почти!
От опчества себя сам сдуру отчекрыжил!
Тупая голова осилить не могла,
Куда начальство клонит.
Какая речь была: «Вас, братцы, из села
Никто не гонит.
Да мир ведь — кабала! Давно понять пора:
Кто не пойдет на хутора,
Сам счастье проворонит.
Свое тягло
Не тяжело
И не надсадно,
Рукам — легко, душе — отрадно.
Рай — не житье: в мороз — тепло,
В жару — прохладно!»
Уж так-то выходило складно.
Спервоначалу нам беда и не в знатье.
Поверили. Изведали житье.
Ох, будь оно неладно!
Уж я те говорю... Уж я те говорю...
Такая жизнь пришла: заране гроб сколотишь!
Кажинный день себя, ослопину, корю.
Да что?! Пропало — не воротишь!
Теперя по местам по разным, брат, пойду
Похлопотать насчет способья».
Взглянув на лапоть исподлобья,
Вздохнул сапог: «Эхма! Ты заслужил беду.
Полна еще изрядно сору
Твоя плетеная башка.
Судьба твоя, как ни тяжка,
Тяжеле будет, знай, раз нет в тебе «душка»
Насчет отпору.
Ты пригляделся бы хоть к нам,
К рабочим сапогам.
Один у каши, брат, загинет.
А вот на нас на всех пусть петлю кто накинет!
Уж сколько раз враги пытались толковать:
«Ох, эти сапоги! Их надо подковать!»
Пускай их говорят. А мы-то не горюем.
Один за одного мы — в воду и в огонь!
Попробуй-ка нас тронь.
Мы повоюем!»

1912

КЛАРНЕТ И РОЖОК

Однажды летом
У речки, за селом, на мягком бережку
Случилось встретиться пастушьему рожку
С кларнетом.
«Здорово!» — пропищал кларнет.
«Здорово, брат,— рожок в ответ,—
Здорово!
Как вижу — ты из городских...
Да не пойму: из бар аль из каких?»
«Вот это ново,—
Обиделся кларнет.— Глаза вперед протри
Да лучше посмотри,
Чем задавать вопрос мне неуместный.
Кларнет я, музыкант известный.
Хоть, правда, голос мой с твоим немного схож,
Но я за свой талант в места какие вхож?!
Сказать вам, мужикам, и то войдете в страх вы.
А все скажу, не утаю:
Под музыку мою
Танцуют, батенька, порой князья и графы!
Вот ты свою игру с моей теперь сравни:
Ведь под твою — быки с коровами одни
Хвостами машут!»
«То так,— сказал рожок,— нам графы не сродни.
Одначе помяни:
Когда-нибудь они
Под музыку и под мою запляшут!»

1912

РАЗМАХНУЛСЯ Б Я БАСНЕЙ ЗАДОРНОЮ...

Задержаны и арестованы три народных певца, распевающих по дворам песни революционного содержания.

Размахнулся б я басней задорною,
Распростясь на минуту с кручиною,
Да боюсь, чтобы слезы не брызнули
Под веселой личиною.

А и спел бы я, братцы, вам песенку
Обо всем, что на сердце скрывается,
Да не всякая песенка
До конца допевается.

1912

БУНТУЮЩИЕ ЗАЙЦЫ

Взбежавши на пригорок,
Зайчишек тридцать — сорок
Устроили совет.
«Житья нам, братцы, нет».
«Беда. Хоть с мосту в воду».
«Добудемте права!»
«Умремте за свободу!»

. . . .

От смелых слов у всех кружилась голова.
Но только рядышком шелохнулась трава,
Как первый, кто кричал: «За волю в землю лягу!»,
С пригорка задал тягу.
За ним все зайцы, кто куда,
Айда!

*

Зайчиха с заинькой под кустиком сидела.
«Охти мне, без тебя уж стала тосковать.
Ждала тебя, ждала: глаза все проглядела.
Договорились, что ль, в совете вы до дела?»
«Договорилися. Решили бунтовать!»

*

О бунте заячьем пошли повсюду толки.
Не говоря уж о лисе,
Теперь, поди, хвосты поджали звери все,—
А больше всех, понятно, волки?!

1912

СВЕЧА

«Хозяин! Пантелей Ильич! Гляди-ко... Волга...
Взбесилась, видит бог. И потонуть недолго.
А не потонем — все равно
Водой промочит все зерно».

Приказчик мечется, хлопочет.
А Пантелей Ильич, уставя в небо взор,
Дрожащим голосом бормочет:
«Святители! Разор!
Чины небесные, арханделы и власти!
Спасите от лихой напасти!
Я добрым делом отплачу...
Сведу в лампадах пуд елею...
Под первый праздничек свечу
Вот с эту мачту закачу...
И сотельной не пожалею!»
То слыша, говорит приказчик Пантелею:
«Ты это что ж, Ильич? Про мачту-то... всурьез?
Да где же ты свечу такую раздобудешь?»
«Молчи, дурак,— умнее будешь! —
Хозяин отвечал сквозь слез.—
Дай только вымолить скорей у неба жалость,
Чтоб я с моим добром остался невредим,—
А там насчет свечи мы после... поглядим...
Укоротим, пожалуй, малость!»

*

Читатель, за вопрос нескромный извини:
Скажи, ты помнишь ли те дни,
Когда везде толпы народа
Гудели, как шмели
У меда:
«Свобода!»
«Свобода!» —
А дела до конца не довели.
На радостях, забыв о старом,
Обмякли перед вольным даром.
Читатель, если ты один из тех шмелей,
Сам на себя пеняй и сам себя жалей,—
А мне тебя не жаль. Польстившись на подарок,
Что заслужил, то получи:
Заместо сотенной свечи —
Копеечный огарок.

1913

КЛОП

Жил-был на свете клоп. И жил мужик Панкрат.
Вот как-то довелось им встретиться случайно.
Клоп рад был встрече чрезвычайно;
Панкрат — не слишком рад.
А надо вам сказать: судьба свела их вместе,
Не помню точно — где,
Не то в суде,
Не то в присутственном каком-то важном месте.
Кругом — чины да знать. Нарядная толпа
Изнемогает в кривотолках.
Панкрат и без того сидел как на иголках,—
А тут нелегкая несет еще клопа!
Взобравшись ловко по обоям
К Панкрату на рукав, клоп этаким героем
Уселся на руку и шарит хоботком.
От злости наш Панкрат позеленел весь даже:
«Ах черт, и ты туда же
Кормиться мужиком!» —
И со всего размаху
Хлоп дядя по клопу свободною рукой.

Мир праху
И вечный упокой!

*

Читатель, отзовись: не помер ты со страху?
А я — ни жив ни мертв. Наморщив потный лоб,
Сижу, ужасною догадкой потрясенный:
Ну что, как этот клоп —
Казенный?

1913

ЕРШИ И ВЬЮНЫ

Слоняяся без дела
В реке средь камышей,
Компания вьюнов случайно налетела
На общий сбор ершей.
(«Случайно», говорю, а может — «не случайно»?)
Ерши решали тайно,

Как им со щукою вести дальнейший бой?
Каких товарищей избрать в Совет ершиный
Для руководства всей борьбой
И управления общиной?
Достойных выбрали. «Все любы вам аль нет?»
«Все любы!» — «Все!» — «Проголосуем».
«Согласны, что и подписуем».
«Позвольте! Как же так? Уж утвержден Совет? —
Пищит какой-то вьюн.— Да я ж не подписался!»
«Ты к нам откуда притесался? —
Кричат ерши.—
Не шебарши!»
«Чего — не шебарши? Вьюны, чай, тоже рыбы.
Вы на собрание и нас позвать могли бы.
Есть промеж нас, вьюнов, почище вас умы.
Со щукой боремся и мы».
«Вы?!» — «Чем напрасно горячиться
Да подыматься на дыбы,
Вам у вьюнов бы поучиться
Культурным способам борьбы».
«Каким?» — «Сноровке и терпенью.
Уметь мелькнуть неслышной тенью,
Где попросить, где погрозить,
Где аргументом поразить,—
Зря не казать своих колючек.
Колючки — это уж старо!»

*

«Постой! Наплел ты закорючек.
Да у вьюнов-то есть перо?»
«Есть».— «Без колючек всё?» — «Вестимо».
«Тогда... плывите, братцы, мимо!»

1913

МАЙ

Подмяв под голову пеньку,
Рад первомайскому деньку,
Батрак Лука дремал на солнцепеке.
«Лука,— будил его хозяин,— а Лука!
Ты что ж? Всерьез? Аль так, валяешь дурака?
С чего те вздумалось валяться, лежебоке?

Ну, полежал и будет. Ась?
Молчишь. Оглох ты, что ли?
Ой, парень, взял себе ты, вижу, много воли.
Ты думаешь, что я не поглядел вчерась,
Какую прятал ты листовку?
Опять из города! Опять про забастовку?
Всё голь фабричная... У, распроклятый сброд...
Деревня им нужна... Мутить простой народ...
«Ма-ев-ка!» Знаем мы маевку.
За что я к пасхе-то купил тебе поддевку?
За что?.. Эх, брат Лука!..
Эх, милый, не дури... Одумайся... пока...
Добром прошу... Потом ужо не жди поблажки...
Попробуешь, скотина, каталажки!
До стражника подать рукой!»
Тут что-то сделалось с Лукой.
Вскочил, побагровел. Глаза горят, как свечи.
«Хозяин! — вымолвил.— Запомни... этот... май!..—
И, сжавши кулаки и разминая плечи,
Прибавил яростно: — Слышь? Лучше не замай!!»

1914

ИЗ ЦИКЛА «БАСНИ ЭЗОПА»

ПЛАКАЛЬЩИЦЫ

Лишившись дочери любимой, Антигоны,
Богач Филон, как должно богачу
(Не скареду, я тó сказать хочу),
Устроил пышные на редкость похороны.
«О матушка, скажи, как это понимать? —
В смущенье молвила сквозь слезы дочь вторая.—
Сестре-покойнице ужели не сестра я
И ты — не мать,
Что убиваться так по ней мы не умеем,
Как эти женщины, чужие нам обеим?
Их скорбь так велика
И горе — очевидно,
Что мне становится обидно:
Зачем они сюда пришли издалека
При нас оплакивать им чуждую утрату?»

«Никак,— вздохнула мать,— ты, дочь моя, слепа?
Ведь это — плакальщиц наемная толпа,
Чьи слезы куплены за дорогую плату!»

*

В годину тяжких бед умейте отличать
Скорбь тех, кто иль привык, иль вынужден молчать,
От диких выкриков и воплей неуемных
Кликуш озлобленных и плакальщиц наемных!

1915

БРАК БОГОВ

Когда, среди богинь метнувши жребий, боги
Вводили жен в свои небесные чертоги,
Суровый бог войны, омытый весь в крови,
Взял в жены чуждую отраде материнства
Богиню грабежа и гнусного бесчинства.
Восторгов неземных и знойных чар любви
Неиссякаемый родник найдя в богине,
        Бог неразлучен с ней поныне.
        С тех пор, однако, для страны,
Охваченной огнем кровавого пожара,
Изнемогающей от вражьего удара,
        Не так ужасен бог войны,
Как подвиги его божественной жены.

1914

ВОЛК И ОВЦА

        Волк тяжко занемог:
        Почти лишившись ног,
        Лежал он, как колода,
        Без ласки, без ухода.
    В такой беде, увидевши Овцу,
    Взмолился Волк:
                    «Роднулечка Овечка,
    Остановись на два словечка!
Ты видишь: жизнь моя приблизилась к концу.
Ах, знаю, я — злодей, и нет мне оправданья!
Но злость ко мне растет пусть в ком-нибудь другом,
А ты, ты сжалишься в порыве состраданья

Над умирающим врагом!
Предсмертной жаждою томимый нестерпимо,
Святая, кроткая, я об одном молю:
Помочь мне доползти к реке, текущей мимо,
Где я жестокие страданья утолю!»
«Ужель,— Овца в ответ,— я сделаюсь виною
Того, чтоб ты остался жив,
Себя водою освежив
И закусивши после... мною?»

<1916>

ДОБРЯК

Расхвастался Медведь перед Лисой:
«Ты, кумушка, не думай,
Что я всегда такой угрюмый:
Злость на меня находит полосой,
А вообще, сказать не лицемеря,
Добрей меня не сыщешь зверя.
Спроси хоть у людей: ем мертвых я аль нет?»
«Ах, кум,— Лиса в ответ,—
Что мертвые?! Я думаю другое:
Слух добрый о себе ты всюду б утвердил,
Когда бы мертвецов ты менее щадил,
Но... оставлял живых в покое!»

*

Смысл этой басенки не нов
Для лицемеров и лгунов:
Прочтут, поймут... и не покажут вида,
Что их касается обида!

<1914—1916>

ТОФУТА МУДРЫЙ

В далеком-предалеком царстве,
В ненашем государстве,
За тридевять земель
Отсель,
Средь подданных царя мудрейшего Тофуты
Случилось что-то вроде смуты.
«Разбой! — кричали все.— Грабеж!»

Шли всюду суды-пересуды:
Порядки, дескать, в царстве худы,
Насилья много от вельмож!
Одначе
Хоть бунтовали все, но в общей суете
Верх брали те,
Кто посильней да побогаче:
«Чем лезть нам, братцы, напролом,
Нарядимте послов — Тофуте бить челом;
Проведавши от них о нашей злой обиде,
Царь нас рассудит в лучшем виде».
Но — то ли сам дошел, то ль расхрабрясь от слов
Вельможи главного, злодея Протоплута,—
Не допустил к себе послов
Мудрейший царь Тофута.
«Нелепо,— молвил он,— мне слушать их, зане́
Все, что известно им, известно также мне.
А ежли что мне неизвестно,
О том им толковать подавно неуместно!»
Но черный люд не сдал: боролся до конца,
Пока не выкурил Тофуту из дворца.
И что же? Не прошло, поверите ль, минуты,
Как власть, отбитую народом у Тофуты,
Присвоили себе все те же богачи,
Да так скрутили всех, хоть караул кричи,
У бедных стали так выматывать все жилы,
Как «не запомнят старожилы».
Пошел в народе разговор:
«Попали мы впросак!»
«Того ль душа хотела?»
«Эх, не доделали мы дела!»
«От богачей-то нам, гляди, какой разор!»
Потолковали,
Погоревали
И богачей смели, как сор.
Жизнь сразу вышла на простор!
Я в этом царстве жил недавно.
И до чего живут там славно,
На свой особенный манер!
Как это все у них устроено на месте
И с применением каких геройских мер,
Вы этого всего нагляднейший пример
В *Коммунистическом* найдете *манифесте*.

1917

ПРИКАЗАНО, ДА ПРАВДЫ НЕ СКАЗАНО

Солдатская песня

Нам в бой идти приказано:
«За землю станьте честно!»
За землю! Чью? Не сказано.
Помещичью, известно!

Нам в бой идти приказано:
«Да здравствует свобода!»
Свобода! Чья? Не сказано.
А только — не народа.

Нам в бой идти приказано —
«Союзных ради наций».
А главного не сказано:
Чьих ради ассигнаций?

Кому война — заплатушки,
Кому — мильон прибытку.
Доколе ж нам, ребятушки,
Терпеть лихую пытку?

<1917>

МОЙ СТИХ

Пою. Но разве я «пою»?
Мой голос огрубел в бою,
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.
Не на сверкающей эстраде
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,
И не под скрипок стон чарующе напевный
Я возвышаю голос мой —
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный.
Наследья тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я — выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой»!

1917

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЯРЬ»

(1907)

ИЗ РАЗДЕЛА «ЗАЧАЛО»

СОЛНЦЕ

1

Стою, всевидящее око,
На страже гаснущих миров.
Мои огни — дыханье рока,
Мое вздыманье — без оков.

Во мне родился мир планетный,
И от меня умрет навек
И цвет растений безответный,
И слепо-мудрый человек.

2 апреля 1906

2

Мое лицо — тайник рождений.
Оно металось в колесе,
В горящем вихре отпадений,
В огнепылающей красе.



Добужинский М. В.
Октябрьская идиллия
Журнал «Жупел», 1905, № 1

Оно осталось зорким оком
Над застывающей землей,
И дышит в пламени высоком
В лицо вселенной молодой.

И от него на мертвом теле
В коре чуть тлеющей земли
Плоды багряные зардели
И злаки тучные взошли;

Зашевелились звери, гады,
И человек завыл в лесу,
Бросая алчущие взгляды
На первозданную красу.

31 марта 1906

3

Солнце любимое, солнце осеннее!
Не кручинься над лесом пустующим:
Горе горькое радости тленнее,
Не горюй же над миром горюющим!

Не одно ты в просторах темнеющих
Заблудилось и мчишься пустынями:
За тобой на лугах зеленеющих
Люди мчатся за веснами синими!

12 октября 1906

4

Горные дали безбрежны.
Мир величав и один.
Мир не расколот на двóе,
Слито с небесным земное.
Сонны, безоблачны, снежны
Белые лона вершин —
Их поднимает природа
Ждать золотого восхода.

Небо огни погасило
Звездами явных очей.
Свет и цвета, колыхаясь,
Мпр одевают, рождаясь.
Медленно движет светило
Стрелы кристальных лучей:
Солнце — земле и планетам,
Звездочка — тьме и кометам.

Декабрь 1904

5

Ты отошел в кривые тени,
А на челе небес взошла
Передрассветных откровений
Чуть зацветающая мгла.

И целомудренные чаши
Вздымают чуткие цветы,
Сиянья утреннего краше,
Ясней лазурной высоты.

И тлеют в облаке стыдливом
Просветы алого огня,
И день в теченье молчаливом
Поет: «Узнаешь и меня...»

1907

6

Утро. Лазурное утро. Как ясен
Словно впервые увиденный свет!
Ропот полночный, вечерний напрасен:
В мирной душе противления нет.

Нет! И как в первые дни сотворений
Эта природа — родимая мать.
Сердце склоняется миром явлений
Все бытие исчерпать.

1907

ЛУНА

1

Сияет день золотолатый,
Пока сияет — разум жив.
И мир, сверканием богатый,
Так вероятен, так красив.

Но только солнце до зенита
Свершит сегодняшний свой путь,—
Душа, тревогами повита,
Не смеет на́ небо взглянуть.

Ведь каждый градус небосклона
Вечерний приближает час.
Вот — потемнеет неба лоно,
Зажгутся звезды, вот — сейчас

Владыка сонного сознанья
Подымет око пустоты
И смехом белого сверканья
Раздавит мысли и мечты.

Исчезнет мир, погаснет разум.
Как жалкий гад, забывши день,
Я буду под слепящим глазом
Переползать из тени в тень.

1907

2

О, лунный плен!
О, цепи белых пятен!
Я здесь, внизу, один,
Как вор, пригнулся у порога.
Я, человек, я, властелин
Цветов, дневных лучей,
Владыка солнечных мечей,
Я, сам создавший имя бога,
Чей голос днем так внятен,
Я, сокрушитель стольких стен,
Здесь, скорченный, как вор,

Как раб перед бичом владыки,
Поднять не смея мертвый взор,
Лежу в пыли, как стебель повилики.
О, лунный плен!
О, цепи белых лунных пятен!

А он, вверху, мучитель белый,
Уставив вниз пустынный зрак,
Беззвучный, вечный, онемелый,
Расплавленный свинец на землю льет,
Отрадный выжигая мрак.
И только здесь, в тени, за каменным углом,
Мне, человеку с божеским лицом,
Едва переносим слепящий гнет.

Февраль 1907

3

Затопила луна терема.
Зелена у окна бахрома
Одичавшей от счастья листвы.
Ты идешь, ты выходишь сама
По алмазным лагунам травы.
Подошла, обняла и взяла,
Измывая сияньем седым;
Седоватым, зеленым твоим
Опоила туманом ночным,
Заглянула, узнала, легла,
Так была голуба и бела.

Затянули луну облака.
Затонули в сини́ терема,
И темна у окна бахрома
Опаленной познаньем листвы.
Чья вверху изогнулась рука
У покровов твоей синевы?
Кто смутил голубиную тишь,
Показал торжествующий лик?
Ты не знаешь? Уходишь? Молчишь?
Угадала, узнала, таишь!
Это он, это Лунный Старик.

1906

4

В лунном свете белый дворик,
Белый дворик, белый дом.
Лунный свет пахуч и горек,
Свет отравлен колдуном.

Перва четверть — месяц-змейка,
Снова четверть — месяц-лик.
Полнолунье — разумей-ка! —
Не луна, а сам Старик.

Он владеет синим сводом,
Он пестует девий плен,
Он мешает год за годом
Семена людских колен.

Третья четверть — отдых людям:
Смотрит месяц на ущерб.
В новолунье — не забудем —
Точит Старый новый серп.

Белый дворик — это значит
Полнолунье на земле.
В белом доме сердце плачет,
Желтый светик в лунной мгле.

Декабрь 1906

ЗЕМЛЯ

1

Душа надела цепи,
Пришла в земные степи —
Как трудно всё узнать!

Стремленья, достиганья
И бедного незнанья
На всем легла печать.

Но помнится: там где-то
Заоблачного света
Незримые края.

Не тень и отраженье,
А звезд воспламененье
И правда бытия.

Ноябрь 1904

2

Миром оплетенные,
Туманами окутаны,
Пустыней разделенные,
Пространствами опутаны,
Во времени томительном
Несемся, обнищалые,
И в блеске освежительном
Горят нам зори алые.

Ах, если бы закатами
Заря не озаряла нас,
Всегдашними утратами
Судьба бы испугала нас.
Погасли б мы, печальные,
Стесненные ущельями,
И тьмы небес опальные
Всполóхнули б весельями.

Ноябрь 1906

3

Как сладко, как тихо
На волнах твоих,
Лазурь светлотканая,
Богом любовей земных
Осиянная.
Мы ли, земные,
Тяжелые, темные,
Жалко плененные
Пленом, тягчайшим из всех,
Знаем сиянье небесных утех,

Знаем ключи золотые,
Лучами пронзенные,
Знаем купели укромные,
Где, зачиная, гудит
В недрах бескрайних
Ярь родников
И щедро дарит
В радостях тайных
Дар облаков!

Ноябрь 1906

ИЗ РАЗДЕЛА «ЯРЬ»

РОЖЕСТВО ЯРИЛЫ

В горенке малой
У бабы беспалой
Детей несудом.
Зайдет ли прохожий,
Засунется ль леший,
На свежей рогоже,
Алее моркови,
Милует и тешит,
Ей всякое гоже,
С любым по любови,
Со всяким вдвоем.

Веселая хата
У бабы беспалой.
Роятся ребята,
Середний и малый,
Урод и удалый,
Помене, поболе,
На волюшке-воле.

Отцов позабыла.
Пришел и посеял,
Кручину затеял,
Кручину избыла,
И тóмятся губы,
Засýха постыла,
Пустыни не любы.

«Где батько мой, мамо?»
«За тучами, тамо,
Где ветер ночует».
«Где батя, родная?»
«За теми лугами,
Где речка лесная
Истоки пестует».
«Где, мамо, родимый?»
«За теми ночами,
Любимый,
Где месяц жарует».

Весною зеленой
У ярочки белой
Ягненок роженый;
У горлинки сизой
Горленок ядреный;
У пегой кобылы
Яр-тур жеребенок;
У бабы беспалой
Невиданный малый:
От верха до низа
Рудой, пожелтелый —
Не, не, золоченый!
Ярила!

20 июня 1905

ПРОВОДЫ

На Перуновом холму
Во дворе и в терему
Собираются на бой.

Прощай, прощай!
Перун, Перун,
Оборони.
Рудой Перун,
Охорони.

Одна, одна,
Я от окна
Не отойду.

Кляни, колдун,
Дави, валун,
Не отойду.

На лютый бой
Перун рудой
Тебя ведет,
Трубой зовет.
И я с тобой
Иду на бой,
Не отгони!

Не взял — осталася,
Поцеловалася,
И терем пуст.
Ушел золо́ченный,
Неопороченный,
Услада уст.

Порок, позор —
Жена в ладье.
Перунов взор —
Жена в ладье.

Скорее, жрец,
Зажги костер!
Кричит птенец,
Кремень остер.

Перун, пыряй
Снопами стрел!
Еще напор,
И ворог мрет.
Перунов мор
Врагу удел.

Крепким поясом свяжусь.
Он вернется — я дождусь —
На мою, мою постель.
Полог золотом затку,
Меду выварю, медку,—
После боя вою хмель.

Декабрь 1906

СТРИБОГ

Угнал за волны челны,
За тот за вал девятый,
За тот за вал проклятый.
Валами валит волны,
Волнует кипень солный,
Качает кубок полный
И роет, рвет, как ратай,
Вздымает луг измятый,
Курчавит холм горбатый.

А берег воем стонет.
Разметан женский волос,
Голосит женский голос:
«Недаром высох колос
И солнце жгло-кололось!
Куда Стрибог их гонит?

Я парус рыжий шила.
Я в лодке дно смолила.
Я рыбака любила.
Я сеть плела.
Я ветки жгла —
Смола текла.
Я плод несла.
Стрибог, Стрибог,
Суровый бог!
Верчу я рог,
Стучу в порог,
Чтоб ты, Стрибог,
Мутить не мог
Морских дорог».

Сорвал Стрибог кору с дубов,
Свернул трубой —
И рог готов.
Трубит на жен, бегут гурьбой
С морских песков в глубокий ров.
За ними свист со всех краев,
За ними вой со всех концов,
Поднятый, бог Стрибог, тобой!

«Хо-хо! Мужей бы надо вам!
Хо-хо! Я вам легко их дам! —
И скачет сам по тем волнам,
Где водный страх припал к челнам.—
Назад, туда плыви, прилив!
Несись на них, разлей залив
И в ров — хо-хо! — с верхов к пескам
Нахлынь, отдай весь ров валам.
Я жен — хо-хо! — отдам мужьям!»

И валом валит волны,
Расплескал кубок полный,
Качает кипень солный
И топит ров прибоем.
Бегут тела и челны,
И всплыли жены с воем.
Несет их море роем.
Хмелен победным зноем,
Стрибог упился боем
И воет: «Упокоим,
На дне любовь сокроем!
Морское дно, покоем
И женам будь и воям!»

Июнь 1907

ИЗ РАЗДЕЛА «ТЕМЬ»

ИЗ ЦИКЛА «СЕРДЦЕ»

ГОРОДСКИЕ ДЕТИ

Городские дети, чахлые цветы,
Я люблю вас сладким домыслом мечты.

Если б этот лобик распрямил виски!
Если б в этих глазках не было тоски!

Если б эти тельца не были худы,
Сколько б в них кипело радостной вражды!

Если б эти ноги не были кривы!
Если б этим детям под ноги травы!

Городские дети, чахлые цветы!
Всё же в вас таится семя красоты.

В грохоте железа, в грохоте камней
Вы — одна надежда, вы всего ясней!

1907

НА МАССОВКУ

Леса вековые сосновые,
Луга зеленее зеленого
И неба, лазурью вспоенного,
Края, засмеяться готовые,
Нежно-лиловые.

Стволы, побуревшие в летах,
Гордые ржавыми латами,
И между стволами лохматыми,
В дальних просветах,
Вразброд
Рабочий народ.

Шапки надвинуты, вскинуты
Лица вспотевшие.
Все одной радостью двинуты.
Все восхотевшие
Счастья свободного.
Мира негодного
Путы истлевшие
Будто бы скинуты.

Пестрыми массами
Движутся, движутся,
Густо на просеки нижутся.
В городе дымном
Станками, машинами, кассами
Дух искалечен.
В труде заунывном
Голод всегда обеспечен.

Рокот, и грохот, и вой
Фабрики, пóтом и кровью живой —
Там, за спиною.

Сердце зарделось
Весною.
В леса захотелось,
На волю —
Услышать про новую долю.

Гулко текут по оврагу
Морем шумливым,
Скованы дружным порывом,
Снова и снова
Пьют заповедную брагу
Воздуха, воли, лучей.
Слова, кипящего слова,
Смелых речей!
Смолкло. Над желтым обрывом
Оратор...

Июнь 1906

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ДИКАЯ ВОЛЯ»

(1907)

ИЗ ЦИКЛА «ВОЛЯ»

ВОЛЯ

Здравствуй, воля!

Наивная, как юная невеста,
Пугливая, как лань лесная,
Пьянящая,
Как первое осеннее вино.

Опять ты облекла меня,
Вошла и в кровь и в плоть мою,
В глаза мне поглядела так призывно,
Что закружилась сладко голова,
И на траву склонил я жертвенное тело,
Где желтые и красные огни
Кленовых листьев раскидала осень.

Такая ж ты, но для меня другая.
Все так же ты объемлешь мир,
Сверкаешь солнцем
И в лесу живешь,
Где каждый лист тобою дышит,
Колеблемый осенним ветром.

Но миру ты нужней, чем мне,
Но солнце светит всем, как мне,
И лес хранит тебя для всех,
Не только для меня,
Стихийного, смеющегося зверя,
Каким была душа моя,
Пока не наступила эта осень.

Так мало совершилось — так же много.
Я только десять дней не видел солнца,
Тобой сверкающего, воля;
И столько же ночей не видел неба,
Простертого тобою, воля;
Я только десяти рассветов
И десяти вечерних зорь не видел,
Затепленных тобою, воля;
Я только десять дней баюкал стены
Невольничьей докучной песней,
Пропетою тобою, воля,—

И вот душа уже другая,
Берет от жизни впечатленья
Прямей, задумчивей и проще.
Так листья, ливнем благодатным
Омытые, берут прямее
Лучи от жизненного солнца.

И стали:
Слышнее детский голос,
Понятнее седая старость,
Невыносимее людская скудость,
Своя мудрее совесть,
Сильнее вялый разум,
Мои пути виднее,
Ценнее жизнь,

И смерть доступней,
И ярче огненные листья,
Зажженные тобою, осень,
И ближе ты, возможность жизни,
Воля.

Здравствуй, воля!

31 августа — 4 сентября 1907

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ИВА»

(1913)

ИЗ РАЗДЕЛА «РУСЬ»

НИЩАЯ

Нищая Тульской губернии
Встретилась мне на пути.
Инея белые тернии
Тщились венок ей сплести.

День был морозный и ветреный,
Плакал ребенок навзрыд,
В этой метелице мертвенной
Старою свиткой укрыт.

Молвил я: «Бедная, бедная!
Что ж, прими мой пятак!»
Даль расступилась бесследная,
Канула нищая в мрак.

Гнется дорога горбатая.
В мире подветренном дрожь.
Что же ты, Тула убогая,
Зря самовары куешь?

Что же ты, Русь нерадивая,
Вьюгам бросаешь детей?
Ласка твоя прозорливая
Сгинула где без вестей?

Или сама ты заброшена
В тьму, маету, нищету?
Горе, незвано, непрошено,
Треплет твою красоту?

Ну-ка, вздохни по-старинному,
Злую помеху свали,
Чтобы опять по-былинному
Силы твои расцвели!

1910

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «АНГЕЛ АРМЕНИИ»

(1918)

ПРОЩАНЬЕ

Прощайте, печальные тени,
Цветов онемелые губы.
Пусть ваши весенние сени
Ни вихрь, ни гроза не погубит.

Я с вами томился и плакал,
Я с вами упился цветеньем,
И зарностью алого мака,
И яблонь жемчужным лученьем.

Когда же плоды наливные
Созреют на ветках счастливых,
Вы вспомните, тени родные,
О песнях моих молчаливых,

О вере моей громогласной,
Что жизнь торжествует победно,
Что смерти зиянье напрасно,
Что люди не гибнут бесследно.

Май — июнь 1916
Ван

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ВЕЧЕР»

(1912)

ЧИТАЯ «ГАМЛЕТА»

1

У кладби́ща направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака...»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь,—
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.

2

И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты...»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор...
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.

1909

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.

1910

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

1

По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

2

...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

3

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

1911

* * *

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек,—

Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

1911

* * *

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

* * *

Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.

Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить.

Закрой эту черную рану
Покровом вечерней тьмы
И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы.

Чтобы мне легко, одинокой,
Отойти к последнему сну,
Прошуми высокой осокой
Про весну, про мою весну.

<1909>

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

1910

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЧЕТКИ»

(1914)

ПРОГУЛКА

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

1913

ВЕЧЕРОМ

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты первый раз одна с любимым».

1913

* * *

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

1 января 1913

* * *

Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
От дыма сизого и тусклого огня
Мы все уйти, конечно, были рады.

Но в путаных словах вопрос зажжен,
Зачем не стала я звездой любовной,
И стыдной болью был преображен
Над нами лик жестокий и бескровный.

Люби меня, припоминай и плачь!
Все плачущие не равны ль пред богом?
Прощай, прощай! меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

<1913>

* * *

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх...
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!

1913

* * *

У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.

Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других.
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.

1913

* * *

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

1913

* * *

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

1912

* * *

Здесь все то же, то же, что и прежде,
Здесь напрасным кажется мечтать.
В доме, у дороги непроезжей,
Надо рано ставни запирать.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть — большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.

И часы с кукушкой ночи рады,
Все слышней их четкий разговор.
В щелочку смотрю я: конокрады
Зажигают под холмом костер.

И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Май 1912

* * *

Н. Г.

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.
Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

1912
Царское Село

* * *

Со дня Купальницы-Аграфены
Малиновый платок хранит.
Молчит, а ликует, как царь Давид.
В морозной келье белы стены,
И с ним никто не говорит.

Приду и стану на порог,
Скажу: «Отдай мне мой платок!»

Осень 1913

* * *

Я с тобой не стану пить вино,
Оттого что ты мальчишка озорной.
Знаю я — у вас заведено
С кем попало целоваться под луной.

А у нас — тишь да гладь,
Божья благодать.

А у нас — светлых глаз
Нет приказу подымать.

1913

* * *

Вечерние часы перед столом,
Непоправимо белая страница,
Мимоза пахнет Ниццей и теплом,
В луче луны летит большая птица.

И, туго косы на ночь заплетя,
Как будто завтра нужны будут косы,
В окно гляжу я, больше не грустя,
На море, на песчаные откосы.

Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит!
Я не могу поднять усталых век,
Когда мое он имя произносит.

1913

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

1

Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпенье
Конь великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,—

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий —
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,—
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

1913

ВЕНЕЦИЯ

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Столько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте,
И не душно в сырости и зное.

1912

* * *

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Январь 1914

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «БЕЛАЯ СТАЯ»

(1917)

* * *

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем,—
Начали песни слагать
О великой щедрости божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

1915

* * *

Все отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
Во мне уже совсем похолодела.

Веселой Музы нрав не узнаю:
Она глядит и слова не проронит,
А голову в веночке темном клонит,
Изнеможенная, на грудь мою.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей...
Но больше нет ни слез, ни оправданий.

1916
Севастополь

* * *

Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья апостолов я,
Слова псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней,—
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

1915

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Н. В. Н.

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины.

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

1916

* * *

Н. В. Н.

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдию рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

1915

* * *

Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай —
Город чистых водометов,
Золотой Бахчисарай.

Там, за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады,

И орла Екатерины
Вдруг узнали — это тот!
Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот.

Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила,
Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла

И посыпала ступени,
Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой.

1916
Севастополь

* * *

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

1917

* * *

Лучше б мне частушки задорно выкликать,
А тебе на хриплой гармонике играть,

И, уйдя, обнявшись, на ночь за овсы,
Потерять бы ленту из тугой косы.

Лучше б мне ребеночка твоего качать,
А тебе полтинник в сутки выручать,

И ходить на кладбище в поминальный день
Да смотреть на белую божию сирень.

1914



Серов В. А.
1905 год. После усмирения
Карикатура на Николая II. 1905
Государственная Третьяковская галерея

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ПОДОРОЖНИК»

(1921)

* * *

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

1917

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ДИКАЯ ПОРФИРА»

(1912)

* * *

Пары сгущая в алый кокон,
Как мудрый огненный паук,
Ткет солнце из цветных волокон
За шелковистым кругом круг.

И тяжким тяготеньем сбиты,
И в жидком смерче сгущены,
Всего живущего орбиты
И раскаленны и красны.

И ты, мой дух, слепой и гордый,
Познай, как солнечная мгла,
Свой круг и бег алмазно-твердый
По грани зыбкого стекла.

Плавь гулко в огненном удушье
Металлов жидкие пары
И славь в стихийном равнодушье
Раздолье дикое игры!

1910

ТЕМНОЕ РОДСТВО

О темное, утробное родство,
Зачем ползешь чудовищным последом
За светлым духом, чтоб разумным бредом
Вновь ожило все, что в пластах мертво?

Земной коры первичные потуги,
Зачавшие божественный наш род,
И пузыри, и жаберные дуги —
Все в сгустке крови отразил урод.

И вновь, прорезав плотные туманы,
На теплые архейские моря,
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,
Льет бледный свет пустынная заря.

И, размножая легких инфузорий,
Выращивая изумрудный сад,
Все радостней и золотистей зори
Из облачного пурпура сквозят.

И солнце парит топь в полдневном жаре,
И в зарослях хвощей из затхлой мглы
Возносятся гигантских сигиллярий
Упругие и рыхлые стволы.

Косматые — с загнутыми клыками —
Пасутся мамонты у мощных рек,
И в сумраке пещер под ледниками
Кремень тяжелый точит человек...

О предки дикие! Как жутко-крепок
Союз наш кровный! Воли нет моей,
И я с душой мятущейся — лишь слепок
Давно прошедших, сумрачных теней.

И им подвластный, солнечный рассудок,
Сгустив в мозгу кровавые пары,—
Как каннибалов пляшущих желудок,
Ликуя, правит темные пиры.

1911

10*

ЯЩЕРЫ

О ящеры-гиганты, не бесследно
Вы — детища подводной темноты —
По отмелям, сверкая кожей медной,
Проволокли громоздкие хвосты!

Истлело семя, скрытое в скорлупы
Чудовищных, таинственных яиц,—
Набальзамированы ваши трупы
Под жирным илом царственных гробниц.

И ваших тел мне святы превращенья:
Они меня на гребень вознесли,
И мне владеть, как первенцу творенья,
Просторами и силами земли.

Я — зверь, лишенный и когтей и шерсти,
Но радугой разумною проник
В мой рыхлый мозг сквозь студень двух отверстий
Пурпурных солнц тяжеловесный сдвиг.

А все затем, чтоб пламенем священным
Я просветил свой древний, темный дух
И на костре пред богом сокровенным,
Как царь последний, радостно потух;

Чтоб пред его всегда багряным троном,
Как теплый пар, легко поднявшись ввысь,
Подобно раскаленным электронам,
Мои частицы в золоте неслись.

МАХАЙРОДУСЫ

Корнями двух клыков и челюстей громадных
Оттиснув жидкий мозг в глубь плоской головы,
О махайродусы, владели сушей вы
В третичные века гигантских травоядных.

И толстокожие — средь пастбищ непролазных,
Удабривая соль для молочайных трав,
Стада и табуны ублюдков безобразных,
Как ваш убойный скот, тучнели для облав.

Близ лога вашего, где в сумрачной пещере
Желудок страшный ваш свой красный груз варил,
С тяжелым шлепаньем свирепый динотерий
От зуда и жары не лез валяться в ил.

И, видя, что каймой лилово-серых ливней
Затянут огненный вечерний горизонт,
Подняв двупарные раскидистые бивни,
Так жалобно ревел отставший мастодонт.

Гудел и гнулся грунт под тушею бегущей,
И в свалке дележа, как зубья пил, клыки,
Хрустя и хлюпая в кроваво-жирной гуще,
Сгрызали с ребрами хрящи и позвонки.

И ветром и дождем разрытые долины
Давно иссякших рек, как мавзолей, хранят
Под прессами пластов в осадках красной глины
Костей обглоданных и выщербленных склад.

Земля-владычица! И я твой отпрыск тощий,
И мне назначила ты царственный удел,
Чтоб в глубине твоей сокрытой древней мощи
Огонь немеркнущий металлами гудел.

Не порывай со мной, как мать, кровавых уз,
Дай в танце бешеном твоей орбитной цепи
И крови красный гул, и мозга жирный груз
Сложить к подножию твоих великолепий!

1911

ИЗ СБОРНИКА «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ»

(1918)

* * *

Подсолнух поздний догорал в полях,
И, вкрапленный в сапфировых глубинах,
На легком зное нежился размах
Поблескивавших крыльев ястребиных.

Кладя пределы смертному хотенью —
Казалось — то сама судьба плыла
За нами по жнивью незримой тенью
От высоко скользящего крыла.

Как этот полдень — пышности и лени
Исполнена, ты шла, смиряя зной.
Лишь платье билось пеной кружевной
О гордые и статные колени.

Да там в глазах под светлой оболочкой,
На обреченного готовясь пасть,
Средь синевы темнела знойной точкой,
Поблескивая, словно ястреб,— страсть.

1916

СИБИРЬ

Художнику Льву Бруни

Железносонный, обвитый
Спектрами пляшущих молний,
Полярною ночью безмолвней
Обглядывает тундры океан Ледовитый.
И сквозь ляпис-лазурные льды,
На белом погосте,
Где так редки песцов и медведей следы,
Томятся о пламени залежи руды
И о плоти мамонтов желтые кости.
Но еще не затих
Таящийся в прибое лиственниц и пихт
Отгул отошедших веков, когда
Ржавокосмых слонов многоплодные стада,
За вожаком прорезывая кипящую пену,
Что взбил в студеной воде лосось,
Относимые напором и теченьем, вкось
Медленно переплывали золотоносную Лену.
И, вылезая, отряхивались и уходили в тайгу.
А длинношерстный носорог на бегу,
Обшаривая кровавыми глазками веки,
Доламывал проложенные мамонтом просеки.
И колыхался и перекатывался на коротких стопах.

И в реке, опиваясь влагой сладкой,
Освежал болтающийся пудовой складкой,
Слепнями облепленный воспаленный пах...
А в июньскую полночь, когда размолот
И расплавлен сумрак и мягко кует
Светозарного солнца электрический молот
На зеленые глыбы крошащийся лед,—
Грезится Полюсу, что вновь к нему
Ластятся, покидая подводную тьму,
Девственных архипелагов коралловые ожерелья.
И ночами в теплой лагунной воде
Дремлют, устав от прожорливого веселья,
Плезиозавры,
Чудовищные подобия черных лебедей.
И, освещая молнией их змеиные глаза,
В пучину ливнями еще не канув,
Силится притушить, надвигаясь, гроза
Взрывы лихорадочно пульсирующих вулканов...
Знать, не зря,
Когда от ливонских поморий
Самого грозного царя
Отодвинул Стефан Баторий,—
Не захотелось на красной площади в Москве
Лечь под топор удалой голове,
И по студеным омутам Иртыша
Предсмертной тоскою заныла душа...
Сгинул Ермак,
Но, как путь из варяг в греки,
Стлали за волоком волок,
К Полюсу под огненный полог
Текущие разливами реки.
И с таежных дебрей и тундровых полей
Собирала мерзлая земля ясак —
Золото, мамонтову кость, соболей.
Необъятная. Пало на долю твою —
Рас и пустынь вскорчевать целину,
Европу и Азию спаять в одну
Евразию — народовластий семью.
Вставай же, вставай,
Как мамонт, воскресший алою льдиной,
К незакатному солнцу на зов лебединый —
Ледовитым океаном взлелеянный край!

1916

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «СЕТИ»

(1908)

МОИ ПРЕДКИ

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок;
франты тридцатых годов,
подражающие д'Орсе и Брюммелю,
внося в позу денди
всю наивность молодой расы;
важные, со звездами, генералы,
бывшие милыми повесами когда-то,
сохраняющие веселые рассказы за ромом,
всегда одни и те же;
милые актеры без большого таланта,
принесшие школу чужой земли,
играющие в России «Магомета»
и умирающие с невинным вольтерьянством;
вы — барышни в бандо,
с чувством играющие вальсы Маркалью,
вышивающие бисером кошельки
для женихов в далеких походах,
говеющие в домовых церквах
и гадающие на картах;
экономные, умные помещицы,
хвастающие своими запасами,
умеющие простить и оборвать
и близко подойти к человеку,
насмешливые и набожные,
встающие раньше зари зимою;

и прелестно-глупые цветы театральных училищ,
преданные с детства искусству танцев,
нежно развратные,
чисто порочные,
разоряющие мужа на платья
и видающие своих детей полчаса в сутки;
и дальше, вдали — дворяне глухих уездов,
какие-нибудь строгие бояре,
бежавшие от революции французы,
не сумевшие взойти на гильотину —
все вы, все вы —
вы молчали ваш долгий век,
и вот вы кричите сотнями голосов,
погибшие, но живые,
во мне: последнем, бедном,
но имеющем язык за вас,
и каждая капля крови
близка вам,
слышит вас,
любит вас;
и вот все вы:
милые, глупые, трогательные, близкие,
благословляетесь мною
за ваше молчаливое благословенье.

Май 1907

ИЗ РАЗДЕЛА «АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ»

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Как песня матери
над колыбелью ребенка,
как горное эхо,
утром на пастуший рожок отозвавшееся,
как далекий прибой
родного, давно не виденного моря,
звучит мне имя твое
трижды блаженное:
Александрия!

Как прерывистый шепот
любовных под дубами признаний,
как таинственный шум
тенистых рощ священных,
как тамбурин Кибелы великой,
подобный дальнему грому и голубей воркованью,
звучит мне имя твое
трижды мудрое:
Александрия!

Как звук трубы перед боем,
клекот орлов над бездной,
шум крыльев летящей Ники,
звучит мне имя твое
трижды великое:
Александрия!

2

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу белые стены дома,
небольшой сад с грядкой левкоев,
бледное солнце осеннего вечера
и слышу звуки далеких флейт.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу звезды над стихающим городом,
пьяных матросов в темных кварталах,
танцовщицу, пляшущую «осу»,
и слышу звук тамбурина и крики ссоры.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем,
мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия!»

3

Вечерний сумрак над теплым морем,
огни маяков на потемневшем небе,
запах вербены при конце пира,
свежее утро после долгих бдений,

прогулка в аллеях весеннего сада,
крики и смех купающихся женщин,
священные павлины у храма Юноны,
продавцы фиалок, гранат и лимонов,
воркуют голуби, светит солнце,
когда увижу тебя, родимый город!

ЛЮБОВЬ

1

Когда я тебя в первый раз встретил,
не помнит бедная память:
утром ли то было, днем ли,
вечером или позднею ночью.
Только помню бледноватые щеки,
серые глаза под темными бровями
и синий ворот у смуглой шеи,
и кажется мне, что я видел это в раннем детстве,
хотя и старше тебя я многим.

2

Ты — как у гадателя отрок:
все в моем сердце читаешь,
все мои отгадываешь мысли,
все мои думы знаешь,
но знанье твое тут невелико,
и не много слов тут и нужно,
тут не надо ни зеркала, ни жаровни:
в моем сердце, мыслях и думах
все одно звучит разными голосами:
«Люблю тебя, люблю тебя навеки!»

3

Наверно в полдень я был зачат,
наверно родился в полдень,
и солнца люблю я с ранних лет
лучистое сиянье.
С тех пор как увидел я глаза твои,
я стал равнодушен к солнцу:
зачем любить мне его одного,
когда в твоих глазах их двое?

4

Люди видят сады с домами
и море, багровое от заката,
люди видят чаек над морем
и женщин на плоских крышах,
люди видят воинов в латах
и на площади продавцов с пирожками,
люди видят солнце и звезды,
ручьи и светлые речки,
а я везде только и вижу
бледноватые смуглые щеки,
серые глаза под темными бровями
и несравнимую стройность стана,—
так глаза любящих видят
то, что видеть велит им мудрое сердце.

5

Когда утром выхожу из дома,
я думаю, глядя на солнце:
«Как оно на тебя похоже,
когда ты купаешься в речке
или смотришь на дальние огороды!»
И когда смотрю я в полдень жаркий
на то же жгучее солнце,
я думаю про тебя, моя радость:
«Как оно на тебя похоже,
когда ты едешь по улице людной!»
И при взгляде на нежные закаты
ты же мне на память приходишь,
когда, побледнев от ласк, ты засыпаешь
и закрываешь потемневшие веки.

6

Не напрасно мы читали богословов
и у риторов учились недаром,
мы знаем значенье каждого слова
и все можем толковать седмиобразно.
Могу найти четыре добродетели в твоем теле
и семь грехов, конечно;
и охотно возьму себе блаженства;
но из всех слов одно неизменно:

когда смотрю в твои серые очи
и говорю: «люблю» — всякий ритор
поймет только «люблю» и ничего больше.

7

Если б я был древним полководцем,
покорил бы я Эфиопию и Персов,
свергнул бы я фараона,
построил бы себе пирамиду
выше Хеопса,
и стал бы
славнее всех живущих в Египте.

Если б я был ловким вором,
обокрал бы я гробницу Менкаура,
продал бы камни александрийским евреям,
накупил бы земель и мельниц
и стал бы
богаче всех живущих в Египте.

Если б я был вторым Антиноем,
утопившимся в священном Ниле,
я бы всех сводил с ума красотою,
при жизни мне были б воздвигнуты храмы,
и стал бы
сильнее всех живущих в Египте.

Если б я был мудрецом великим,
прожил бы я все свои деньги,
отказался бы от мест и занятий,
сторожил бы чужие огороды
и стал бы
свободней всех живущих в Египте.

Если б я был твоим рабом последним,
сидел бы я в подземелье,
и видел бы раз в год или два года
золотой узор твоих сандалий,
когда ты случайно мимо темниц проходишь,
и стал бы
счастливей всех живущих в Египте.

ОНА

1

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре любили, но все имели разные «потому что»:
одна любила, потому что так отец с матерью ей велели,
другая любила, потому что богат был ее любовник,
третья любила, потому что он был знаменитый художник,
а я любила, потому что полюбила.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре желали, но у всех были разные желанья:
одна желала воспитывать детей и варить кашу,
другая желала надевать каждый день новые платья,
третья желала, чтоб все о ней говорили,
а я желала любить и быть любимой.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре разлюбили, но все имели разные причины:
одна разлюбила, потому что муж ее умер,
другая разлюбила, потому что друг ее разорился,
третья разлюбила, потому что художник ее бросил,
а я разлюбила, потому что разлюбила.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
а может быть, нас было не четыре, а пять?

2

Весною листья меняет тополь,
весной возвращается Адонис
из царства мертвых...
ты же весной куда уезжаешь, моя радость?

Весною все поедут кататься
по морю иль по садам в предместьях
на быстрых конях...
а мне с кем кататься в легкой лодке?

Весной все наденут нарядные платья,
пойдут попарно в луга с цветами
сбирать фиалки...
а мне, что ж, дома сидеть прикажешь?

3

Сегодня праздник:
все кусты в цвету,
поспела смородина,
и лотос плавает в пруду, как улей!
Хочешь,
побежим вперегонку
по дорожке, обсаженной желтыми розами,
к озеру, где плавают золотые рыбки?
Хочешь,
пойдем в беседку,
нам дадут сладких напитков,
пирожков и орехов,
мальчик будет махать опахалом,
а мы будем смотреть
на далекие огороды с кукурузой?
Хочешь,
я спою греческую песню под арфу,
только уговор:
не засыпать
и по окончании похвалить певца и музыканта?
Хочешь,
я станцую «осу»
одна на зеленой лужайке
для тебя одного?
Хочешь,
я угощу тебя смородиной, не беря руками,
и ты возьмешь губами из губ
красные ягоды
и вместе
поцелуи?
Хочешь, хочешь,
будем считать звезды,
и кто спутается, будет наказан?
Сегодня праздник,
весь сад в цвету,
приди, мой ненаглядный,
и праздник сделай праздником и для меня!

4

Разве неправда,
что жемчужина в уксусе тает,
что вербена освежает воздух,
что нежно голубей воркованье?

Разве неправда,
что я — первая в Александрии
по роскоши дорогих уборов,
по ценности белых коней и серебряной сбруи,
по длине черных кос хитросплетенных?
что никто не умеет
подвести глаза меня искусней
и каждый палец напитать
отдельным ароматом?

Разве неправда,
что с тех пор, как я тебя увидала,
ничего я больше не вижу,
ничего я больше не слышу,
ничего я больше не желаю,
как видеть твои глаза,
серые под густыми бровями,
и слышать твой голос?

Разве неправда,
что я сама дала тебе айву, откусивши,
посылала опытных наперсниц,
платила твои долги до того,
что продала именье
и все уборы
отдала за любовные напитки?
и разве неправда,
что все это было напрасно?

Но пусть правда,
что жемчужина в уксусе тает,
что вербена освежает воздух,
что нежно голубей воркованье —
будет правдой,
будет правдой
и то,
что ты меня полюбишь!

5

Подражание П. Луису

Их было четверо в этот месяц,
но лишь один был тот, кого я любила.

Первый совсем для меня разорился,
посылал каждый час новые подарки
и, продавши последнюю мельницу, чтоб купить мне
запястья,
которые звякали, когда я плясала,— закололся,

но он не был тот, кого я любила.
Второй написал в мою честь тридцать элегий,
известных даже до Рима, где говорилось,
что мои щеки — как утренние зори,
а косы — как полог ночи,
но он не был тот, кого я любила.

Третий, ах, третий был так прекрасен,
что родная сестра его удушилась косою
из страха в него влюбиться;
он стоял день и ночь у моего порога,
умоляя, чтоб я сказала: «приди», но я молчала,
потому что он не был тот, кого я любила.

Ты же не был богат, не говорил про зори и ночи,
не был красив,
и когда на празднике Адониса я бросила тебе гвоздику,
посмотрел равнодушно своими светлыми глазами,
но ты был тот, кого я любила.

6

Не знаю, как это случилось:
моя мать ушла на базар;
я вымела дом
и села за ткацкий станок.
Не у порога (клянусь!), не у порога я села,
а под высоким окном.
Я ткала и пела;
что еще? ничего.
Не знаю, как это случилось:
моя мать ушла на базар.

Не знаю, как это случилось:
окно было высоко.
Наверно, подкатил он камень,
или влез на дерево,
или встал на скамью.
Он сказал:
«Я думал, это малиновка,
а это — Пенелопа.
Отчего ты дома? Здравствуй!»
«Это ты, как птица, лазаешь по застрехам,
а не пишешь своих любезных свитков
в суде».
«Мы вчера катались по Нилу —
у меня болит голова».
«Мало она болит,
что не отучила тебя от ночных гулянок».
Не знаю, как это случилось:
окно было высоко.

Не знаю, как это случилось:
я думала, ему не достать.
«А что у меня во рту, видишь?»
«Чему быть у тебя во рту?
Крепкие зубы да болтливый язык,
глупости в голове».
«Роза у меня во рту — посмотри».
«Какая там роза!»
«Хочешь, я тебе ее дам,
только достань сама».
Я поднялась на цыпочки,
я поднялась на скамейку,
я поднялась на крепкий станок,
я достала алую розу,
а он, негодный, сказал:
«Ртом, ртом,
изо рта только ртом,
не руками, чур, не руками!»
Может быть, губы мои
и коснулись его, я не знаю.
Не знаю, как это случилось:
я думала, ему не достать.

Не знаю, как это случилось:
я ткала и пела;

не у порога (клянусь!), не у порога сидела,
окно было высоко:
кому достать?
Мать, вернувшись, сказала:
«Что это, Зоя,
вместо нарцисса ты выткала розу?
Что у тебя в голове?»
Не знаю, как это случилось.

МУДРОСТЬ

1

Я спрашивал мудрецов вселенной:
«Зачем солнце греет?
зачем ветер дует?
зачем люди родятся?»

Отвечали мудрецы вселенной:
«Солнце греет затем,
чтоб созревал хлеб для пищи
и чтобы люди от заразы мёрли;
ветер дует затем,
чтоб приводить корабли к пристани дальней
и чтоб песком засыпать караваны;
люди родятся затем,
чтоб расстаться с милою жизнью
и чтоб от них родились другие для смерти».

«Почему ж боги так все создали?»
«Потому же,
почему в тебя вложили желанье
задавать праздные вопросы».

2

Что ж делать,
что багрянец вечерних облаков
на зеленоватом небе,
когда слева уж виден месяц
и косматo-огромная звезда,
предвестница ночи,—
быстро бледнеет,

тает
совсем на глазах?
что путь по широкой дороге
между деревьев мимо мельниц,
бывших когда-то моими,
но промененных на запястья тебе,
где мы едем с тобой,—
кончается там за поворотом,
хотя б и приветливым
домом,
совсем сейчас?
что мои стихи,
дорогие мне,
так же, как Каллимаху
и всякому другому великому,
куда я влагаю любовь, и всю нежность,
и легкие от богов мысли,
отрада утр моих,
когда небо ясно
и в окна пахнет жасмином,—
завтра
забудутся, как и все?
что перестану я видеть
твое лицо?
слышать твой голос?
что выпьется вино,
улетучатся ароматы
и сами дорогие ткани
истлеют
через столетья?
Разве меньше я стану любить
эти милые хрупкие вещи
за их тленность?

3

Как люблю я, вечные боги,
прекрасный мир!
Как люблю я солнце, тростники
и блеск зеленоватого моря
сквозь тонкие ветви акаций!
Как люблю я книги (моих друзей),
тишину одинокого жилища
и вид из окна

на дальние дынные огороды!
Как люблю пестроту толпы на площади,
крики, пенье и солнце,
веселый смех мальчиков, играющих в мяч!
Возвращенье домой
после веселых прогулок,
поздно вечером,
при первых звездах,
мимо уже освещенных гостиниц,
с уже далеким другом!
Как люблю я, вечные боги,
светлую печаль,
любовь до завтра,
смерть без сожаленья о жизни,
где все мило,
которую люблю я, клянусь Дионисом,
всею силою сердца
и милой плоти!

4

Сладко умереть
на поле битвы
при свисте стрел и копий,
когда звучит труба
и солнце светит,
в полдень,
умирая для славы отчизны
и слыша вокруг:
«прощай, герой!»
Сладко умереть
маститым старцем
в том же доме,
на той же кровати,
где родились и умерли деды,
окруженным детьми,
ставшими уже мужами,
и слыша вокруг:
«прощай, отец!»
Но еще слаще,
еще мудрее,
истративши все именье,
продавши последнюю мельницу
для той,

которую завтра забыл бы,
вернувшись
после веселой прогулки
в уже проданный дом,
поужинать
и, прочитав рассказ Апулея
в сто первый раз,
в теплой, душистой ванне,
не слыша никаких прощаний,
открыть себе жилы;
и чтоб в длинное окно у потолка
пахло левкоями,
светила заря
и вдалеке были слышны флейты.

5

Солнце, солнце,
божественный Ра-Гелиос,
тобою веселятся
сердца царей и героев,
тебе ржут священные кони,
тебе поют гимны в Гелиополе;
когда ты светишь,
ящерицы выползают на камни,
и мальчики идут со смехом
купаться к Нилу.
Солнце, солнце,
я — бледный писец,
библиотечный затворник,
но я люблю тебя, солнце, не меньше,
чем загорелый моряк,
пахнущий рыбой и соленой водою,
и не меньше,
чем его привычное сердце
ликует
при царственном твоем восходе
из океана,
мое трепещет,
когда твой пыльный, но пламенный луч
скользнет
сквозь узкое окно у потолка
на исписанный лист

и мою тонкую желтоватую руку,
выводящую киноварью
первую букву гимна тебе,
о, Ра-Гелиос солнце!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

* * *

Ах, покидаю я Александрию
и долго видеть ее не буду!
Увижу Кипр, дорогой богине,
Увижу Тир, Ефес и Смирну,
Увижу Афины — мечту моей юности,
Коринф, и далекую Византию,
и венец всех желаний,
цель всех стремлений —
увижу Рим великий! —
все я увижу, но не тебя!
Ах, покидаю я тебя, моя радость,
и долго, долго тебя не увижу!
Разную красоту я увижу,
в разные глаза насмотрюся,
разные губы целовать буду,
разным кудрям дам свои ласки
и разные имена я шептать буду
в ожиданье свиданий в разных рощах.
Все я увижу, но не тебя!

1905—1908

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ОСЕННИЕ ОЗЕРА»

(1912)

ИЗ ЦИКЛА «ВЕСЕННИЙ ВОЗВРАТ»

* * *

Окна неясны очертанья...
Тепло и нега... сумрак... тишь...
Во сне ль сбываются мечтанья?
Ты рядом, близко, здесь лежишь.

Рукою обнимая тело,
Я чувствую: не сон, не сон...
Сомнений горечь отлетела,
Мне снова ясен небосклон.

О долгие часы лобзаний,
Объятий сладостных и нег!
Каких нам больше указаний?
О время, укроти свой бег!

Пусть счастья голубая птица
Не улетит во время сна,
Пусть этот сумрак вечно длится
В разрезе смутного окна.

<Март — май 1911>

ИЗ ЦИКЛА «ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ»

* * *

Ах, не плыть по голубому морю,
Не видать нам Золотого Рога,
Голубей и площади Сан Марка.
Хорошо отплыть туда, где жарко,
Да двоится милая дорога,
И не знаю, к радости иль к горю.

Не видать открытых, светлых палуб
И судов с косыми парусами,
Золотыми в зареве заката.
Что случается, должно быть свято,
Управляем мы судьбой не сами,
Никому не надо наших жалоб.

Может быть, судьбу и переспорю,
Сбудется веселая дорога,
Отплывем весной туда, где жарко,
И покормим голубей Сан Марка,
Поплывем вдоль Золотого Рога
К голубому, ласковому морю!

<Февраль — май 1911>

* * *

Ветер с моря тучи гонит,
В засиявшей синеве
Облак рвется, облак тонет,
Отражаяся в Неве.

Словно вздыбив белых коней,
Заскакали трубачи.
Взмылясь бешеной погоней,
Треплют гривы космачи.

Пусть несутся в буйных клочьях
По эмали голубой,
О весенних полномочьях
Звонкою трубя трубой.

<Февраль — май 1911>

ИЗ ЦИКЛА «ВЕНОК ВЕСЕН (ГАЗЭЛЫ)»

* * *

От тоски хожу я на базары: что мне до них!
Не развеют скуки мне гусляры: что мне до них!
Кисея, как облак зорь вечерних, шитый баркан...
Как без глаз, смотрю я на товары: что мне до них!
Голубая кость людей влюбленных, ты, бирюза,
От тебя в сердцах горят пожары: что мне до них!
И клинок дамасский уж не манит: время прошло,
Что звенели радостью удары: что мне до них!
Сотню гурий купишь ты на рынке, был бы кошель,
Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне до них!
Не зови меня, купец знакомый,— щеголь ли я?
Хороши шальвары из Бухары: что мне до них!

<Май — июнь 1908>

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «КАМЕНЬ»

(1915)

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

* * *

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

* * *

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое —
От неизбежного.

От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

1909

* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,—

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909

* * *

Есть целомудренные чары,—
Высокий лад, глубокий мир,
Далёко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

1909

* * *

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть,—
Узора милого не зачеркнуть.

1909

* * *

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая,—
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

1909

* * *

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,

И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909

* * *

Когда удар с ударами встречается,
И надо мною роковой,
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится и грубо остановится,
И упадет веретено,—
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,
И, все быстрее и быстрей,
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей...

1910

* * *

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой.

И если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь — трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

1910

РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь,
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей,

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

ПЕШЕХОД

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот.
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю, как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листах,
И подлинно во мне печаль поет.

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа — в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

1912

АЙЯ-СОФИЯ

Айя-София,— здесь остановиться
Судил господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество.
На парусах, под куполом, четыре
Архангела — прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна,— как броненосец в доке,—
Россия отдыхает тяжело.



Остроумова-Лебедева А. П.
Весенний мотив
Цветная гравюра на дереве. 1904
Государственная Третьяковская галерея

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря.

1913

КИНЕМАТОГРАФ

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне,
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы графини.

И в исступленье, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется.
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему — отцовское наследство,
А ей — пожизненная крепость!

1913

* * *

Есть иволги в лесах, и гласных долгота —
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

1914

ПОСОХ

Посох мой — моя свобода,
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел,
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

1914

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи,—
На головах царей божественная пена,—
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «TRISTIA»[1]

(1922)

ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры,—
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир,
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы,—
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.

[1] «Скорбь» *(лат.)*.

Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь,—
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры!
А я пою вино времен —
Источник речи италийской,
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи,—
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Холодный камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга
И рейнская струя светлей,—
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

1916

ДЕКАБРИСТ

«Тому свидетельство языческий сенат,—
Сии дела не умирают!»
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

«Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!»
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

1917

* * *

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
«Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем»,— и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки,— идешь — никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни,
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы — на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады,— и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки».

Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена,—
Не Елена, другая — как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

1917

ИЗ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЯ. 1900—1910»

(1910)

ИЗ РАЗДЕЛА «ГОДЫ СТРАНСТВИЙ»

ПУСТЫНЯ

Монмартр... Внизу ревет Париж —
Коричневато-серый, синий...
Уступы каменистых крыш
Слились в равнины темных линий.
То купол зданья, то собор
Встает из синего тумана.
И в ветре чуется простор
Волны соленой океана...
Но мне мерещится порой,
Как дальних дней воспоминанье,
Пустыни вечной и немой
Ненарушимое молчанье.
Раскалена, обнажена,
Под небом, выцветшим от зноя,
Весь день без мысли и без сна
В полубреду лежит она,
И нет движенья, нет покоя...
Застывший зной. Устал верблюд.
Пески. Извивы желтых линий.
Миражи бледные встают —
Галлюцинации Пустыни.

И в них мерещатся зубцы
Старинных башен. Из тумана
Горят цветные изразцы
Дворцов и храмов Тамерлана.
И тени мертвых городов
Уныло бродят по равнине
Неостывающих песков,
Как вечный бред больной Пустыни.

Царевна в сказке,— словом властным
Степь околдованная спит,
Храня проклятой жабы вид
Под взглядом солнца злым и страстным.
Но только мертвый зной спадет
И брызнет кровь лучей с заката —
Пустыня вспыхнет, оживет,
Струями пламени объята.
Вся степь горит — и здесь, и там,
Полна огня, полна движений,
И фиолетовые тени
Текут по огненным полям.
Да одиноко городища
Чернеют жутко средь степей:
Забытых дел, умолкших дней
Ненарушимые кладбища.
И тлеет медленно закат,
Усталый конь бодрее скачет,
Копыта мерно говорят,
Степной джюсан звенит и плачет.
Пустыня спит, и мысль растет...
И тихо все во всей пустыне:
Широкий звездный небосвод,
Да аромат степной полыни...

1901
Ташкент — Париж

АКРОПОЛЬ

Серый шифер. Белый тополь.
Пламенеющий залив.
В серебристой мгле олив
Усеченный холм — Акрополь.

Ряд рассеченных ступеней,
Портик тяжких Пропилей,
И за грудами камений
В сетке легких синих теней
Искры мраморных аллей.
Небо знойно и бездонно —
Веет синим огоньком.
Как струна, звенит колонна
С ионийским завитком.
За извивами Кефиза
Заплелись уступы гор
В рыже-огненный узор...
Луч заката брызнул снизу...
Над долиной сноп огней...
Рдеет пламенем над ней он —
В горне бронзовых лучей
Загорелый Эрехтейон...
Ночь взглянула мне в лицо.
Черны ветви кипариса.
А у ног, свернув кольцо,
Спит театр Диониса.

1900
Афины

ИЗ РАЗДЕЛА «AMORI AMARA SACRUM»[1]

СТАРЫЕ ПИСЬМА

А. В. Гольштейн

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.

Я люблю узорный почерк —
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.

[1] «Темные восторги любви» *(лат.)*.

Мне так близко обаянье
Их усталой красоты...
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.

КИММЕРИЙСКИЕ СУМЕРКИ

Константину Федоровичу Богаевскому

I

ПОЛЫНЬ

Костер мой догорал на берегу пустыни.
Шуршали шелесты струистого стекла.
И горькая душа тоскующей полыни
В истомной мгле качалась и текла.

В гранитах скал — надломленные крылья.
Под бременем холмов — изогнутый хребет.
Земли отверженной — застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!

Дитя ночей призывных и пытливых,
Я сам — твои глаза, раскрытые в ночи
К сиянью древних звезд, таких же сиротливых,
Простерших в темноту зовущие лучи.

Я сам — уста твои, безгласные как камень!
Я тоже изнемог в оковах немоты.
Я свет потухших солнц, я слов застывший пламень
Незрячий и немой, бескрылый, как и ты.

О мать-невольница! На грудь твоей пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине...
И горький дым костра, и горький дух полыни,
И горечь волн — останутся во мне.

1907

II

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль,
И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.

Припаду я к острым щебням, к серым срывам
размытых гор,
Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело.
Здравствуй, ты, в весне распятый, мой торжественный
Коктебель!

Коктебель
1907

III

Темны лики весны. Замутились влагой долины,
Выткали синюю даль прутья сухих тополей.
Тонкий снежный хрусталь опрозрачил дальние горы.
Влажно тучнеют поля.

Свивши тучи в кудель и окутав горные щели,
Ветер, рыдая, прядет тонкие нити дождя.
Море глухо шумит, развивая древние свитки
Вдоль по пустынным пескам.

1907

IV

Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники, и воды как металл.

А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках — намеки и фигуры...
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,

Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам.
Чей согнутый хребет порос как шерстью чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?

Здесь душно в тесноте... А там — простор, свобода,
Там дышит тяжело усталый Океан
И веет запахом гниющих трав и йода.

1907

V

Здесь был священный лес. Божественный гонец
Ногой крылатою касался сих прогалин.
На месте городов ни камней, ни развалин.
По склонам бронзовым ползут стада овец.

Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец
В зеленых сумерках таинственно печален.
Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален?
Кто знает путь богов — начало и конец?

Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни
И море древнее, вздымая тяжко гребни,
Кипит по отмелям гудящих берегов.

И ночи звездные в слезах проходят мимо,
И лики темные отвергнутых богов
Глядят и требуют, зовут... неотвратимо.

1907

VI

Равнина вод колышется широко,
Обведена серебряной каймой.
Мутится мыс, зубчатою стеной
Ступив на зыбь расплавленного тока.

Туманный день раскрыл златое око,
И бледный луч, расплесканный волной,
Скользит, дробясь над мутной глубиной, —
То колос дня от пажитей востока.

В волокнах льна златится бледный круг
Жемчужных туч, и солнце, как паук,
Дрожит в сетях алмазной паутины.

Вверх обрати ладони тонких рук —
К истоку дня! Стань лилией долины,
Стань стеблем ржи, дитя огня и глины!

1907

VII

Над зыбкой рябью вод встает из глубины
Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней,
Обрывы черные, потоки красных щебней —
Пределы скорбные незнаемой страны.

Я вижу грустные, торжественные сны —
Заливы гулкие земли глухой и древней,
Где в поздних сумерках грустнее и напевней
Звучат пустынные гекзаметры волны.

И парус в темноте, скользя по бездорожью,
Трепещет древнею, таинственною дрожью
Ветров тоскующих и дышащих зыбей.

Путем назначенным дерзанья и возмездья
Стремит мою ладью глухая дрожь морей,
И в небе теплятся лампады Семизвездья.

1907

VIII

MARE INTERNUM[1]

Я — солнца древний путь от красных скал Тавриза
До темных врат, где стал Гераклов град — Кадикс.
Мной круг земли омыт, в меня впадает Стикс,
И струйный столб огня на мне сверкает сизо.

Вот рдяный вечер мой: с зубчатого карниза
Ко мне склонились кедр и бледный тамарикс.
Широко шелестит фиалковая риза,
Заливы черные сияют, как оникс.

Люби мой долгий гул и зыбких взводней змеи,
И в хорах волн моих напевы Одиссеи.
Вдохну в скитальный дух я власть дерзать и мочь,

И обоймут тебя в глухом моем просторе
И тысячами глаз взирающая Ночь,
И тысячами уст глаголящее Море.

1907

---

[1] Внутреннее море *(лат.)*.

IX

ГРОЗА

Див кличет по древию, велит послушати
Волзе, Поморью, Посулью, Сурожу...

Запал багровый день. Над тусклою водой
Зарницы синие трепещут беглой дрожью.
Шуршит глухая степь сухим быльем и рожью,
Вся млеет травами, вся дышит душной мглой,

И тутнет гулкая. Див кличет пред бедой
Ардавде, Корсуню, Поморью, Посурожью,—
Земле незнаемой разносит весть Стрибожью:
Птиц стоном убуди и вста звериный вой.

С туч ветр плеснул дождем и мечется с испугом
По бледным заводям, по ярам, по яругам...
Тьма прыщет молнии в зыбучее стекло...

То Землю древнюю тревожа долгим зовом,
Обида вещая раскинула крыло
Над гневным Сурожем и пенистым Азовом.

1907

X

ПОЛДЕНЬ

Травою жесткою, пахучей и седой
Порос бесплодный скат извилистой долины.
Белеет молочай. Пласты размытой глины
Искрятся грифелем, и сланцем, и слюдой.

По стенам шифера, источенным водой,
Побеги каперсов; иссохший ствол маслины;
А выше за холмом лиловые вершины
Подъемлет Карадаг зубчатою стеной.

И этот тусклый зной, и горы в дымке мутной,
И запах душных трав, и камней отблеск ртутный,
И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц —

Мутят сознание. И зной дрожит от крика...
И там — во впадинах зияющих глазниц —
Огромный взгляд растоптанного Лика.

1907

XI

ОБЛАКА

Гряды холмов отусклил марный иней.
Громады туч по сводам синих дней
Ввысь громоздят (все выше, все тесней)
Клубы свинца, седые крылья пиний,

Столбы снегов, и гроздями глициний
Свисают вниз... Зной глуше и тускней.
А по степям несется бег коней,
Как темный лет разгневанных Эриний.

И сбросил Гнев тяжелый гром с плеча,
И, ярость вод на долы расточа,
Отходит прочь. Равнины медно-буры.

В морях зари чернеет кровь богов.
И дымные встают меж облаков
Сыны огня и сумрака — Ассуры.

1909

XII

СЕХМЕТ

Влачился день по выжженным лугам.
Струился зной. Хребтов синели стены.
Шли облака, взметая клочья пены
На горный кряж (доступный чьим ногам?).

Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
Кто с узкой грудью, с профилем гиены
Лик обращал навстречу вечерам?

Теперь на дол ночная пала птица,
Край запада лудою распаля.
И персть путей блуждает и томится...

Чу! В теплой мгле (померкнули поля...)
Далеко ржет и долго кобылица.
И трепетом ответствует земля.

1909

XIII

Сочилась желчь шафранного тумана.
Был стоптан стыд, притуплена любовь...
Стихала боль. Дрожала зыбко бровь.
Плыл горизонт. Глаз видел четко, пьяно.

Был в свитках туч на небе явлен вновь
Грозящий стих закатного Корана...
И был наш день одна большая рана,
И вечер стал запекшаяся кровь.

В тупой тоске мы отвратили лица.
В пустых сердцах звучало глухо: «Нет!»
И, застонав, как раненая львица,

Вдоль по камням влача кровавый след,
Ты на руках ползла от места боя,
С древком в боку, от боли долго воя...

Август 1909

XIV

ОДИССЕЙ В КИММЕРИИ

Лидии Дм. Зиновьевой-Аннибал

Уж много дней рекою Океаном
Навстречу дню, расправив паруса,
Мы бег стремим к неотвратимым странам.
Усталых волн все глуше голоса,

И слепнет день, мерцая оком рдяным.
И вот вдали синеет полоса
Ночной земли и слитые с туманом
Излоги гор и скудные леса.

Наш путь ведет к божницам Персефоны,
К глухим ключам, под сени скорбных рощ,
Раин и ив, где папоротник, хвощ

И черный тис одели леса склоны...
Туда идем, к закатам темных дней
Во сретенье тоскующих теней.

17 октября 1907
Коктебель

CORONA ASTRALIS[1]

Елизавете Ивановне Дмитриевой

* * *

В мирах любви — неверные кометы,—
Закрыт нам путь проверенных орбит!
Явь наших снов земля не истребит,—
Полночных солнц к себе нас манят светы.

Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш горький дух, и память нас томит.
В нас тлеет боль внежизненных обид —
Изгнанники, скитальцы и поэты!

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
Кому земля — священный край изгнанья,

Кто видит сны и помнит имена,—
Тому в любви не радость встреч дана,
А темные восторги расставанья!

Август 1909
Коктебель

ВЕНОК СОНЕТОВ

I

В мирах любви неверные кометы,
Сквозь горних сфер мерцающий стожар —
Клубы огня, мятущийся пожар,
Вселенских бурь блуждающие светы,—

Мы вдаль несем... Пусть темные планеты
В нас видят меч грозящих миру кар,—
Мы правим путь свой к солнцу, как Икар,
Плащом ветров и пламени одеты.

[1] Звездная корона *(лат.)*.

Но странные,— его коснувшись,— прочь
Стремим свой бег: от солнца снова в ночь —
Вдаль, по путям парабол безвозвратных...

Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит
В багровой тьме закатов незакатных...
Закрыт нам путь проверенных орбит!

II

Закрыт нам путь проверенных орбит,
Нарушен лад молитвенного строя...
Земным богам земные храмы строя,
Нас жрец земли земле не причастит.

Безумьем снов скитальный дух повит.
Как пчелы мы, отставшие от роя!..
Мы беглецы, и сзади наша Троя,
И зарево наш парус багрянит.

Дыханьем бурь таинственно влекомы,
По свиткам троп, по росстаням дорог
Стремимся мы. Суров наш путь и строг.

И пусть кругом грохочут глухо громы,
Пусть веет вихрь сомнений и обид,—
Явь наших снов земля не истребит!

III

Явь наших снов земля не истребит:
В парче лучей истают тихо зори,
Журчанье утр сольется в дневном хоре,
Ущербный серп истлеет и сгорит,

Седая зыбь в алмазы раздробит
Снопы лучей, рассыпанные в море,
Но тех ночей,— разверстых на Фаворе,—
Блеск близких солнц в душе не победит.

Нас не слепят полдневные экстазы
Земных пустынь, ни жидкие топазы,
Ни токи смол, ни золото лучей.

Мы шелком лун, как ризами, одеты,
Нам ведом день немеркнущих ночей,—
Полночных солнц к себе нас манят светы.

IV

Полночных солнц к себе нас манят светы...
В колодцах труб пытливый тонет взгляд.
Алмазный бег вселенные стремят:
Системы звезд, туманности, планеты,

От Альфы Пса до Веги и от Беты
Медведицы до трепетных Плеяд —
Они простор небесный бороздят,
Творя во тьме свершенья и обеты.

О, пыль миров! О, рой священных пчел!
Я исследил, измерил, взвесил, счел,
Дал имена, составил карты, сметы...

Но ужас звезд от знанья не потух.
Мы помним всё: наш древний, темный дух,
Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

V

Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш звездный дух забвением ночей!
Он не испил от Орковых ключей,
Он не принес подземные обеты.

Не замкнут круг. Заклятья недопеты...
Когда для всех сапфирами лучей
Сияет день, журчит в полях ручей,—
Для нас во мгле слепые бродят светы,

Шуршит тростник, мерцает тьма болот,
Напрасный ветр свивает и несет
Осенний рой теней Персефонеи,

Печальный взор вперяет в ночь Пелид...
Но он еще тоскливей и грустнее,
Наш горький дух... И память нас томит.

VI

Наш горький дух... (И память нас томит...)
Наш горький дух пророс из тьмы, как травы,
В нем навий яд, могильные отравы.
В нем время спит, как в недрах пирамид.

Но ни порфир, ни мрамор, ни гранит
Не создадут незыблемей оправы
Для роковой, пролитой в вечность лавы,
Что в нас свой ток невидимо струит.

Гробницы Солнц! Миров погибших Урна!
И труп Луны, и мертвый лик Сатурна —
Запомнит мозг и сердце затаит:

В крушеньях звезд рождалась мысль и крепла,
Но дух устал от свеянного пепла,—
В нас тлеет боль внежизненных обид!

VII

В нас тлеет боль внежизненных обид.
Томит печаль, и глухо точит пламя,
И всех скорбей развернутое знамя
В ветрах тоски уныло шелестит.

Но пусть огонь и жалит и язвит
Певучий дух, задушенный телами,—
Лаокоон, опутанный узлами
Горючих змей, напрягся... и молчит.

И никогда, ни счастье этой боли,
Ни гордость уз, ни радости неволи,
Ни наш экстаз безвыходной тюрьмы

Не отдадим за все забвенья Леты!
Грааль скорбей несем по миру мы,—
Изгнанники, скитальцы и поэты!

VIII

Изгнанники, скитальцы и поэты,—
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...
У птиц — гнездо, у зверя — темный лог,
А посох — нам и нищенства заветы.

Долг не свершен, не сдержаны обеты,
Не пройден путь, и жребий нас обрек
Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...
Расплескан мед, и песни не допеты.

О, в срывах воль найти, познать себя,
И, горький стыд смиренно возлюбя,
Припасть к земле, искать в пустыне воду,

К чужим шатрам идти просить свой хлеб,
Подобным стать бродячему рапсоду —
Тому, кто зряч, но светом дня ослеп.

IX

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,—
Смысл голосов, звук слов, событий звенья,
И запах тел, и шорохи растенья,—
Весь тайный строй сплетений, швов и скреп

Раскрыт во тьме. Податель света — Феб
Дает слепцам глубинные прозренья.
Скрыт в яслях бог. Пещера заточенья
Превращена в Рождественский Вертеп.

Праматерь ночь, лелея в темном чреве
Скупым Отцом ей возвращенный плод,
Свои дары избраннику несет —

Тому, кто в тьму был Солнцем ввергнут в гневе,
Кто стал слепым игралищем судеб,
Тому, кто жив и брошен в темный склеп.

X

Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
Видны края расписанной гробницы:
И Солнца челн, богов подземных лица,
И строй земли: в полях маис и хлеб,

Быки идут, жнет серп, бьет колос цеп,
В реке плоты, спит зверь, вьют гнезда птицы,—
Так видит он из складок плащаницы
И смену дней, и ход людских судеб.

Без радости, без слез, без сожаленья
Следит людей напрасные волненья,
Без темных дум, без мысли «почему?»,

Вне бытия, вне воли, вне желанья,
Вкусив покой, неведомый тому,
Кому земля — священный край изгнанья.

XI

Кому земля священный край изгнанья,
Того простор полей не веселит.
Но каждый шаг, но каждый миг таит
Иных миров в себе напоминанья.

В душе встают неясные мерцанья,
Как будто он на камнях древних плит
Хотел прочесть священный алфавит
И позабыл понятий начертанья.

И бродит он в пыли земных дорог,—
Отступник жрец, себя забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.

Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть, в смущенье клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена.

XII

Кто видит сны и помнит имена,
Кто слышит трав прерывистые речи,
Кому ясны идущих дней предтечи,
Кому поет влюбленная волна;

Тот, чья душа землей убелена,
Кто бремя дум, как плащ, приял на плечи,
Кто возжигал мистические свечи,
Кого влекла Изиды пелена,

Кто не пошел искать земной услады
Ни в плясках жриц, ни в оргиях менад,
Кто в чашу нег не выжал виноград,

Кто, как Орфей, нарушив все преграды,
Все ж не извел родную тень со дна,—
Тому в любви не радость встреч дана.

XIII

Тому в любви не радость встреч дана,
Кто в страсти ждал не сладкого забвенья,
Кто в ласках тел не ведал утоленья,
Кто не испил смертельного вина.

Страшится он принять на рамена
Ярмо надежд и тяжкий груз свершенья,
Не хочет уз и рвет живые звенья,
Которыми связует нас Луна.

Своей тоски — навеки одинокой,
Как зыбь морей пустынной и широкой,
Он не отдаст. Кто оцет жаждал — тот

И в самый миг последнего страданья
Не мирных путь блаженства изберет,
А темные восторги расставанья.

XIV

А темные восторги расставанья,
А пепел грез и боль свиданий — нам.
Нам не ступать по синим лунным льнам,
Нам не хранить стыдливого молчанья.

Мы шепчем всем ненужные признанья,
От милых рук бежим к обманным снам,
Не видим лиц и верим именам,
Томясь в путях напрасного скитанья.

Со всех сторон из мглы глядят на нас
Зрачки чужих, всегда враждебных глаз,
Ни светом звезд, ни солнцем не согреты,

Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, —
В себе несем свое изгнанье мы —
В мирах любви неверные кометы!

Август 1909
Коктебель

* * *

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!

1908

КУЗНЕЧИК

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
— Пинь, пинь, пинь! — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

<1908 или 1909>

* * *

Мы желаем звездам тыкать,
Мы устали звездам выкать,
Мы узнали сладость рыкать.
Будьте грозны, как Остраница,
Платов и Бакланов,
Полно вам кланяться
Роже басурманов.
Пусть кричат вожаки,
Плюньте им в зенки!
Будьте в вере крепки,
Как Морозенки.
О, уподобьтесь Святославу,—
Врагам сказал: «Иду на вы!»
Померкнувшую славу
Творите, северные львы.
С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослябя.
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хляби!
Туда, где дух отчизны вымер
И где неверия пустыня,
Идите грозно, как Владимир
Или с дружиною Добрыня.

<Между 1908 и 1910>

* * *

Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька,
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.
И зеркальные топила
Обозначили следы,
Где она весной ступила,
Дева ветреной воды.

<1909 или 1910>

АЛФЕРОВО

Немало славных полководцев,
Сказавших «счастлив» умирая,
Знал род старинных новгородцев,
В потомке гордом догорая.

На белом мохнатом коне
Тот в Польше разбил короля.
Победы, коварны оне,
Над прежним любимцем шаля.

Тот сидел под старой липой,
Победитель в Измаиле,
И склонен над приказов бумажною кипой,
Шептал, умирая: «Мы победили!»

Над пропастью дядя скакал,
Когда русские брали Гуниб.
И от раны татарскою шашкой стекал
Ручей.— Он погиб.

То бобыли, то масть вороная
Под гулкий звон подков
Носила седоков
Вдоль берега Дуная.

Конюшен дедовских копыта,
Шагами русская держава
Была походами покрыта,
Товарищами славы.

Тот на востоке служил
И, от пули смертельной не сделав изгиба,
Руку на сердце свое положил
И врагу, улыбаясь, молвил: «Спасибо».

Теперь родовых его имений
Горят дворцы и хутора,
Ряды усадебных строений
Всю ночь горели до утра,

Но, предан прадедовским устоям,
Заветов страж отцов,
Он ходит по покоям
И теребит концы усов.

В созвездье их войдет он сам!
Избранники столицы,
Нахмурив свои лица,
Глядят из старых рам.

<1910?>

КОНЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Гонимый — кем, почем я знаю?
Вопросом: поцелуев в жизни сколько?
Румынкой, дочерью Дуная,
Иль песнью лет про прелесть польки,—
Бегу в леса, ущелья, пропасти
И там живу сквозь птичий гам,
Как снежный сноп сияют лопасти
Крыла, сверкавшего врагам.
Судеб виднеются колеса
С ужасным сонным людям свистом.
И я, как камень неба, несся
Путем не нашим и огнистым.
Люди изумленно изменяли лица,
Когда я падал у зари.
Одни просили удалиться,
А те молили: озари.
Над юга степью, где волы
Качают черные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют, как с струнами дуга,
С венком из молний белый черт
Летел, крутя власы бородки.
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сковородки.
Он говорил: «Я белый ворон, я одинок,
Но всё — и черную сомнений ношу,
И белой молнии венок —
Я за один лишь призрак брошу,
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра».

У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица
Убегать и расходиться,
Чтоб ценой работы добыты,
Зеленее стали чеботы,
Черноглазые, ея.
Шепот, ропот, неги стон,
Краска темная стыда,
Окна, избы с трех сторон,
Воют сытые стада.
В коромысле есть цветочек,
А на речке синей челн.
«На, возьми другой платочек,
Кошелек мой туго полн».
«Кто он, кто он, что он хочет?
Руки дики и грубы!
Надо мною ли хохочет
Близко тятькиной избы?»
«Или? или я отвечу
Чернооку молодцу,
О сомнений быстрых вече,
Что пожалуюсь отцу?
Ах, юдоль моя гореть!»
Но зачем устами ищем
Пыль, гонимую кладбищем,
Знойным пламенем стереть?

И в этот миг к пределам горшим
Летел я, сумрачный, как коршун.
Воззреньем старческим глядя на вид земных шумих,
Тогда в тот миг увидел их.

<1912>

ПЕРУНУ

Над тобой носились беркута,
Порой садясь на бога грудь,
Когда миял ты, рея, омута,
На рыбьи наводя поселки жуть,

Бог, водами носимый,
Ячаньем встречен лебедей.
Не предопределил ли ты Цусимы
Роду низвергших тя людей?
Не знал ли ты, что некогда восстанем,
Как некая вселенной тень,
Когда гонимы быть устанем
И обретем в временах рень,
Сил синих снем.
Когда копьем мужья встречали,
Тебе не пел ли — мы не уснем
В иных времен начале.
С тобой надежды верных плыли,
Тебя провожавших зовом «боже!»,
И как добычу тебя поделили были,
Когда взошел ты на песчаной рени ложе.
Как зверь влачит супруге снеди,
Текущей кровью жаркий кус,
Владимир не подарил ли так Рогнеде —
Твой золоченый длинный ус?
Ты знаешь: путь изменит пря.
И станем верны, о Перуне,
Когда желтой и белой силы пря
Перед тобой вновь объединит нас в уне,
Навьем возложенный на сани,
Как некогда ты проплыл Днепр —
Так ты окончил Перунепр,
Узнав вновь сладость всю касаний.

<1914>

НАПИСАННОЕ ДО ВОЙНЫ

Что ты робишь, печенеже,
Молотком своим стуча?
— О прохожий, наши вежи
Меч забыли для мяча.
В день удалого похода
Сокрушила из засады
Печенегова свобода
Святославовы насады.
Он в рубахе холщевой,
Опоясанный мечом,

Шел пустынной бечевой.
Страх для смелых нипочем!
Кто остаться в Перемышле
Из-за греков не посмели,
На корму толпою вышли —
Неясыти видны мели.
Далеко та мель прославлена,
Широка и мрачна слава,
Нынче снова окровавлена
Светлой кровью Святослава.
Чу, последний, догоняя,
Воин, дальнего вождя,
Крикнул: «Дам, о князь, коня я,
Лишь беги от стрел дождя!»
Святослав, суров, окинул
Белым сумраком главы,
Длинный меч из ножен вынул
И сказал: «Иду на вы!»
И в трепет бросились многие,
Услышав знакомый ответ.
Не раз мы, в увечьях убогие,
Спасались от княжеских чет.
Над смущенною долиной
Он возникнул, как утес,
Но прилет петли змеиной
Смерть воителю принес.
«Он был волком, не овечкой! —
Степи молвил предводитель.—
Золотой покрой насечкой
Кость, где разума обитель.
Знаменитый сок Дуная
Наливая в глубь главы,
Стану пить я, вспоминая
Светлых клич: «Иду на вы!»
Вот зачем сижу я, согнут,
Молотком своим стуча,
Зная, шатры сегодня дрогнут.
Меч забудут для мяча.
Степи дочери запляшут,
Дымом затканы парчи,
И подковой землю вспашут,
Славя бубны и мячи.

<1914>



Волошин М. А.
Луна восходит над заливом
Акварель. 1926
Государственная Третьяковская галерея

ТРИЗНА

Гол и наг лежит строй трупов,
Песни смертные прочли.
Полк стоит, глаза потупив,
Тень от летчиков в пыли.
И когда легла дубрава
На конце глухом села,
Мы сказали: «Небу слава!» —
И сожгли своих тела.
Люди мы иль копья рока,
Все в одной и той руке?
Нет, ниц вемы; нет урока,
А окопы вдалеке.
Тех, кто мертв, собрал кто жив,
Кудри мертвых вились русо.
На леса тела сложив,
Мы свершали тризну русса.
Черный дым восходит к небу,
Черный, мощный и густой.
Мы стоим, свершая требу,
Как обряд велит простой.
У холмов, у ста озер
Много пало тех, кто жили.
На суровый, дубовый костер
Мы руссов тела положили.
И от строгих мертвых тел
Дон восходит и Иртыш.
Сизый дым, клубясь, летел.
Мы стоим, хранили тишь.
И когда веков дубрава
Озарила черный дым,
Стукнув ружьями направо,
Повернули сразу мы.

<Между 1914 и 1916>

КУРГАН

Копье татар чего бы ни трогало —
Бессильно все на землю клонится.
Раздевши мирных женщин догола,
Летит в Сибирь — Сибири конница.

Курганный воин, умирая,
Сжимал железный лик Еврея.
Вокруг земля, свист суслика, нора и —
Курганный день течет скорее.

Семья лисиц подъемлет стаю рожиц,
Несется конь, похищенный цыганом,
Лежит суровый запорожец
Часы столетий под курганом.

1915

В ЛЕСУ

Словарь цветов

На эти златистые пижмы
Росистые волосы выжми.
Воскликнет насмешливо «только?»
Серьгою воздушная ольха.
Калужниц больше черный холод,
Иди, позвал тебя Рогволод.
Коснется калужницы дремя,
И станет безоблачным время.
Ведь мною засушено дремя
На память о старых богах.
Тогда серебристое племя
Бродило на этих лугах.
Подъемля медовые хоботы,
Ждут ножку богинины чеботы.
И белые ель и березы,
И смотрят на небо дерезы.
В траве притаилась дурника,
И знахаря ждет молодика.
Чтоб злаком лугов молодиться,
Пришла на заре молодица.
Род конского черепа кость,
К нему наклоняется жость.
Любите носить все те имена,
Что могут онежиться в Лялю.
Деревня сюда созвана,
В телеге везет свою кралю.
Лялю на лебеде
Если заметите,
Лучший на небе день
Кралей отметите.

И крикнет и цокнет весенняя кровь:
Ляля на лебеде — Ляля любовь!
Что юноши властной толпою
Везут на пути к водопою
Кралю своего села —
Она на цветах весела.
Желтые мрачны снопы
Праздничной возле толпы.
И ежели пивни захлопали
И песни вечерней любви,
Наверное, стройные тополи
Смотрят на праздник в пыли.
Под именем новым — Олеги,
Вышаты, Добрыни и Глебы,
Везут конец дышла телеги,
Колосьями спрятанной в хлебы,—
Своей голубой королевы.
Но и в цветы запрятав низ рук,
Та смугла встает как призрак.
«Ты священна Смуглороссья»,—
Ей поют цветов колосья.
И пахло кругом мухомором и дремой,
И пролит был запах смертельных черемух.
Эй! Не будь сурова, не будь сурова,
Но будь проста, как вся дуброва.

<1916>

* * *

Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть!
И, сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью, облако, роопсь!
Но смерч улыбок пролетел лишь,
Когтями криков хохоча,
Тогда я видел палача
И озирал ночную смел тишь.
И вас я вызвал смелоликих,
Вернул утопленниц из рек.
Их незабудка громче крика
Ночному парусу изрек.

Еще плеснула сутки ось,
Идет вечерняя громада.
Мне снилась девушка-лосось
В волнах ночного водопада.
Пусть сосны бурей омамаены
И тучи движутся — Батыи,
Идут слова — молчаний Каины,
И эти падают святые.
И тяжкой походкой на каменный бал
С дружиною шел голубой Газдрубал.

<1916>

СМЕРТЬ В ОЗЕРЕ

За мною взвод,
И по лону вод
Идут серые люди —
Смелые в простуде.
Это кто вырастил серого мамонта грудью,
И ветел далеких шумели стволы.
Это смерть и дружина идет на полюдье,
И за нею хлынули валы.
У плотины нет забора,
Глухо визгнули ключи.
Колесница хлынула Мора,
И за нею влажные мечи.
Кто по руслу шел, утопая,
Погружаясь в тину болота,
Тому смерть шепнула: «Пая,
Здесь стой, держи ружье и жди кого-то».
И, к студеным одеждам привыкнув
И застынув мечтами о ней,
Слушай. Смерть, пронзительно гикнув,
Гонит тройку холодных коней.
И, ремнями ударив, торопит,
И на козлы гневна вся встает,
И заречною конницей топит,
Кто на Висле о Доне поет.
Чугун льется по телу вдоль ниток,
В руках ружья, а около — пушки.
Мимо лиц тучи серых улиток,
Пестрых рыб и красивых ракушек.
И выпи протяжно ухали,

Моцарта пропели лягвы,
И мертвые, не зная: здесь мокро, сухо ли,
Шептали тихо: «Заснул бы, ляг бы!»
Но когда затворили гати туземцы,
Каждый из них умолк.
И диким ужасом исказились лица немцев,
Увидя страшный русский полк.
И на ивовой ветке извилин,
Сноп охватывать лапой натужась,
Хохотал задумчивый филин,
Проливая на зрелище ужас.

<1916>

* * *

Народ поднял верховный жезел,
Как государь идет по улицам.
Народ восстал, как раньше грезил.
Дворец, как цезарь раненый, сутулится.

В мой царский плащ окутанный широко,
Я падаю по медленным ступеням,
Но клич «Свободе не изменим!»
Пронесся до Владивостока.

Свободы песни — снова вас поют!
От песен пороха народ зажегся.
В кумир свободы люди перельют
Тот поезд бегства, тот, где я отрекся.

Крылатый дух вечернего собора
Чугунный взгляд косит на пулеметы.
Но ярость бранного позора —
Ты жрица, рвущая тенета.

Что сделал я? Народной крови темных снегирей
Я бросил около пылающих знамен,
Подругу одевая, как Гирей,
В сноп уменьшительных имен.

Проклятья дни! Ужасных мук ужасный стон.
А здесь — о, ржавчина и цвель! —
Мне в каждом зипуне мерещится Дантон,
За каждым деревом — Кромвель.

10 марта 1917

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

В КАБАКЕ

Душно. Накурено. Пестрые звуки
Праздно-болтливых гостей
С музыкой пошлой безумства и скуки
Дико сплелись... Ах, скорей,
Только б скорей облегчить эти муки...
Жизнь — тоска!
Пей...

Тусклые лица, сухие, измятые,
В волнах табачных горят.
Громко смеются тоскою объятые,
Весело все говорят.
Все об одном, как слепые, заклятые:
Жизнь — тоска!
Пей...

Женщин холодные, пошлые ласки,
Скорбь в искаженных чертах,
Пьяные слезы, дешевые краски,
Правда на лживых устах.
Все здесь слилось в вихре огневой пляски.
Жизнь — тоска!
Пей...

<1908>

ЖИТЬ ЧУДЕСНО

Жить чудесно! Подумай:
Утром рано с песнями
Тебя разбудят птицы —
О, не жалей недовиденного сна —
И вытащат взглянуть
На розовое, солнечное утро.
Радуйся! Оно для тебя!
Свежими глазами
Взгляни на луг, взгляни!
Огни! Блестят огни!
Как радужно! Легко!
Туманом розовым
Вздохни. Еще вздохни.
Взгляни на кроткие слезинки
Детей — цветов.
Ты эти слезы назови:
Росинки-радостинки!
И улыбнись им ясным утренним приветом.
Радуйся! Они для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
В жаркий полдень
Тебя позовут гостить
Лесные тени.
На добрые протянутые
Чернолапы садись и обними
Шершавый ствол, как мать.
Пить захочешь —
Тут журчеек чурлит —
Ты только наклонись.
Радуйся! Он для тебя.
Жить чудесно!
Подумай:
Вечерняя тихая ласка,
Как любимая сказка,
Усадит тебя на крутой бережок.
Посмотри, как дружок
За дружочком отразились
Грусточки в воде.
И кивают. Кому?
Может быть, бороде,
Что трясется в зеленой воде.

Тихо-грустно. Только шепчут
Нежные тайны свои
Шелесточки-листочки.
Жить чудесно! Подумай:
Теплая ночь развернет
Пред тобой сине-темную глубь
И зажжет в этой глуби
Семицветные звезды.
Ты долго смотри на них.
Долго смотри.
Они поднимут к себе,
Как подружку-звезду,
Твою вольную душу.
Они принесут тебе
Желанный сон о возлюбленной.
И споют звездным хором:
Радуйся! Жизнь для тебя.

1909

ЗЕЛЕНЫЕ ДЕДЫ

Все шамкают, шепчутся
Дремучие старые совины.
Густо сомкнулись.
Высокие зеленые стрелы
В небо направлены.
Точно стариковские брови,
Седые ветви нависли
И беззубо шепчутся.
По-стариковски глухо
Поскрипывают, кашляют.
И всё ворчат, ворчат
На маленьких внучат.
А те, еще совсем подростки,
Наивно тоже качаются,
Легкодумно болтая
Тоненькими веточками,
Да весело заигрывают
С солнечными ленточками,
Что ласково струятся
Сквозь просветы.
Ах, какое им дело
До того, что строгие деды

По привычке шепчутся,
Да всё — беззубые — ворчат.
Какое шалунам дело!
Им бы только с ветерком
Поиграть, покачаться,
Только б с солнечными
Ласковыми ленточками
Понежиться, посмеяться.
А деды зелеными головами
Только покачивают,
Седыми глазами
Смотрят па шалунов-внучат.
И всё ворчат. Ворчат.

1909

РУССКИЙ ЗВЕНИДЕНЬ

Звени, Солнце! Копья светлые мечи,
лей на Землю жизнедатные лучи.
Звени, знойный, краснощекий,
ясный-ясный день!
Звенидень!
Звенидень!
Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!
Побегу я на веселые поля.
Звени, знойный, черноземный,
полный-полный день.
Звенидень!
Звенидень!
Сердце радуйся и пояс развяжись!
Эй, душа моя, пошире распахнись!
Звени, знойный, кумачовый,
яркий-яркий день.
Звенидень!
Звенидень!
Звени, Солнце! Жизнь у каждого одна,
лучезарная, бегучая волна.
Звени, знойный, разудалый,
русский алый день.
Звенидень!
Звенидень!

<1910>

ЧУРЛЮ-ЖУРЛЬ

Звенит и смеется,
Солнится, весело льется
Дикий лесной журчеек,
Своевольный мальчишка:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль!
Звенит и смеется.
И эхо живое несется
Далеко в зеленой тиши
Корнистой глуши:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль!
Звенит и смеется.
Отчего никто не проснется
И не побежит со мной
Далеко в разгулье:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль!
Смеется и солнится,
С гор несет песню,
И не видит: лесная лесинка
Низко нагнулась над ним,
И не слышит цветинка
Песню ответную,
Еще зовно зовет:
Чурлю-журль,
А чурлю-журль!

<1910>

РОССТАНЬ

Быть хочешь мудрым?
Летним утром
встань рано-рано
(хоть раз да встань),
когда тумана
седая ткань
редеет и розовеет.
Тогда ты встань
и, не умывшись,

иди умыться
на росстань.
Дойдешь — увидишь
там два пути:
направо — путь обычный;
на нем найти
ты можешь умывальник
с ключевой водой,
а на суку —
прямой и гладенькой сучок —
висит
холщовый утиральник
и на бечевке гребешок.
Раз приготовлено, так мойся,
утрись и причешись,
и богу помолись.
И будешь человек «приличный»
и далеко пойдешь всегда,
когда на правый путь свернешь.
Помни! Это ведь — не ерунда.
А вот налево — путь иной:
налево не найдешь
ни умывальника, ни утиральника;
там надо так:
коли свернул ты на левянку,
беги во весь свой дух
на росную, цветистую полянку.
Пляши, кружись и падай.
И целуй ее, целуй,
как верную, желанную милянку.
И опять пляши, кружись!
Снова падай!
Чище мойся!
И не бойся:
солнце вытрет сухо
мокрое лицо.
Только вытряхни из уха
муравьиное яйцо.
Только выплюнь
(а то подавишься)
колючую сенинку,
а душистую травинку
на здоровье
съешь.

Быть хочешь мудрым?
Летним утром
встань рано-рано
(хоть раз да встань)
и, не умывшись,
иди умыться
на росстань.

<1910>

НА АЭРОПЛАНАХ

Бирюзовыми
Зовами
Взлетая и тая
В долины лучистые
Покоя земли,
Раскрыляются крылья,
Быстрины взметая, стаи —
Цветистые птиц корабли.
Воздухом —
Духом
Душа изветрилась,
Будто не хочется
Знать о земном.
Крыльями воля
Людей окрылилась,— дни
Океанятся
Звездным звеном.
Тегеран и Бомбей,
Москва и Венеция —
Крыловые пути
Людей-лебедей.
Каир и Париж,
Берлин и Туреция
Перекинулись
Стами устами.
Из крыльев мостами
Разлет развели
Стаи — цветистые
Птиц корабли.

1913

ТАНГО С КОРОВАМИ

Х. Н. Славоросову

Жизнь короче визга воробья.
Собака, что ли, плывет там
На льдине по весенней реке?
С оловянным веселием
Смотрим мы на судьбу.
Мы — Открыватели Стран —
Завоеватели Воздуха —
Короли апельсиновых рощ
И скотопромышленники.
Может быть, выпьем
Чарку вина
За здоровье Комет,
Истекающих бриллиантовой кровью.
Или лучше — заведем граммофон.
Ну вас — к черту —
Комолые и утюги!
Я хочу один — один плясать
Танго с коровами
И перекидывать мосты —
От слез
Бычачьей ревности
До слез
Пунцовой девушки.

<1914>

ТИФЛИС

О, солнцедатная
Грузинских гор столица,
Оранжерейная мечта теплиц,
В твои загарные востока лица
Смотрю я, царственный Тифлис.

Здесь все — взнесенно, крыловейно.
Как друг —
Стремительная Кура
Поет поэту мне песню лейно,
Что быть стремительным пора.

Ты в час,
Когда восходит солнце,
Взгляни с горы Давида вниз
И улыбайся всем в оконца,
Где розовеется Тифлис.

И сердцем, утром уловленным,
В сиянье горного экстаза
Останься
Вечно удивленным
Перед столицею Кавказа.

Пусть кубок,
Полный кахетинским,
В руках моих — орла Урала —
Звенит кинжалом кабардинским
И льется Тереком Дарьяла.

Пусть кубок,
Полный южной крови,
Для гостя северного — хмель.
Мне так близки востока брови,
Как мне понятна в скалах ель.

Урал, Кавказ —
Родные братья
Одной чудеснейшей страны.
Стихийно всем готов орать я
Стихи под перепень зурны.

Тифлис, Тифлис,
В твоих духанах
На берегах крутой Куры
Преданья жуткие о ханах
Живут, как жаркие ковры.

Легендой каждой, будто лаской,
Я преисполнен благодарий,—
Я весь звучу
Струной кавказской,—
Звучи ударно, сазандарий.

Играй лезгинку!
Гость Тифлиса,
Я приглашаю в пляс грузинку.
Со стройным станом кипариса
Сам стану стройным. Эй, лезгинку!

Играй лезгинку!
В развесели
Я закружился виноградно.
В грузинской дружбе-карусели
Кровь льется в жилах водопадно.
Таши! Генацвале!

1914

СОЛНЦЕНЬ-ЯРЦЕНЬ

(Застольная)

Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
Раздувайте паруса.
Голубейте, молодые,
Удалые голоса.
Славьте жизнь
Привольно-вольную,
Голубинную приволь.
Пойте здравицу
Застольную,
Бесшабашную раздоль!

Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
Для венчального дворца
Растворяйте — распахните
Души — алые сердца!
Пусть указан путь
Да будет —
Хоровод звучальных дней!
Друг про друга
Не забудет,
Кто пьет чару
Всех полней!

Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
В песнях, пьяных без вина,
Разгадайте смысл чудесный:
Нам ли юность не дана?

Пойте, крылья огневейные,
Взгляд бросая в небеса.
Славьте дни разгульно-лейные,
Раздувайте паруса!

Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
Закружилась карусель.
Быстры круги,
Искры други,
Задружилась развесель.
Хабба — абба — хабба — абба,
Ннай-ннай-ннай!
Эй, раскачивай!
И — ювь.
(Свист в четыре пальца.)

<1916>

ИРОНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

Комитрагический
Моей души вой
Разливен, будто на Каме пикник.
Долго ли буду
Стоять я живой —
Из ядреного мяса памятник.
Пожалуйста,
Громче смотрите
Во все колокола и глаза,—
Это я — ваш покоритель
(Огонь рожал в устах),
Воспевающий жизни против и за.
А вы, эй, публика,
Только всегда капут
Пригвождали на чугунные памятники.
Сегодня иное —
Живой гляжу на толпу.

Я нарочно приехал с Каменки.
Довольно
Обманывать великих поэтов —
Чья жизнь
Пчелы многотрудней,
Творящих тропическое лето
Там,
Где вы стынете от стужи будней.
Пора
Возносить песнебойцев
При жизни на пьедестал:
Пускай таланты утроятся,—
Чтоб каждый из вас —
Чудом стал.
Я знаю,
Когда будем покойниками,
Вы удивитесь нашей
Изумительной скромности.
А теперь обзываете разбойниками —
Гениальных детей современности.
Чтить и славить
Привыкли вы мертвых,
Наворачивая памятники с галками
(Пусть, мол, садятся галки),
А живых нас —
Истинных, вольных и гордых —
Готовы исколотить скалками
Без смекалки.
Какая вы, публика,
Злая да каменная —
Будто у всех внутри зима.
Но, Поэт — один пламенный я —
Разожгу до весны футуризма.
Какая вы, публика,
Странная да шершавая.
Знаю, что высотой
Вам наскучу.
На аэроплане
Летавший в Варшаве, я
Часто видел внизу
Муравьиную кучу.
И никому не было дела
До футуриста-летчика.

Толпа на базарах, в аллее,
У кофеен галдела
Или на юбилее
Заводчика.
Разве нужна
Гениальность наживам,
Бакалейно-коммерческим клубам?
Вот почему
Перед вами живым
Я стою одиноким Колумбом.
Жизнь —
Поэма моя —
Это призрак на миг,
Как на Каме пикник
Иль звено пролетающей птицы.
О, пусть
Из мяса и песен мой памятник
Только единой
Любимой приснится.

1916

СЛОВА И СЛОВА

Зимний вечер синеюще-белый,
Будто как у любимой боа.
А я парень застенчивый, кроткий, несмелый,
Ей пою — и слова — и слова.

Весь талант мой — моя гибкостройность
Из напевных и творческих слов
И моя небовая покорность
Перед Чудом чарующих снов.

Мой талант — мое детское сердце —
Солнцевейное сердце стихов.
Мое счастье и крест страстотерпца,
Посох мой — у друзей-пастухов.

Зимний вечер синеюще-белый,
Будто как у любимой боа.
А я парень застенчивый, кроткий, несмелый,
Ей пою — и слова — и слова.

Весь талант мой — из слов симфонический
Перезвонный к сердцам карнавал.
Кубок мой навсегда фантастический
Я навеки в словах пировал.

Зимний вечер пушистый и хрусткий,
И скользит и блестит санный путь;
Полумесяц, лимонный и узкий,
Собирается в звездную муть.

Мой талант футуриста-Поэта —
Удивлять вознесением слов,
Жизнь пройдет — пронесется комета,
И останется тайна основ.

И останется тайна томлений,
Песниянных легенд волшебства,
Да останется рыцарский гений
Для любви, для мечты-божества.

Зимний вечер синеюще-белый,
Будто как у любимой боа.
А я парень застенчивый, кроткий, несмелый,
Ей пою опьяненно слова.

<1917>

БУРЛИ, ЖУРЧЕЙ

В. В. Холодной —
Вашей стремительности

Чурли, журчей, бурли, журчей,
И как свинец
Ты Солнце плавь.
Гори жарчей, люби жарчей
Лесную явь,
Лесной игрец.
Не жди. Не стой.
Звени и пой,
Всем изменяй.
И снова пой.
Не стой.
Чурли, журчей, бурли, журчей,

С скалистых глыб
Вались со смехом
И в чернолапах
Диким эхом
Пугай бегущих рыб.
Беги и пой, разгульно пой,
Зови с собой
Играть с Судьбой.
В край неизвестный —
Там туман.
Тот край чудесный —
Там Океан.
Разгульно пой. Бурли, журчи
И солнцепадом
Буди сердца,
Гори жарчей, люби жарчей,
Быстрины жизни
Пусть помнят ярко
Журчея — чурля — игреца.

<1917>

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»
(1913)

ИЗ ЦИКЛА «МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ»

МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ!

— Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? не дорого — можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!

Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!

Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-богу, похвалишь, дружок!

Сентябрь 1912

ЭТО БЫЛО У МОРЯ...

Поэма-миньонет

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат,
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.

Февраль 1910

ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Синематограф

Элегантная коляска, в электрическом биенье,
Эластично шелестела по шоссейному песку;
В ней две девственные дамы, в быстротемпном упоенье,
В ало-встречном устремленье — это пчелки к лепестку.

А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,
Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок,
И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог...

У ограды монастырской столбенел зловеще инок,
Слыша в хрупоте коляски звуки «нравственных пропаж»
И, с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок,
Проклинал безвредным взором шаловливый экипаж.

Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точно кратер,
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер,
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
И пьянел вином восторга поощряемый шофер.

1910

ИЗ ЦИКЛА «ЭГОФУТУРИЗМ»

ЭПИЛОГ

1

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Я — год назад — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.

«Я одинок в своей задаче!» —
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.

Нас стало четверо, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.

Она росла в своем единстве,
Самодержавна и горда,—
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатер орда...

От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот;
У каждого в плече заноза,—
Зане болезнен беглых взлет.

Я их приветил: я умею
Приветить всё,— божи, Привет!
Лети, голубка, смело к змею!
Змея, обвей орла в ответ!

2

Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным на удачу
Завоевателя порыв.

Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.

Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный *Рим*.

Я изнемог от льстивой свиты,
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.

Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

Октябрь 1912

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЗЛАТОЛИРА»

(1914)

ИЗ ЦИКЛА «ЖИВИ, ЖИВОЕ!»

ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

Сонет-ответ

(Акростих)

Великого приветствует великий,
Алея вдохновением. Блестит
Любовью стих. И солнечные блики
Елей весны ручьисто золотит.

Ручьись весна! Летит к тебе, летит
Июнь, твой принц, бессмертник неболикий!
Юлят цветы, его гоньбы улики,
Божит земля, и все на ней божит.

Рука моя тебе, собрат-титан!
Юнись душой, плескучий океан!
Самодержавный! мудрый! вечный гордо!

О близкий мне! мой окрылитель! ты —
Ваятель мой! И царство Красоты —
У нас в руках. Мне жизненно! мне бодро!

1912

САМОГИМН

Меня отронит Марсельезия,
Как президентного царя!
Моя блестящая поэзия
Сверкнет, как вешняя заря!
Париж и даже Полинезия
Вздрожат, мне славу воззаря!

Мой стих серебряно-брильянтовый
Живителен, как кислород.
«О гениальный! О талантливый!» —
Мне возгремит хвалу народ.
И станет пить ликер гранатовый
За мой ликующий восход.

Пусть на турнирах славоборчества
Стиха титаны и кроты
Берлинства, Лондонства, Нью-Йорчества
Меня сразить раскроют рты:
Я — я! Значенье эготворчества —
Плод искушенной Красоты!

1912

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ»

(1915)

ИЗ ЦИКЛА «РОЗИРИС»

УВЕРТЮРА

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветро́просвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!

Январь 1915

НА ОСТРОВАХ

В ландо моторном, в ландо шикарном
Я проезжаю по Островам,
Пьянея встречным лицом вульгарным
Среди дам просто и — «этих» дам.

Ах, в каждой «фее» искал я фею
Когда-то раньше. Теперь не то.
Но отчего же я огневею,
Когда мелькает вблизи манто?

Как безответно! Как безвопросно!
Как гривуазно! Но всюду — боль!
В аллеях сорно, в куртинах росно,
И в каждом франте жив Рокамболь.

И что тут прелесть? И что тут мерзость?
Бесстыж и скорбен ночной пуант.
Кому бы бросить наглее дерзость?
Кому бы нежно поправить бант?

Май 1911

ОНА КРИТИКУЕТ

— Нет, положительно, искусство измельчало,
Не смейте спорить, граф, упрямый человек!
По пунктам разберем, и с самого начала;
Начнем с поэзии: она полна калек.
Хотя бы Фофанов: пропойца и бродяга,
А критика ему дала поэта роль...
Поэт! Хорош поэт... ходячая малага!..
И в жилах у него не кровь, а алкоголь.
Как вы сказали, граф? До пьянства нет нам дела?
И что критиковать мы можем только труд?
Так знайте ж, книг его я даже не смотрела:
Неинтересно мне!.. Тем более что тут
Навряд ли вы нашли б занятные сюжеты,
Изысканных людей привычки, нравы, вкус,
Блестящие балы, алмазы, эполеты,—
О, я убеждена, что пишет он «en russe» [1].
Естественно, что нам, взращенным на Шекспире,
Аристократам мысли, чувства и идей,
Неинтересен он, брящающий на лире
Руками пьяными, безвольный раб страстей.
Ах, да не спорьте вы! Поэзией кабацкой
Не увлекусь я, граф, нет, тысячу раз нет!

[1] В русском духе (*франц.*).

Талантливым не может быть поэт
С фамилией — pardon![1] — такой... дурацкой.
И как одет! Mon Dieu![2] Он прямо хулиган!..
Вчера мы с Полем ехали по парку,
Плетется он навстречу — грязен, пьян;
Кого же воспоет такой мужлан?.. кухарку?!
Смазные сапоги, оборванный тулуп,
Какая-то ужасная папаха...
Сам говорит с собой... Взгляд страшен, нагл и туп...
Поверите? Я чуть не умерла от страха.
Не говорите мне: «Он пьет от неудач!»
Мне, право, дела нет до истинной причины.
И если плачет он, смешон мне этот плач:
Сентиментальничать ли создан мужичина
Без положенья в обществе, без чина?!.

1908

ИЗ ЦИКЛА «НЕЗАБУДКИ НА КАНАВКАХ»

NOCTURNE[3]

Месяц гладит камыши
Сквозь сирени шалаши...
Всё — душа, и ни души.

Всё — мечта, всё — божество,
Вечной тайны волшебство,
Вечной жизни торжество.

Лес — как сказочный камыш,
А камыш — как лес-малыш.
Тишь — как жизнь, и жизнь — как тишь.

Колыхается туман —
Как мечты моей обман,
Как минувшего роман...

Как душиста, хороша
Белых яблонь пороша...
Ни души, и всё — душа!

Декабрь 1908

---

[1] Извините! *(франц.)*
[2] Боже мой! *(франц.)*
[3] Ноктюрн *(франц.)*.

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «VICTORIA REGIA»[1]

(1915)

ИЗ ЦИКЛА «МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ»

КРЫМСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ

И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов.

Из меня

Я — эгофутурист. Всероссно
Твердят: он — первый, кто сказал,
Что все былое — безвопросно,
Чье имя наполняет зал.

Мои поэзы — в каждом доме,
На хуторе и в шалаше.
Я действен даже на пароме
И в каждой рядовой душе.

Я созерцаю — то из рубок,
То из вагона, то в лесу,
Как пьют «Громокипящий кубок» —
Животворящую росу!

Всегда чуждаясь хулиганства,
В последователях обрел
Завистливое самозванство
И вот презрел их, как орел:

Вскрылил — и только. Голубело
Спокойно небо. Золотó
Плеща, как гейзер, солнце пело.
Так: что мне надо, стало то!

Я пел бессмертные поэзы,
Воспламеняя солнце, свет,
И облака — луны плерезы —
Рвал беззаботно — я, поэт.

---

[1] Здесь: «Великолепная победа» *(лат.)*.

Когда же мне надоедала
Покорствующая луна,
Спускался я к горе Гудала,
Пронзовывал ее до дна...

А то в певучей Бордигере
Я впрыгивал лазурно в трам:
Кондуктор, певший с Кавальери
По вечерам, днем пел горам.

Бывал на полюсах, мечтая
Построить дамбы к ним, не то
На бригах долго. Вот прямая
Была б дорога для авто!

Мне стало скучно в иностранах:
Все так обыденно, все так
Мною ожиданно. В романах,
В стихах, в мечтах — все «точно так».

Сказав планетам: «Приготовьте
Мне век», спустился я в Москве;
Увидел парня в желтой кофте —
Все закружилось в голове...

Он был отолпен. Как торговцы,
Ругалась мыслевая часть,
Другая — верно, желтокофтцы —
К его ногам готова пасть.

Я изумился. Все так дико
Мне показалось. Этот «он»
Обрадовался мне до крика.
«Не розовеющий ли слон?» —

Подумал я, в восторге млея,
Обескураженный поэт.
Толпа раздалась, как аллея.
«Я — Маяковский»,— был ответ.

Увы, я не поверил гриму
(Душа прибоем солона)...
Как поводырь, повел по Крыму
Столь розовевшего слона.

И только где-то в смрадной Керчи
Я вдруг открыл, рассеяв сон,
Что слон-то мой — из гуттаперчи,
А следовательно — не слон.

Взорлило облегченно тело,—
Вновь чувствую себя царем!
Поэт! Поэт! Совсем не дело
Ставать тебе поводырем.

21 января 1914

ИЗ ЦИКЛА «ЭТО БЫЛО ТАК НЕДАВНО...»

ВЫЙДИ В САД

Выйди в сад... Как погода ясна!
Как застенчиво август увял!
Распустила коралл бузина,
И янтарный боярышник — вял.
Эта ягода — яблочко-гном...
Как кудрявый кротекус красив.
Скоро осень окутает сном
Теплый садик, дождем оросив.
А пока еще — зелень вокруг,
И вверху безмятежная синь;
И у клена причудливых рук —
Много сходного с лапой гусынь.
Как оливковы листики груш!
Как призывно плоды их висят!
Выйди в сад и чуть-чуть поразрушь,—
Это осень простит... Выйди в сад.

Август 1909

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ТОСТ БЕЗОТВЕТНЫЙ»

(1916)

ИЗ ЦИКЛА «БАЛ ЗАЦВЕТАЮЩИЙ»

ПРИМИТИВА

Я слишком далеко зашел,
Полушутя, полусерьезно...
Опомниться еще не поздно:
Недаром я тебя нашел.

Все на поэзию валить —
Ах, значит ли всегда быть правым?
И с помышлением лукавым
Тебя мне можно ль заслужить?

Я жил все годы как-нибудь,
Как приходилось, без отчета...
Я тяготился отчего-то,
Себя стараясь обмануть.

Халатность это или лень —
Я не задумывался много
И, положась на милость бога,
Все верил в поворотный день.

Я знал, что ты ко мне придешь,
С твоим лицом, с твоей душою.
И наглумишься надо мною
За всю мою былую ложь.

Сначала будет грусть и тишь
И боль и стыд в душе поэта.
Потом я обновлюсь. За это
Ты праведно меня простишь...

Май 1915



Остроумова-Лебедева А. П.
Аллея в Царском Селе
Цветная гравюра на дереве. 1905
Государственная Третьяковская галерея

ИЗ ЦИКЛА «АМФОРА ЭСТЛЯНДСКАЯ»

ПОЭЗА РАСКРЫТЫХ ГЛАЗ

Арфеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь,
Душа — как парус, душа — как арфа.
О чем бряцаешь? Куда летишь?

Свежо и знойно. Светло и смело.
Чего-то надо. Чего-то ждешь.
Душа жестокость свершить посмела!
Душа посмела отвергнуть ложь!

В былом — ошибка. В былом — ненужность.
В былом — уродство. Позор — в былом.
В грядущем — чувства ее жемчужность,
А в настоящем — лишь перелом.

Ах, оттого-то арфеет ветер,
Далеет берег, поет залив!..
Ах, оттого-то и жить на свете
Я страшно жажду, глаза раскрыв!..

Июнь 1915

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «МИРРЕЛИЯ»

(1922)

ИЗ ЦИКЛА «ПОВРАГА»

МУЗЕЙ МОЕЙ ВЕСНЫ

О милый, тихий городок,
Мой старый, верный друг,
Я изменить тебе не мог
И, убежав от всех тревог,
В тебя въезжаю вдруг!

Ах, не в тебе ль цвела сирень,
Сирень весны моей?

Не твой ли — ах! — весенний день
Взбурлил во мне «Весенний день»,
Чей стих — весны ясней?

И не окрестности твои ль,
Что спят в березняке,
И солнцесвет, и лунопыль
Моих стихов сковали стиль,
Гремящих вдалеке?

И не в тебе ли первый раз
Моя вспылала кровь?
Не предназначенных мне глаз,—
Ах, не в тебе ль,— я пил экстаз
И думал: «Вот любовь!»

О первый мой самообман,
Мне причинивший боль,
Ты испарился, как туман,
Но ты недаром мне был дан:
В тебе была эоль!

И только много лет спустя,
Ошибок ряд познав,
Я встретил женщину-дитя
С таким неотразимым «я»,
Что полюбить был прав.

Да, не заехать я не мог
Теперь, когда ясны
Мои улыбки, в твой шатрок,
Мой милый, тихий городок,
Музей моей весны!..

19 апреля 1916

* * *

Я надену черную рубаху,
И вослед за мутным фонарем,
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрему паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поемные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась,—
Не вовремя косынька
На две расплелась!

Развилась по спинушке,
Как льняная плеть,—
Не тебе детинушке
Девушкой владеть!

Деревца вилавого
С маху не срубить,—
Парня разудалого
Силой не любить!

Белая березынька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою!..

Но прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон кромешный как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

<1908>

* * *

Сердцу сердца говорю:
Близки межи роковые,
Скоро вынесет ладью
На просторы голубые.

Не кручинься и не плачь
Необъятно и бездумно,
Одиночка и палач —
Все так ново и безумно.

Не того в отшедшем жаль,
Что надеждам изменило,
Жаль, что родины печаль
Жизни море не вместило.

Что до дна заметено
Зарубежных вьюг снегами,
Рокоча, как встарь, оно
Не заспорит с берегами.

<1909>

* * *

Я был прекрасен и крылат
В богоотеческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.

Блаженной родины лишен
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий пустыне.

Лишь одного недостает
Душе в подветренной юдоли,
Чтоб нив просторы, лоно вод
Не оглашались стоном боли,

Чтоб не стремил на брата брат
Враждою вспыхнувшие взгляды,
И ширь полей, как вертоград,
Цвела для мира и отрады,

И чтоб похитить человек
Венец создателя не тщился,
За что, отверженный на век,
Я песнокрылия лишился.

<1911>

* * *

Темным зовам не верит душа,
Не летит встречу призракам ночи.
Ты, как осень, ясна, хороша,
Только строже и в ласках короче.

Потянулися с криком в отлет
Журавли над потусклой равниной.
Как с природой, тебя эшафот
Не разлучит с родимой кручиной.

Не однажды под осени плач
О тебе — невозвратно далекой,
За разгульным стаканом палач
Головою поникнет жестокой.

<1911—1912>

* * *

Я — мраморный ангел на старом погосте,
Где схимницы-ели да никлый плакун,
Крылом осеняю трухлявые кости,
Подножья обветренный, ржавый чугун;
В руке моей лира, и бренные гости
Уснули под отзвуки каменных струн.

И многие годы, судьбы непреклонней,
Блюду я забвение, сны и гроба.
Поэзии символ — мой гимн легкозвонней,
Чем осенью трав золотая мольба...
Но бдите и бойтесь! За глубью ладоней,
Как буря в ущелье, таится труба!

<1912>

СТАРУХА

Сын обижает, невестка не слухает,
Хлебным куском да бездельем корит;
Чую — на кладбище колокол ухает,
Ладаном тянет от вешних ракит.

Вышла я в поле, седая, горбатая,—
Нива без прясла, кругом сирота...
Свесила верба сережки мохнатые,
Меда душистей, белее холста.

Верба-невеста, молодка пригожая,
Зеленью-платом не застя зари!
Аль с алоцветной красою не схожа я —
Косы желтее, чем бус янтари.

Ал сарафан с расписной оторочкою,
Белый рукав и плясун-башмачок...
Хворым младенчиком, всхлипнув над кочкою,
Звон оголосил пролесок и лог.

Схожа я с мшистой, заплаканной ивою,
Мне ли крутиться в янтарь-бахрому?
Зой-невидимка узывней, дремливее,
Белые вербы в кадильном дыму.

<1912>

ДОСЮЛЬНАЯ

Не по зелену бархату,
Не по рытому, черевчату,
Золото кольцо катается,
Красным жаром распыляется,—
По брусяной новой горнице,
По накатной половичине,
Разудалый ходит походом,
Голосит слова ретивые:

Ах, брусяные хоромы,
В вас кому ли жировати,
Красоватися кому?
Угодити мне из горниц,
С белоструганных половиц,
В поруб — лютую тюрьму!

Ах, вы, сукна-заволоки,
Вами сосны ли крутити,
Обряжать пути-мосты?

Побраталися с детиной
Лыки с белою рядниной,—
Поминальные холсты!

Ах, ты, сад зеленотемпой,
Не заманивай соловкой,
Духом-брагой не пои:
У тебя есть гость захожий,
Под лозой лежит пригожий,
С метким ножиком в груди!..

Ой, не в колокол ударили,
Не валун с нагорья ринули,
Подломив ковыль с душицею,
На отшибе ранив осокорь,—
Повели удала волостью,
За острожный тын, как ворога,
До него зенитной птахою
Долетает причет девичий:

Ой, не полымя в бору
Полыхает ало —
Голошу — утробой мру
По тебе, удалый.

У перильчата крыльца
Яровая мята
Залучила жеребца,
Друга-супостата.

Скакуну в сыром лугу
Мята с зверобоем,
Супротивнику-врагу
Ножик в ретивое.

Свянет мятная трава,
Цвет на бересклете...
Не молодка, не вдова —
Я одна на свете.

Заторится стежка-вьюн
До девичьей хаты,
И не вытопчет скакун
У крылечка мяты.

<1913>

ПРОПИТУЩАЯ ПЕСНЯ

Летел орел за тучею,
Вдогонку за гремучею,
Он воздухи разреживал,
А туч не опереживал.

Упал орел на застреху
Кружала затрапезного,
Повыглядел в оконницу
Становище кабацкое.

Он в пляс пошел-завихрился,
Обжег метельным холодом,
Нахвальщиков-кудрявичей
Притулил на залавицы...

Ой, яра кровь орлиная,
Повадка — поступь гульная,
Да чарка злая, винная,
Что песенка досюльная,

Не мимо канет-молвится.
Глянь, пьяница-пропойщина,
Мирская краснобайщина,
Тебе ль попарщик сиз орел,
Что с громом силой мерялся,
С крыла дожди отряхивал,
С зениц стожары-сполохи,

А он, за красоулею
Погнавшись, стал вороною,
Каркуньей загумённою.

А и все-то она, ворона, грает,
На весь свет растопорха пеняет:
«Извели меня вороги-люди,
Опризорили зависть да лихо,
Разлучили с невестой-звездою,
Подружили с вороньею гульбою,
С загумённою, пьяною долей!»

<1913>

* * *

Просинь — море, туча — кит,
А туман — лодейный парус.
За окнищем моросит
Не то сырь, не то стеклярус.

Двор — совиное крыло
Весь в глазастом узорочье.
Судомойня — не село,
Брань — не щекоты сорочьи.

В городище, как во сне,
Люди — тля, а избы — горы.
Примерещилися мне
Беломорские просторы.

Гомон чаек, плеск весла,
Вольный промысел ловецкий:
На потух заря пошла,
Чуден остров Соловецкий.

Водяник прядет кудель,
Что волна, то пасмо пряжи...
На извозчичью артель
Я готовлю харч говяжий.

Повернет небесный кит
Хвост к теплу и водополью...
Я, как невод, что лежит
На мели, изъеден солью.

Не придет за ним помор —
Пододонный полонянник...
Правят сумерки дозор,
Как ночлег бездомный странник.

<1914>

* * *

Пашни буры, межи зелены,
Спит за елями закат,
Камней мшистые расщелины
Влагу вешнюю таят.

Хороша лесная родина:
Глушь да поймища кругом!..
Прослезилася смородина,
Травный слушая псалом.

И не чую больше тела я,
Сердце — всхожее зерно...
Прилетайте, птицы белые,
Клюйте ярое пшено!

Льются сумерки прозрачные,
Кроют дали, изб коньки,
И березки — свечи брачные
Теплят листья-огоньки.

<1914>

* * *

Изба-богатырица,
Кокошник вырезной,
Оконце, как глазница,
Подведено сурьмой.

Кругом земля-землища
Лежит, пьяна дождем,
И бора-старичища
Подоблачный шелом.

Из-под шелома строго
Грозится туча-бровь...
К заветному порогу
Я припадаю вновь.

Седых веков наследство,
Поклон вам, труд и пот!..
Чу, песню малолетства
Родимая поет:

Спородила я сынка-богатыря
Под потокою на сиверке,
На холодном полузимнике,
Чтобы дитятко по матери пошло,
Не удушливато в летнее тепло,
Под морозами не зябкое,
На воде-луде не хлябкое!

Уж я вырастила сокола-сынка
За печным столбом на выводе,
Чтоб не выглядел Старик-Журавик,
Не ударил бы черемушкой,
Не сдружил бы с горькой долюшкой!

<1914>

* * *

Оттепель — баба хозяйка,
Лог как белёная печь.
Тучка — пшеничная сайка
Хочет сытою истечь.

Стряпке все мало раствора,
Лапти в муке до обор.
К посоху дедушки-бора
Жмется малютка-сугор:

«Дед, пробудися, я таю!
Нет у шубейки полы».
Дед же спросонок: «Знать к маю
Смолью дохнули стволы».

«Дедушка, скоро ль сутёмки
Косу заре доплетут?..»
Дед же: «Сыреют в котомке
Чай, и огниво и трут.

Нет по проселку проходу,
Всюду раствор да блины...»
В вешнюю полую воду
Думы, как зори, ясны.

Ждешь, как вестей жаворо́нка,
Ловишь лучи на бегу...
Чу! Громыхает заслонка
В теплом, разбухшем логу.

<1914—1915>

* * *

Льнянокудрых тучек бег —
Перед ведреным закатом.
Детским телом пахнет снег,
Затененный пнем горбатым.

Луч — крестильный образок —
На валежину повешен,
И ребячий голосок
За кустами безутешен.

Под березой зыбки скрип,
Ельник в маревных пеленках...
Кто родился иль погиб
В льнянокудрых сутемёнках?

И кому, склонясь, козу
Строит зорька-повитуха?..
«Поспрошай куму-лозу»,—
Шепчет пихта, как старуха.

И лоза, рядясь в кудель,
Тайну светлую открыла:
«На заранке я Апрель
В снежной лужице крестила».

<1916>

МОСКВЕ

Константину Локс

И ты передо мной взметнулась,
твердыня древная Кремля,—
железным гулом содрогнулась
твоя священная земля.
«Москва!» — и голос замирает,
и слова выспреннего нет,
взор опаленный озирает
следы величественных бед;
ты видела, моя столица,
у этих древних алтарей
цариц заплаканные лица
и лики темные царей;
и я из дальнего изгнанья,
где был и принят и любим,
пришел склонить воспоминанья
перед безмолвием твоим...
А ты несешь, как и когда-то,
над шумом суетных шагов
соборов сумрачное злато
и бармы тяжкие снегов.
И вижу — путь мой не случаен,
как грянет в ночь Иван: «Прийди!»
О мать! — дитя твоих окраин
тоскует на твоей груди.

1911

ЗВЕНЧАЛЬ

Тулумбасы, бей, бей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

Доломаны — быстрь, быстрь,
похолоним Истрь, Истрь!
Харалужье паново
переметим наново!

Чубовье раскрутим,
разовьем хоругвь путем,
а тугую сутемь
раньше света разметем!

То ли не утеха ли,
соловейко-солоду,
то ли не порада ли,
соловейко-солоду!

По грудям их ехали —
по живому золоту,
ехали, не падали
по глухому золоту!

Соловее, вей, вей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

1914

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?
А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Буквы сигают, как блохи,
облепили беленькую страничку.
Ум, имеющий привычку,
притянул сухие крохи.

Страноприимный дом для ветра,
или гостиницы весны —
вот что должно рассыпать щедро
по рынкам выросшей страны.

1915

ВЕНГЕРСКАЯ ПЕСНЬ

Простоволосые ивы
бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Бьются Перун и Один,
в прасини захрипев.
Мы ж не имеем родин
чайкам сложить припев.

Так развевайся над прочими,
ветер, суровый утонченник,
ты, разрывающий клочьями
сотни любовей оконченных.

Но не умрут глаза —
мир ими видели дважды мы,—
крикнуть сумеют «назад!»
смерти приспешнику каждому.

Там, где увяли ивы,
где остывают ручьи,
чаек, кричащих «чьи вы?»,
мы обратим в ничьих.

1916

ПРЕДЧУВСТВИЯ

1

Деревня — спящий в клетке зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,
и — дрогнут сломанные прутья...

То было раз — и той поры
зажженных жил так ярок запах!
То не ножи и топоры,
то когти на сведенных лапах.

И только крик — и столько рук
подымутся из древней дали,
и будет бить багор и крюк,
сбивая марево медалей.

И я по лицам узнаю
и по рубашкам кумачовым —
судьбу грядущую свою,
протоптанную Пугачевым.

И на запекшейся губе,
и пыльной, как полынь, и горькой,
усмешку чую я себе,
грозящую кровавой зорькой.

Деревня — опаленный зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но грянет выстрел, хлопнет дверь,
и — когти брошены на прутья.

2

Какой многолетний пожар мы:
сведенные мужеством брови,
и — стены тюрьмы и казармы
затлели от вспыхнувшей крови.

И кровь эта смелых и робких!
И кровь эта сильных и слабых!
О, жизнь на подрезанных пробках,
в безумия скорченных лапах!

И кровь эта мечется всюду,
и морем ее не отмоют,
и кровь эта ищет Иуду,
идущего с серебром тьмою.

И вы, говорившие: «Пуль им!» —
и вы, повторявшие: «Режь их!» —
дрожите, прильнувши к стульям,
увидев поход этих пеших.

Кто жаждет напиться из лужиц,
тот встретит преграду потока,—
сумейте же будущий ужас
познать во мгновение ока!

Ведь если пощады в словах нет,
ведь если не выплыть из тины,—
припомните: ржавчиной пахнет
затупленный нож гильотины.

1916

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ИЗ ЦИКЛА «СОЛНЕЧНЫЕ ПЕСНИ»

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Дождик сквозь солнце, крупный и теплый,
Шумит по траве,
По синей реке.
И круги да пузырики бегут по ней,
Лег тростник,
Пушистые торчат початки,
В них накрепко стрекозы вцепились,
Паучки спрятались, поджали лапки,
А дождик поливает:
Дождик, дождик, пуще
По зеленой пуще;
Чирики, чигирики,
По реке пузырики;
Пробежал низенько,
Омочил мокренько;
Ой, ладога, ладога,
Золотая радуга!
Рада белая береза:
Обсыпалась почками,
Обвесилась листочками.
Гроза гремит, жених идет,
По солнцу дождь,— весенний мед,
Чтоб, белую да хмельную,
Укрыть меня в постель свою,

Хрустальную,
Венчальную...
Иди, жених, замрела я,
Твоя невеста белая...
Обнял, обсыпал дождик березу,
Прошумел по листам
И по радужному мосту
Помчался к синему бору...
По мокрой траве бегут парень да девушка.
Уговаривает парень:
«Ты не бойся, пойдем,
Хоровод за селом
Созовем, заведем,
И, под песельный глас,
Обведут десять раз,
Обручившихся, нас.
Этой ночью красу —
Золотую косу
Расплету я в лесу».
Сорвала девушка лопух,
Закрылась.
А парень приплясывает:
«На меня погляди,
Удалее найди:
Говорят обо мне,
Что девицы во сне
Видят, около,
Ясна сокола».
На реке дед-перевозчик давно поджидает,
Поглядывает, посмеивается в бороду.
Сбежали с горы к речке парень да девушка,
Отпихнул дед перевоз,
Жалко стало внучки, стал реке выговаривать:
«Ты, река Бугай, серебром горишь;
Скатным жемчугом по песку звенишь;
Ты прими, Бугай, вено девичье,
Что даю тебе, мимо едучи;
Отдаю людям дочку милую,—
Охрани ее водной силою
От притыки, от глаза двуглазого,
От двузубого, лешего, банника,
От гуменника, черного странника,
От шишиги и нежитя разного».

И спустил в реку узелок с хлебом-солью.
Девушка к воде нагнулась,
Омакнула пальцы:
«Я тебе, река, кольцо скую —
Научи меня, молоденькую,
Как мне с мужем речь держать,
Ночью в губы целовать,
Петь над люлькой песни женские,
Домовые, деревенские.
Научи, сестра-река,
Будет счастье ли, тоска?»
А в село девушкам
Сорока-ворона на хвосте принесла.
Все доложила:
«Бегите к речке скорей!»
Прибежали девушки к речке,
Закружились хороводом на крутом берегу,
В круг вышла молодуха,
Подбоченилась,
Грудь высокая, лицо румяное, брови крутые.
Звякнула монистами:
«Как по лугу, лугу майскому,
Заплетались хороводами,
Хороводами купальскими,
Над русалочными водами.
Звезды кружатся далекие,
Посреди их месяц соколом,
А за солнцем тучки легкие
Ходят кругом, ходят около.
Вылезайте, мавки, душеньки,
Из воды на волю-волюшку,
Будем, белые подруженьки,
Хороводиться по полюшку».
А со дна зеленые глаза глядят.
Распустили русалки-мавки длинные косы:
«Нам бы вылезти охота,
Да боимся солнца;
Опостылела работа!
Колет веретенце.
На закате под ветлою
Будем веселиться,
Вас потешим ворожбою,
Красные девицы».

Обняв девушку, парень
Кричит с перевоза:
«Хороните, девки, день,
Закликайте ночку —
Подобрался ключ-кремень
К алому замочку.
Кто замочек отомкнет
Лаской или силой,
Соберет сотовый мед
Батюшки Ярилы».
Ухватили девушки парня и невесту,
Побежали по лугу,
Окружили, запели:
«За телкою, за белою,
По полю, полю синему
Ядреный бык, червленый бык
Бежал, мычал, огнем кидал:
«Уж тебя я догоню, догоню,
Молодую полоню, полоню!»
А телушка, а белая,
Дрожала, вся замрелая —
Нагонит бык, спалит, сожжет...
Бежит, молчит, и сердце мрет...
А бык нагнал,
Червленый, пал:
«Уж тебя я полонил, полонил,
В прощах воду отворил, отворил,
Горы, долы оросил, оросил».
Перекинулся дождик от леса,
Да подхватил,
Да как припустился
По травушкам, по девушкам,
Теплый да чистый:
Дождик, дождик, пуще
По зеленой пуще;
Чирики, чигирики,
По воде пузырики;
Пробежал низенько,
Омочил мокренько:
Ой, ладога, ладога,
Золотая радуга,
Слава!

<1911>

ОСЕННЕЕ ЗОЛОТО

Нет больше лета,
Не свистят зелены иволги,
Грибами пахнет...
Пришел к синей реке козленок,
Заиграл на тростинке,
И запечалились мавки-русалки:
«Тонкая сопелочка плачет над водой,
Спой осенним мавам ты, козлик золотой.
Падают с березы последние одежды,
Небо засинелось печалью безнадежной...
Лебеди срываются от затонных вод...
Скоро наш козлеточек за море уйдет».
Поет на тростинке козленок:
«Я пойду не зá море —
Зá море далеко;
Я пойду не зá горы —
Зá горы высоко!
А пойду я в красный
Лес густой,
Набреду на ножик,
Острый, злой:
Упаду на травы,
Закричу,
Обольюся кровью
По мечу».
Заплакали русалки-мавки:
«Горе нам, горе, осенние красавицы!
Хочет наш песельник до смерти кровавиться!
Падайте, листья, стелитесь желто-алые,
Мы убаюкаем глазыньки усталые...
Спи, спи, усни...
Волна бежит
По берегу;
Трава лежит
Примятая...
Волна траве:
Ты слышала —
Она идет,
Осенняя,
Прекрасная,
Вся в золоте
И тлении,

Печальная,
Пурпурная...
Спи, спи, усни,
В листы склони
Головушку,
Рога златые
В травушку...
Она идет,
Тебе поет:
«Спи, спи, усни,
Козленочек».

<1911>

ЗОЛОТО

Загуляли по ниве серпы;
Желтым колосом мерно кивая,
Зашепталася рожь золотая,—
И уселись рядами снопы.
Низко свесили кудри горячие,
Словно солнцевы дети, в парче...
Обливает их солнце стоячее,
Разгорается сила в плече.
Медвяным молоком наливное
Проливается в горсти зерно...
Ох ты, солнце мое золотое!
Ох ты, высь, голубое вино!

<1911>

ТРАВА

Перепелка припала в траве,
Зазвенела стрела в тетиве,
И впилась между крылышек медь,
А трава начинает шуметь.
Ты зачем зашумела, трава?
Напугала ль тебя тетива?
Перепелочья ль кровь горяча,
Что твоя закачалась парча?
Или ветром по полю умчалось без края
Неизносное горе мое?
Но не ты ли, трава, шелестя и кивая,
Роковое сокрыла копье?

И, как птица в тебе, золотая подруга
От татарина злого бегла.
Натянулась татарская, метко и туго,
И подругу догнала стрела,
И приникла змеею, и в девичью спину,
Закровавив, до перьев ушла.
Так не с этой ли крови колышешь равнину
И по ветру волной полегла?

<1909>

ЛЕШАК

Все-то мавы танцевали
Кругом, около, у пня;
Заклинали, отогнали
Неуемного меня.
Всю-то ночку, одинокий,
Просидел я на бугре;
Затянулся поволокой
Бурый месяц на заре.
Встало солнце, и козлиный
Загудел в крови поток.
Я тропой пополз змеиной
На еще горячий ток.
Под сосной трава прибита,
Вянут желтые венки;
Опущу мои копыта
В золотые лепестки...
Берегись меня, прохожий!
Смеху тихому не верь.
Неуемный, непригожий,
Сын я Солнца — бог и зверь.

<1911>

ИЗ ЦИКЛА «ЗА СИНИМИ РЕКАМИ»

СКОМОРОХИ

Из болот да лесов мы идем,
Озираемся, песни поем;
Нехорошие песни — бирючьи,
Будто осенью мокрые сучья

Раскачала и плачется ель,
В гололедицу свищет метель,
Воет пес на забытом кургане,
Да чернеется яма в бурьяне,
Будто сына зарезала мать...
Мы на свадьбу идем пировать:
　　Пированье — браги нет,
　　Целованье — бабы нет,
　　И без песни пиво — квас,
　　Принимай, хозяин, нас.
Хозяину, хозяюшке — слава!
Невесте да молодцу — слава!
Всем бородам поклон да слава!
　　А нам, дуракам, у порога сидеть,
　　В бубенцы звенеть да песни петь,
　　Песни петь, на гуслях играть,
　　Под гуслярный звон весело́ плясать...
　　Разговаривай звончее, бубенцы!
　　Ходу, ходу, руки, ноги — лапотцы́...
Напоил, хозяин, допьяна вином,
Так покажь, где до рассвета отдохнем;
Да скажи-ка, где лежит твоя казна,
Чтоб ошибкою не взять ее со сна.
Да укажь-ка, где точило мы найдем,—
Поточить ножи булатные на нем;
Нож булатный скажет сказку веселей...
Наливай-ка брагу красную полней...
　　Скоморохи, скоморохи, удальцы!
　　Стоном стонут скоморошьи бубенцы!

<1907>

ВЕДЬМА-ПТИЦА

По Волхову струги бегут,
Расписаны, червленые...
Валы плеснут, щиты блеснут,
Звенят мечи каленые.
Варяжий князь идет на рать
На Новгород из-за моря...
И алая, на горе, знать,
Над Волховом горит заря.
Темны леса, в водах струясь.
Пустынны побережия...

И держит речь дружине князь:
«Сожгу леса медвежие.
Мой лук на Новгород согну,
И кровью город вспенится...»
...А темная по мху, по дну
Бежит за стругом ве́дьмица.
Над лесом туча — черный змей —
Зарею вдоль распорота.
Река кружит, и вот над ней
Семь башен Нова-Города.
И турий рог хватает князь
Железной рукавицею...
Но дрогнул струг, вода взвилась
Под ведьмой, девой птицею.
Взлетела ведьмица на щегл,
И пестрая и ясная:
«Жених мой, здравствуй, князь и сокол...
Тебя ль ждала напрасно я?
Люби меня!..» — в глаза глядясь,
Поет она, как пьяная...
И мертвый пал варяжий князь
В струи реки багряные.

<1909>

МАВКА

Пусть покойник мирно спит;
Есть монаху тихий скит;
Птице нужен сок плода,
Древу — ветер да вода.
Я ж гляжу на дно ручья,
Я пою — и я ничья.
Что мне ветер! Я быстрей!
Рот мой ягоды алей!
День уйдет, а ночь глуха,
Жду я песни пастуха!
Ты, пастух, играй в трубу,
Ты найди свою судьбу,
В сизых травах у ручья,
Я лежу — и я ничья.

<1909>

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

<1912>

* * *

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

<1912>

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда́ им
Забвенье владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа,—
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пищалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буем, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника — ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.

Попробуйте лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается
Отодранным ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это
И кем на терзанье
Распущены пó ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводненья не сдержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

<1915>

* * *

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

<1915>

* * *

Не как люди, не еженедельно.
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова!

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал ты есть земную соль?!

<1915>

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.



Рерих Н. К.
Три радости
Кисть. 1916
Государственная Третьяковская галерея

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнюю отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

<1915>

ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга,— лавиной вернуся.

* * *

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грóзу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней Святого писанья,
Хотя его сызнова все перечти.

Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И, в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь:
Все я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов, и слез в промежутке.

ЗЕРКАЛО

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!
Казалось бы, всё коллодий залил,
С комода до шума в стволах.

Зеркальная все б, казалось, нáхлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла,—
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, садит,
Трясет — и не бьет стекла!

* * *

Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках [1],
Это — с пультов и флейт — Фигаро́
Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведь [2],
И — с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

---

[1] В данном случае слово «лопатки» означает стручки гороха.
[2] Доведь — шашка, проведенная в край поля, в дамы.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Все утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось — перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За тёской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя,— подробна.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя, по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Май 1913
Коктебель

* * *

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет,—
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже *была*, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед,—
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

3 мая 1913
Коктебель

* * *

Посадила яблоньку:
Малым — забавоньку,
Старому — младость,
Садовнику — радость.

Приманила в горницу
Белую горлицу:
Вору — досада,
Хозяйке — услада.

Породила доченьку —
Синие оченьки,
Горлинку — голосом,
Солнышко — волосом.

На горе — де́вицам,
На горе — мо́лодцам.

23 января 1916

* * *

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Позвякивая карбованцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Чьи руки бережные трогали
Твои ресницы, красота,
Когда, и как, и кем, и много ли
Целованы твои уста —

Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол сию мечту.
В тебе божественного мальчика,—
Десятилетнего я чту.

Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

Мальчишескую боль высвистывай
И сердце зажимай в горсти...
— Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник — прости!

18 февраля 1916

* * *

За девками доглядывать, не скис
ли в жбане квас, оладьи не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис
Ссыпая в узкогорлые бутыли,

Кудельную расправить бабке нить,
Да ладаном курить по дому росным,
Да под руку торжественно проплыть
Соборной площадью, гремя шелками, с крёстным.

Кормилица с крикливым петухом
В переднике — как ночь ее повойник! —
Докладывает древним шепотком,
Что молодой — в часовенке — покойник.

И ладанное облако углы
Унылой обволакивает ризой,
И яблони — что ангелы — белы,
И голуби на них — что ладан — сизы.

И странница, прихлебывая квас
Из ковшика, на краешке лежанки,
О Разине досказывает сказ
И о его прекрасной персиянке.

26 марта 1916

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ О МОСКВЕ»

* * *

Настанет день — печальный, говорят! —
Отцарствуют, отплачут, отгорят,—
Остóжены чужими пятаками,—
Мои глаза, подвижные, как пламя.
И — двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит — лик.

О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!

А издали — завижу ли и вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.

На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу — впервые.
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску.
Святая у меня сегодня пасха.

По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет,—
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.

И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.

11 апреля 1916

* * *

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем — нож.
Издалека́-далече —
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,—
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
— Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

8 июля 1916
Александров

ИЗ ЦИКЛА «БЕССОННИЦА»

* * *

Обвела мне глаза кольцом
Теневым — бессонница.
Оплела мне глаза бессонница
Теневым венцом.

То-то же! По ночам
Не молись — идолам!
Я твою тайну выдала,
Идолопоклонница.

Мало — тебе — дня,
Солнечного огня!

Пару моих колец
Носи, бледноликая!
Кликала — и накликала
Теневой венец.

Мало — меня — звала?
Мало — со мной — спала?

Ляжешь, легка лицом.
Люди поклонятся.
Буду тебе чтецом
Я, бессонница:

— Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина.

Чтобы — спалось — легче,
Буду — тебе — певчим:

— Спи, подруженька
Неугомонная,
Спи, жемчужинка,
Спи, бессонная.

И кому ни писали писем,
И кому с тобой ни клялись мы...
Спи себе.

Вот и разлучены
Неразлучные.
Вот и выпущены из рук
Твои рученьки.
Вот ты и отмучилась,
Милая мученица.

Сон — свят.
Все — спят.
Венец — снят.

8 апреля 1916

* * *

Руки люблю
Целовать, и люблю
Имена раздавать,
И еще — раскрывать
Двери!
— Настежь — в темную ночь!

Голову сжав,
Слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный
Лес.

Ах, ночь!
Где-то бегут ключи,
Ко сну — клонит.
Сплю почти.
Где-то в ночи
Человек тонет.

27 мая 1916

* * *

В огромном городе моем — ночь.
Из дома сонного иду — прочь,
И люди думают: жена, дочь,—
А я запомнила одно: ночь.

Июльский ветер мне метет — путь,
И где-то музыка в окне — чуть.
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди́ — в грудь.

Есть черный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому — вслед,
И тень вот эта, а меня — нет.

Огни — как нити золотых бус,
Ночного листика во рту — вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам — снюсь.

17 июля 1916
Москва

* * *

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим,— ничьим.
В медленных жилах еще занывают стрелы —
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко́ равнодушен и враг и друг.
Целая радуга — в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик,— и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.

19 июля 1916

* * *

Нынче я гость небесный
В стране твоей.
Я видела бессонницу леса
И сон полей.

Где-то в ночи́ подковы
Взрывали траву.
Тяжко вздохнула корова
В сонном хлеву.

Расскажу тебе с грустью,
С нежностью всей,
Про сторожа-гуся
И спящих гусей.

Руки тонули в песьей шерсти́.
Пес был — сед.
Потом, к шести,
Начался́ рассвет.

20 июля 1916

* * *

Сегодня ночью я одна в ночи́ —
Бессонная, бездомная черница! —
Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы!

Бессонница меня толкнула в путь.
— О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! —
Сегодня ночью я целую в грудь —
Всю круглую воюющую землю!

Вздымаются не волосы — а мех,
И душный ветер прямо в душу дует.
Сегодня ночью я жалею всех,—
Кого жалеют и кого целуют.

1 августа 1916

* * *

Нежно-нежно, тонко-тонко
Что-то свистнуло в сосне.
Черноглазого ребенка
Я увидела во сне.

Так у сосенки у красной
Каплет жаркая смола.
Так в ночи́ моей прекрасной
Ходит по сердцу пила.

8 августа 1916

* * *

Черная, как зрачок, как зрачок, сосущая
Свет — люблю тебя, зоркая ночь.

Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь
Песен, в чьей длани узда четырех ветров.

Клича тебя, славословя тебя, я только
Раковина, где еще не умолк океан.

Ночь! Я уже нагляделась в зрачки человека!
Испепели меня, черное солнце — ночь!

9 августа 1916

* * *

Кто спит по ночам? Никто не спит!
Ребенок в люльке своей кричит,
Старик над смертью своей сидит,
Кто молод — с милою говорит,
Ей в губы дышит, в глаза глядит.

Заснешь — проснешься ли здесь опять?
Успеем, успеем, успеем спать!

А зоркий сторож из дома в дом
Проходит с розовым фонарем,
И дробным рокотом над подушкой
Рокочет ярая колотушка:

— Не спи! крепись! говорю добром!
А то — вечный сон! а то — вечный дом!

12 декабря 1916

* * *

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может — пьют вино,
Может — так сидят.
Или просто — рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.

Крик разлук и встреч —
Ты, окно в ночи!
Может — сотни свеч,
Может — три свечи...
Нет и нет уму
Моему — покоя.
И в моем дому
Завелось такое.

Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!

23 декабря 1916

ИЗ ЦИКЛА «АХМАТОВОЙ»

* * *

Охватила голову и стою,—
Что́ людские козни! —
Охватила голову и пою
На заре на поздней.

Ах, неистовая меня волна
Подняла на гребень!
Я тебя́ пою, что у нас — одна,
Как луна на небе!

Что, на сердце вороном налетев,
В облака вонзилась.
Горбоносую, чей смертелен гнев
И смертельна — милость.

Что и над червонным моим Кремлем
Свою ночь простерла,
Что певучей негою — как ремнем,
Мне стянула горло.

Ах, я счастлива! Никогда заря
Не сгорала — чище.
Ах, я счастлива, что, тебя даря,
Удаляюсь — нищей,

Что тебя, чей голос — о, глубь! о, мгла! —
Мне дыханье сузил,
Я впервые именем назвала
Царскосельской Музы.

22 июня 1916

* * *

Не отстать тебе. Я — острожник,
Ты — конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
Подорожная нам дана.

Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!

26 июня 1916

* * *

Ты солнце в выси мне застишь,
Все звезды в твоей горсти!
Ах, если бы — двери настежь —
Как ветер к тебе войти!

И залепетать, и вспыхнуть,
И круто потупить взгляд,
И, всхлипывая, затихнуть —
Как в детстве, когда простят.

2 июля 1916

* * *

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломóть у калитки жует и жует...

Чем прогневили тебя эти серые хаты,—
Господи! — и для чего стóльким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...

— Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах.— Ох, и поют же
Нынче солдаты! О господи боже ты мой!

3 июля 1916

СТЕНЬКА РАЗИН

1

Ветры спать ушли — с золотой зарей,
Ночь подходит — каменною горой,
И с своей княжною из жарких стран
Отдыхает бешеный атаман.

Молодые плечи в охапку сгреб,
Да заслушался, запрокинув лоб,—
Как гремит над жарким его шатром
Соловьиный гром.

22 апреля 1917

2

А над Волгой — ночь,
А над Волгой — сон.
Расстелили ковры узорные,
И возлег на них атаман с княжной
Персиянкою — брови черные.

И не видно звезд, и не слышно волн,—
Только весла да темь кромешная!
И уносит в ночь атаманов челн
Персиянскую душу грешную.

И услышала
Ночь — такую речь:
— Аль не хочешь, что ль,
Потеснее лечь?
Ты меж наших баб —
Что жемчужинка!
Аль уж страшен так?
Я твой вечный раб,
Персияночка!
Полоняночка!

А она — брови насупила,
Брови длинные,
А она — очи потупила
Персиянские.
И из уст ее —
Только вздох один:
— Джаль-Эддин!

А над Волгой — заря румяная,
А над Волгой — рай.
И грохочет ватага пьяная:
— Атаман, вставай!

Належался с басурманскою собакою!
Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы!

А она — что смерть.
Рот закушен в кровь.—
Так и ходит атаманова крутая бровь.

— Не поладила ты с нашею постелью —
Так поладь, собака, с нашею купелью!

В небе-то — ясно,
Тёмно — на дне.
Красный один
Башмачок на корме.

И стоит Степан — ровно грозный дуб,
Побелел Степан — аж до самых губ.
Закачался, зашатался.— Ох, томно!
Поддержите, нехристи,— в очах тёмно!

Вот и вся тебе персияночка,
Полоняночка.

25 апреля 1917

3

(СОН РАЗИНА)

И снится Разину — сон:
Словно плачется болотная цапля.
И снится Разину — звон:
Ровно капельки серебряные каплют.

И снится Разину — дно —
Цветами, что плат ковровый.
И снится лицо одно —
Забытое, чернобровое.

Сидит, ровно божья мать,
Да жемчуг на нитку нижет.
И хочет он ей сказать,
Да только губами движет...

Сдавило дыханье — аж
Стеклянный, в груди, осколок.
И ходит, как сонный страж,
Стеклянный — меж ними — полог.

———

Рулевой зарею правил
Вниз по Волге-реке.
Ты зачем меня оставил
Об одном башмачке?

Кто красавицу захочет
В башмачке одном?
Я приду к тебе, дружочек,
За другим башмачком!

И звенят-звенят, звенят-звенят запястья:
— Затонуло ты, Степаново счастье!

8 мая 1917

В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

Издыхая и ноя,
Пролетал за поездом поезд,
И вдоль рельс на сбегающих склонах
Подвывали закланные жены.
А в вагоне каждый зуав
Пел высокие гимны.
(И нимфы
Стенали среди дубрав.)
«Ах, люблю я Мариетту, Мариетту,
Эту.
Все за ней хожу.
Где мы? Где мы? Где мы?
Я на штык мой десять немцев
Насажу!»
Дамы на штыки надели
Чужеземные цветы — хризантемы.
А рельсы все пели и пели:
«Где же мы? где мы?»
И кто-то, тая печаль свою,
Им ответил — в раю.

1915

В ДЕТСКОЙ

Рано утром мальчик просыпался,
Слушал, как вода в умывальнике капала.
Встала — упала, упала — и жалко...
Ах, как скулила старая собака,
Одна, с подшибленной лапой.

Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело,
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо,
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого чужого солдата.
И красная краска капает на пол.

1915

* * *

Модильяни

Ты сидел на низенькой лестнице,
Модильяни.
Крики твои буревестника,
Улыбки обезьяньи.
А масленый свет приспущенной лампы,
А жарких волос синева!..
И вдруг я услышал страшного Данта —
Загудели, расплескались темные слова.
Ты бросил книгу,
Ты падал и прыгал,
Ты прыгал по зале,
И летящие свечи тебя пеленали.
О, безумец без имени!
Ты кричал: «Я могу! Я могу!»
И четкие черные пинии
Вырастали в горящем мозгу.
Великая тварь —
Ты вышел, заплакал и лег под фонарь.

1915

В ВАГОНЕ

В купе господин качался, дремал, качаясь
Направо, налево, еще немножко.
Качался один, неприкаянный,
От жизни качался, от прожитой.
Милый, и ты в пути,
Куда же нам завтра идти?

Но верю — ватные лица,
Темнота, чемоданы, тюки,
И рассвет, что тихо дымится
Среди обгорелых изб,
Под белым небом, в бесцельном беге,
Отряхая и снова вбирая
Сон, полусон —
Все томится, никнет и бредит
Одним концом.

1915

НАТЮРМОРТ

От этой законченной осени
Душа наконец ослабла.
На ярком подносе
Спелые, красные яблоки.
Тяготейте вы над душой ослабшей,
Круглые боги, веские духи,
Чую средь ровного лака
Вашу унылую сущность.
Все равно, обрастая плотью,
Душа моя вам не изменит.
Зреет она на тяжелом подносе
В эти тихие дни завершений.

1915

ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ

Я приду к родимой, кинусь в ноги,
Заору:
Бабы плачут в огороде
Не к добру.
Ты мне волосы обрезала,
В соли омывала,
Нежная! Любезная!
Ты меня поймала!
Пред тобой, перед барыней,
Я дорожки мету,

Как комарик я
Все звеню на лету —
Я влюблен! Влюблен!
Тлею! Млею!
Повздыхаю! Полетаю!
Околею!

1915

ГОГОЛЬ

Неуклюжий иностранец —
Он сидел в кофейне «Греко».
Были ранние сумерки
Римского лета,
Ласточки реяли над серыми церквами.
Завлекла его у ног Мадонны
Ангельская тягота и меч,
А потом на Пьяцца Спанья запах розы...
(Медные тритоны
Не устанут извиваться и звенеть.)

Вспомнил он поля и ночи,
Колокольцев причитанье
И туман Невы.

Странный иностранец —
Он просил кого-то:
(Вечер к тонкому стеклу приник.)
«От летучих, от ползучих и от прочих
Охрани!»
Сумрак, крылья распуская,
Ласточек вспугнул.
В маленькой кофейне двое
Опечалились далекой синевой.
...И тогда припал к его губам Сладчайший,
Самый хитрый, самый свой.

1915

КАК УМРУ

Комната в том же отеле —
Обвиты углы паутиной.
Я лежу на высокой постели,
Придавленный тяжкой периной.

Обои с цветами.
Книг нелепая груда.
Зеркало в пышной раме.
И табак, и табак повсюду...
Сосед по лестнице всходит,
Ключом гремит неуклюже...
Мне сегодня ни лучше, ни хуже,
И нет никаких откровений,
О которых вы столько писали,
Только больше обычной лени
И немного меньше печали.

1915

ПУГАЧЬЯ КРОВЬ

На Болоте стоит Москва, терпит;
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церквей идет темный гуд.
Бабы все ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу,
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью.
Начал парень чихать, сквернословить:
«Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!»
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте.
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
«Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!
...Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,

И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачья,
Да на высоком колу голова Пугачья!»
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.

1916

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий том и тома А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, И. Бунина, включающиеи дооктябрьские их стихотворения, составляют в «Библиотеке всемирной литературы» единую антологию русской поэзии начала XX века (дооктябрьского периода).

Стихи расположены или в порядке, как они были опубликованы в авторских сборниках, из которых они перепечатаны, илп в хронологическом порядке.

Под каждым названием книги стихов поэта указывается дата ее первой публикации.

Если это возможно, под стихотворением указывается дата его создания — авторская или (в угловых скобках) установленная исследователями творчества поэта.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Максим Горький (псевд.; наст. имя — Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) в начальный период своего творчества (романтический) не раз обращался к поэзии. Одну из своих ранних поэм («Песнь старого дуба») он уничтожил после отрицательного отзыва Короленко, которому направил ее на суд.

М. Горький внес существенный вклад в развитие русской поэзии начала века не только своими стихами, но и памфлетами, полемической критикой, оценки которой были точны и своевременны: «Еще поэт» — о стихах Ф. Сологуба (1896), «Поль Верлен и декаденты» (1896), 3-я сказка из цикла «Русские сказки» (о поэте «Смертяшкине») и др. Он же издал вместе с Н. Серебровым (А. Н. Тихоновым) первый сборник пролетарских писателей (1914), где были напечатаны стихи пролетарских поэтов.

Стихотворения М. Горького печатаются по тексту издания: *М. Горький*. Полное собрание сочинений, тт. 1, 2, 6. М., «Наука», 1968—1970.

Девушка и Смерть (стр. 25).— Сказка не была опубликована по цензурным соображениям ни в Тифлисе, где она была создана, ни в следующем году, в 1893, в Казани. Опубликована впервые в газете «Новая жизнь», 1917, 23 июля.

Песня о Соколе (стр. 31).— Стихотворение в прозе (метрическая проза) из одноименного рассказа М. Горького.

Песня о Буревестнике (стр. 34).— Стихотворение М. Горького в прозе стало, по выражению Е. Ярославского, «боевой песнью революции», имело огромное пропагандистское революционное значение. «Вряд ли в нашей литературе,— писал Е. Ярославский,— можно найти произведение, которое выдержало бы столько изданий, как «Буревестник» Горького. Его перепечатывали в каждом городе, он распространялся в экземплярах, отпечатанных на гектографе и на пишущей машинке, его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в кружках учащихся. Вероятно, тираж «Буревестника» в те годы равнялся нескольким миллионам» (сб. «Революционный путь Горького». М.— Л., 1933, с. 9).

СКИТАЛЕЦ

Скиталец (псевд.; наст. имя — Степан Гаврилович Петров; 1869—1941) родился под Самарой. Учился в учительской семинарии, откуда был исключен за политическую неблагонадежность. Сменил множество профессий (писец, певчий и т. д.), бродил по югу России. В 1897—1900 годах сотрудничал в «Самарской газете». В 1900 году опубликовал свое первое значительное произведение (рассказ «Октава»). Был членом литературного кружка «Среда». Большое участие в его литературной судьбе принимал М. Горький, редактировавший первый том его «Рассказов и песен» в издательстве «Знание». С 1922 по 1934 год находился в эмиграции.

Стихотворения Скитальца печатаются по тексту издания: М. Горький и поэты «Знания». Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1958.

Колокол (стр. 35), *Кузнец* (стр. 36), *«Я оторван от жизни родимых полей...»* (стр. 37).— Эти стихотворения Скитальца были при первой публикации тщательно отредактированы М. Горьким.

Тихо стало кругом... (стр. 39).— Образы этого стихотворения использованы В. И. Лениным в брошюре «Победа кадетов и задачи рабочей партии» (Полн. собр. соч., т. 12, с. 291) для характеристики временного затишья после первой русской революции 1905 г.

ГЛЕБ КРЖИЖАНОВСКИЙ

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—1959) родился в Самаре. Окончил Петербургский технологический институт. С 1891 года участвует в революционном движении, член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», член ЦК РСДРП. После революции возглавлял Комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО), руководил Госпланом. С 1929 года — академик. Возглавлял организованный им Энергетический институт Академии наук.

Стихотворения Г. Кржижановского печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

Варшавянка (стр. 40).— Вольное переложение стихотворения польского писателя В. Свенцицкого (1883). Написано в Бутырской тюрьме. Г. Кржижановский использовал подстрочный перевод, сделанный заключенными поляками, членами Польской социалистической партии.

Красное знамя (стр. 41).— Вольный перевод песни польских революционных рабочих, написанной Б. Червинским во Львове в 1881 г.

Беснуйтесь, тираны... (стр. 43).— Вольный перевод украинской революционной песни, созданной в 1889 г. во Львове поэтом и литературоведом А. Колессой. Написано в сибирской ссылке.

ЕГОР НЕЧАЕВ

Нечаев Егор Ефимович (1859—1925) работал 45 лет на стекольном заводе в Клину. В семнадцать лет научился грамоте. С 1891 года выступал в печати как поэт и беллетрист.

Стихотворения Е. Нечаева печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1950.

Гутарям (стр. 45).— *Гутари* — рабочие на стеклоплавильном заводе (гуте).

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ

Богданов Александр Алоксеевич (1874—1939) — сын разночинца, в революционном движении с конца девяностых годов. Более десяти лет находился на нелегальном положении. Член РСДРП с 1901 г. Печатался в большевистских изданиях под разными псевдонимами (Волжский,

Волгин, Альфа, Антонов). Его творчество было неразрывно связано с революционной работой.

Стихотворения А. Богданова печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

Песня пролетариев (стр. 47).— Вольный перевод революционной песни польских рабочих.

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ

Тарасов Евгений Михайлович (1882—1943) в студенческие годы был революционером-пропагандистом в петербургской рабочей среде. После ареста и ссылки принял участие в революции 1905 года. Сотрудничал в горьковских сборниках «Знание». Две книги его стихов — «Стихи 1903—1905» (1906) и «Земные дали» (1908). Впоследствии отошел от литературной работы. В советские годы работал экономистом.

Стихотворения Е. Тарасова печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

Смолкли залпы запоздалые... (стр. 48).— Написано в связи с разгромом декабрьского вооруженного восстания московских рабочих, в котором принимал участие и автор стихотворения.

Братьям (стр. 49).— Написано под новый, 1906 г., отражает впечатления от разгрома повстанческих отрядов на баррикадах Красной Пресни.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) родился в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1899). Один из родоначальников русского символизма. Выпустил три сборника «Русские символисты» (1894—1895) в основном со своими стихами. Переводил французских символистов (Бодлера, Верлена, Малларме, Рембо).

Прошел сложный путь общественных и литературных исканий. Еще в начале 900-х годов признавал неизбежность революции, угадал ее движущую силу — пролетариат. Во время революции 1905 г. клеймил либералов, ликовавших по поводу манифеста 17 октября. Но задачу революции видел лишь в беспощадном уничтожении старого строя.

Большое значение имела просветительская деятельность Брюсова, его работа в области художественного перевода, и прежде всего переводы из армянских поэтов.

Безоговорочно принял Октябрьскую революцию. В 1920 г. вступил в Коммунистическую партию. Работал в Наркомпросе, Госиздате, Книжной палате, вел ряд курсов в Московском университете и в организованном им в 1921 году Высшем литературно-художественном институте.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества В. Брюсова см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения В. Брюсова печатаются по тексту издания: В а л е р и й Б р ю с о в. Собрание сочинений в семи томах, т. 1 и 2. М., «Художественная литература», 1973.

А с с а р г а д о н (стр. 53).— *Ассаргадон* (вернее, Асархаддон) — царь Ассирии (680—669 до н. э.). *Сидон* — город в Финикии, разрушенный Ассаргадоном. *Элам* — древнее государство, расположенное к юго-востоку от Ассирии.

С к и ф ы (стр. 53).— При первой публикации стихотворению был предпослан эпиграф: «Скифский рисунок. Моск. Истор. музей, зала 6, № 20».

Р а б о т а (стр. 58).— Брюсов писал, что стихотворение возникло в связи с тем, что в августе 1900 г. он «вступил в трудовую жизнь»,— начал службу в редакции журнала «Русский архив» (В. Б р ю с о в. Дневники 1891—1910. М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1927, с. 90).

М и р (стр. 59).— В основе поэмы — детские воспоминания Брюсова.

К а м е н щ и к («Каменщик, каменщик в фартуке белом...») (стр.61).— Литературный источник произведения — стихотворение П. А. Лаврова «Новая тюрьма», в котором воспроизводится диалог прохожего с каменщиком.

К и н ж а л (стр. 64).— Эпиграф — из стихотворения М. Лермонтова «Поэт».

Ю л и й Ц е з а р ь (стр. 65).— В примечании к стихотворению в первом издании сборника «Stephanos» Брюсов писал, что это стихотворение написано «*до* октябрьских событий» 1905 г. В стихотворении упоминаются события, приведшие к восстанию Цезаря против сената: поражение римского войска при Каррах (53 до н. э.), беспорядки в Риме, вызванные беспрестанными столкновениями трибунов-демагогов Клодия и Милона, передача сенатом власти Помпею, в руках которого была военная сила. В 49 г. до н. э. Цезарь перешел реку Рубикон и вступил на территорию Италии, начав тем самым так называемую вторую Гражданскую войну. *Эреб* — преисподняя (г р е ч. м и ф.).

Д о в о л ь н ы м (стр. 67).— Отклик на манифест 17 октября 1905 г. о даровании «конституции», восторженно встреченный либеральной буржуазией. *Агора* — название народных собраний и площади, где они происходили (д р е в н е г р е ч.).

Грядущие гунны (стр. 67).— Эпиграф из стихотворения Вяч. Иванова «Кочевники красоты» (книга стихов «Прозрачность», 1904).

Фонарики (стр. 68).— По форме — подражание одноименному стихотворению И. Мятлева.

Конь блед (стр. 69).— Эпиграф из Апокалипсиса.

Поэту (стр. 71).— Этим программным стихотворением Брюсов открывал свой сборник «Все напевы».

К Медному всаднику (стр. 76).— В т. III своего Полного собрания сочинений В. Брюсов сделал следующее примечание к этому стихотворению: «Для понимания некоторых выражений в этом стихотворении надо возобновить в памяти «петербургскую повесть» Пушкина о «бедном Евгении» и стихи Тютчева «Декабристам» (Точное название — «14 декабря 1825».— *В. К.*):

...о жертвы мысли безрассудной!
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный *полюс растопить!*
Едва *дымясь, она сверкнула*
На вековой громаде льдов:
Зима железная дохнула,
И не осталось и следов».

(Курсив Брюсова; ср. эти выражения в его стихотворении.)

«Снова, с тайной благодарностью...» (стр. 77).— Эпиграф из стихотворения Ф. Тютчева «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»).

«Идут года. Но с прежней страстью...» (стр. 78).— Эпиграф — первые строки стихотворного наброска А. Пушкина без заглавия; приведены Брюсовым в той редакции, в которой этот набросок печатался до революции. *Ты счастье Цезаря везешь.*— Во время Гражданской войны Юлий Цезарь был застигнут бурей на маленьком судне. Испуганный кормчий хотел было повернуть судно назад. «Услыхав это, Цезарь выступил вперед и, взяв пораженного кормчего за руку, сказал: «Вперед, любезный, смелей, не бойся ничего: ты везешь Цезаря и его счастье» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. II. М., 1963, с. 474).

Поэт — музе (стр. 80).— В примечании к публикации стихотворения в сборнике «Зеркало теней» Брюсов отметил: «Автор считает долгом указать, что первый стих стихотворения «Поэт — музе»... напоминает стих кн. П. А. Вяземского «Я пережил и много и многих» (Брюсов цитирует первую строку стихотворения Вяземского «Я пережил...»).

Родной язык (стр. 81).—...*как Израиль с божеством!*— Имеется в виду поединок между Иаковом и богом. По Библии, Иаков всю ночь боролся с богом, который не смог его одолеть и лишь повредил ему бедро. После этого Иаков получил имя «Израиля», то есть борца с богом.

Земле (стр. 84).— Эпиграф из стихотворения И. Коневского «Море житейское».

Круги на воде (стр. 86).— *В лазурной Марне, в желтой Висле...*— Близ Марны, во Франции, 5—9 сентября 1914 г. произошло одно из самых кровопролитных сражений между германскими и англо-французскими войсками. На Висле в Польше в октябре 1914 г. происходили ожесточенные бои между русскими и немецкими войсками. *...Святых просторах Палестины...*— Речь идет о сражениях на палестино-сирийском фронте между англо-французскими и турецкими войсками. *...В Анголе девственной...*— Речь идет о военных действиях в бывших германских колониях в Африке. *...Утесы Чили...*— Германия не раз нарушала нейтралитет, о котором объявило в начале войны правительство Чили. *...И воды Пе-че-ли...*— 25 октября (7 ноября) 1914 г. японцы захватили крепость Киао-Чао (ныне — Циндао), «арендованную» Германией у Китая. Немецкий гарнизон затопил свои суда, находившиеся в крепости, чтобы они не попали в руки неприятеля.

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) родился в деревне Гумнищи Владимирской губ. После гимназии в 1886 году поступил на юридический факультет Московского университета. Был исключен за участие в студенческих беспорядках. После ссылки в Шую и учебы в Ярославском лицее много путешествовал за границей. Одно время увлекался революционными идеями и сотрудничал в большевистской печати. Из-за издания в Париже (1907 г.) бунтарского сборника стихов не мог вернуться в Россию до амнистии 1913 года.

Один из ранних представителей русского символизма. Много переводил. Следует отметить его перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели — первый на русском языке.

С 1920 года жил в эмиграции, умер во Франции.

Стихотворения К. Бальмонта печатаются по тексту издания: К. Д. Бальмонт. Стихотворения. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1969.

Челн томления (стр. 90).— *Урусов* Александр Иванович (1843—1900) — московский адвокат, знаток литературы и театра. Поддерживал первые литературные шаги Бальмонта.

Ковыль (стр. 92).— Бальмонт познакомился с Иваном Алексеевичем Буниным в 1895 г. и одно время был его близким знакомым. В конце 1901 г. Бунин с символистами «разошелся, не возымев никакой охоты играть с... новыми товарищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор» (И. А. Бунин. Автобиографические заметки.— Собр. соч., т. 9. М., 1967, с. 262 и 264).

Терцины (стр. 100).— *Исчерпав жизнь свою до половины...*— Перифраз стиха, которым Данте начал свою «Божественную комедию»: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» («До середины пройдя нашу жизнь»).

Воздушная дорога (стр. 103).— *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — поэт, философ-мистик и идеалист, оказавший глубокое влияние на часть символистов — так называемых младших символистов (А. Белого, А. Блока, Вяч. Иванова и др.). *Недалека воздушная дорога...*— Цитата из стихотворения В. Соловьева «Зачем слова? В безбрежности лазурной...».

Русскому рабочему (стр. 104).— Из сборника «Стихотворения», вышедшего в марте 1906 г. в Петербурге в издательстве «Знание», в серии «Дешевая библиотека». В сборник, изданный большим по тому времени тиражом (21 тыс. экз.), вошло 12 стихотворений. Издание было конфисковано.

Пантера (стр. 109).— *Ее воспел... грузин...*— Шота Руставели в поэме «Витязь в тигровой шкуре». *Муэззин* — служитель при мечети, призывавший с минарета к молитве.

Блеск боли (стр. 110).— *Тариэль, Нэстан-Джар* (Дарэджан) — герой и героиня поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

ФЕДОР СОЛОГУБ

Сологуб Федор Кузьмич (Тетерников; 1863—1927) родился в Петербурге. Окончил Петербургский учительский институт (1882) и три года учительствовал в г. Крестцах Новгородской губернии, затем четыре года в Великих Луках. Преподавал математику. В 1907 г. вышел в отставку и стал заниматься только литературой.

Еще в 90-х годах получил известность как один из первых символистов. В 1905—1906 гг. сотрудничал в сатирических журналах, написал ряд стихотворений, обличавших царское самодержавие. Поражение революции 1905 г. привело к усилению упаднических настроений в творчестве поэта. Ф. Сологуба, как проповедника культа смерти, резко критиковал М. Горький, ценивший, однако, технику его стиха.

Сологуб приветствовал свержение самодержавия, Октябрьскую революцию во многом не понял.

Стихотворения Ф. Сологуба печатаются по тексту издания: Федор Сологуб. Стихотворения. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1975.

Ангел благого молчания (стр. 111).— Посвящено В. Брюсову.

«Когда звенят согласные напевы...» (стр. 112).— Стихотворение связано с циклом Ф. Сологуба «Звезда Маир», в котором упоми-

нается «земля Ойле», по-видимому, названная по имени Оле-Лукойе, героев одноименной сказки Андерсена, братьев, олицетворяющих сон и смерть.

«Оргийное безумие в вине...» (стр. 113).— На содержании стихотворения отразилась концепция «дионисийства» Ф. Ницше (см. прим. на стр. 460 наст. изд.).

Иван-Царевич (стр. 116).— Стихотворение навеяно событиями русско-японской войны, начавшейся 27 января 1904 г. Несмотря на героизм, проявленный солдатами и моряками, русская армия терпела поражение за поражением и несла огромные потери.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) родился в Москве. Учился в частной школе, организованной семьей известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Учился на филологическом факультете Московского университета. После двух курсов едет в Германию, слушает лекции немецких профессоров. Изучает историю, увлекается учением В. Соловьева о мистической соборности. С 1891 года занимается в Национальной библиотеке Парижа, затем переезжает в Италию. В 1896 году получает степень доктора истории. С 1905 года перебирается в Петербург, становится одним из столпов символизма, его теоретиком и практиком. Для поэзии Вяч. Иванова характерен мистически-религиозный культ изысканной архаической красоты, религиозные искания.

В 1917—1924 годах вел преимущественно научную и культурно-педагогическую деятельность. С 1924 года жил в эмиграции, умер в Италии.

Стихотворения Вяч. Иванова из книги стихов «Кормчие звезды» печатаются по тексту издания: Вячеслав Иванов. Кормчие звезды. Книга лирики. СПб., 1903; из книги стихов «Прозрачность» — по тексту издания: Вячеслав Иванов. Прозрачность. Вторая книга лирики. М., 1904; из сборника «Cor ardens» — по тексту издания: Вячеслав Иванов. Cor ardens, части 1—2. СПб., 1911—1912.

Покорность (стр. 124).— Первый эпиграф — из стихотворения А. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла»; второй эпиграф — слова Старика из поэмы А. Пушкина «Цыганы». *Эон* (Айон) — сын Хроноса, олицетворение вечного времени (греч. миф.).

Листопад (стр. 126).— *Пан* — в греческой мифологии сын бога Гермеса, божество, олицетворяющее всю природу. Пан, сопровождаемый нимфами, бродил по горам, звуками свирели и песнями собирая стада. *Аквилон* — северный ветер.

Тризна Диониса (стр. 127).— В стихотворении отразилась концепция «дионисийства» Ф. Ницше (*Дионис (Вакх)* — греческий бог вина,

символ умирающей и возрождающейся природы), впервые изложенная им в работе «Происхождение трагедии из духа музыки» (русский перевод. СПб., 1899). Эта концепция получила широкое распространение в среде русских символистов в 1900-е годы. «Дионисийство» воплощает стихийное, внеразумное и внеправственное «органическое» начало. «Сущность *Дионисиевского*,— писал Ф. Ницше, — ...мы можем представить себе яснее при помощи ее аналогии *опьянения*» (указ. соч., с. 11). *Менады* — спутницы Диониса (г р е ч. м и ф.). *Мельпомена* — муза трагедии (г р е ч. м и ф.).

О р ф е й (стр. 128).— Имеется в виду античный миф об *Орфее*, спустившемся в преисподнюю, царство мертвых *Аид*, за умершей супругой Евридикой. *Эринии* — богини мщения, обитательницы Аида (г р е ч. м и ф.). *Горгона* — чудовище в виде женщины; все, смотревшие на нее, превращались в камень (г р е ч. м и ф.). *Харита* — божество-олицетворение женской прелести (г р е ч. м и ф.). *Пеан* — песня-молитва, обращенная к Пеану (божеству — отвратителю зла; г р е ч. м и ф.).

Т и х и й   ф и а с (стр. 129).— *Фиас* (тиас) — торжественное шествие в честь Диониса. *Фимела* — жертвенник, около которого в праздники Диониса дифирамбические хоры совершали свои пляски и песни. *Титаны* — бессмертные существа, дети Земли и Неба. Вели борьбу с Зевсом, но были побеждены и низвергнуты в Тартар (преисподнюю; г р е ч. м и ф.).

П р о з р а ч н о с т ь (стр. 130).— ... *челе Джоконды*.— Имеется в виду так называемая «Джоконда» — знаменитый портрет Моны Лизы великого итальянского художника Леонардо да Винчи (1452—1519). ... *покрывало Майи*...— Майя — богиня, символизирующая призрачность и таинственность мира (и н д. м и ф.).

Х в а л а   С о л н ц у (стр. 131).— *Венец страстотерпный. // Христа-Геракла*...— Характерное для Вяч. Иванова соединение античной и евангельской символики: страждущий бог выступает в облике то Христа, то Диониса, то Геракла, героя античных мифов.

С е р д ц е   Д и о н и с а (стр. 133).— *Амфитрита* — жена Посейдона, бога моря, владычица морей (г р е ч. м и ф.). *Сердце отрока Загрея, обреченного Титанам*...— Согласно учению орфиков (последователей религиозного учения, основателем которого считался мифический поэт Орфей), Дионис, под именем Загрея, впервые был рожден Персефоной, богиней земного плодородия. Загрея растерзали и съели титаны. Впоследствии его вновь родила Семела, дочь фиванского царя Кадма. По учению орфиков, все люди носят в себе наряду с грубым естеством титанов, от которых они произошли, частицу божественного Диониса, вкушенную их предками. *Гея* — мать титанов, олицетворение Земли (г р е ч. м и ф). *Ниса* — место, где нимфы воспитали Диониса (г р е ч. м и ф.).

Н а   б а ш н е (стр. 134).— Стихотворение посвящено Лидии Дмитриевне *Зиновьевой-Аннибал* (1866—1907), писательнице, жене Вяч. Иванова. *Башня*.— Так называли петербургскую квартиру Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, находившуюся на седьмом этаже, увенчанном башней. С осени

1905 г. по весну 1907 г. на «средах» Иванова собиралась литературно-художественная интеллигенция, связанная с «новым искусством». *Сивилла* — прорицательница (греч.).

Медный всадник (стр. 134).— *Пальмира* — здесь: Петербург. *Ариадна, с кубком рьяным...*— Ариадна — критская царевна; спасла героя Тезея из лабиринта чудовища Минотавра; впоследствии стала жрицей и супругой Диониса (Вакха; греч. миф.). *Все смесилось, // Погасилось в волнах сизых...*— Ср. в стихотворении Ф. Тютчева: «Тени сизые смесились...» *Слышу медного скаканья // Заглушенный тяжкий топот...*— реминисценция из «Медного всадника» А. Пушкина.

Фейерверк (стр. 140).— Стихотворение посвящено Константину Андреевичу *Сомову* (1869—1939), художнику, одному из организаторов группы «Мир искусства», автору фронтисписа к сборнику «Cor ardens» (см. иллюстрации к тому). *Саламандры* — духи огня (по средневековым поверьям).

Москва (стр. 141).— *Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель-символист.

Сфинксы над Невой (стр. 141).— *Фивы* — греческое название города Уасет, столицы Древнего Египта (периода Нового Царства). *Изида* (Исида) — древнеегипетская богиня плодородия, воды и ветра, олицетворение супружеской верности и материнства.

Собор св. Марка (стр. 144).— *Собор св. Марка* в Венеции построен в 829—832 гг. (перестроен в 1073—1095 гг.; фасад завершен в XV в.). Над центральным порталом поставлены четыре бронзовых коня IV—III вв. до н. э., привезенных в 1204 г. из Константинополя. Бронзовые византийские двери XI в. *С книгой лев* — герб Венецианской республики.

Поэт (стр. 144). — *Пинд* — горный хребет, которым владел Аполлон (греч. миф.). *Киферон* — гора, где находилась пещера — приют нимф-прорицательниц (греч. миф.).

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Белый Андрей (псевд.; наст. имя — Бугаев Борис Николаевич; 1880—1934) родился в Москве. Окончил естественное отделение математического факультета Московского университета. Постоянно интересовался как точными науками, так и мистическими и религиозными учениями востока и запада (теософией и оккультизмом, философией В. Соловьева, А. Шопенгауэра, Р. Штейнера, неокантианством). Первая книга вышла в 1902 году («Драматическая симфония» — ритмическая проза), первый сборник стихов — «Золото в лазури» (1904), где выступил вполне сложившимся поэтом. Сборник «Пепел», посвященный памяти Некрасова (1909), создан под влиянием революционных событий 1905 года. А. Белый был теоретиком «младшего» символизма.

В послеоктябрьский период творчества писал преимущественно прозу: историческую эпопею «Москва», повести, литературные мемуары.

Стихотворения А. Белого печатаются по тексту издания: Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.— Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1966.

Золотое руно (стр. 146).— *Метнер* Эмилий Карлович (1872—1936) — музыковед, близкий друг А. Белого; руководил музыкальным отделом журнала «Золотое руно».

Маг (стр. 151).— А. Белый писал Э. К. Метнеру в июле 1903 г.: «Вы все еще вспоминаете мне, что я назвал «магом» Валерия Брюсова, но ведь «*магизм*» я понимаю в широком смысле... Брюсов среди магов выдающийся, умный, знающий *маг*, к которому термин «*пророк безвременной весны*» подходит, ибо надвременность очень характерна в Брюсове... В своем стихотворении я и постарался дать изображение идей и *прототипа* Брюсова» (А. Белый Стихотворения и поэмы. М.— Л., «Советский писатель», 1966, с. 582—583).

Деревня (стр. 155).— *Рачинский* Григорий Алексеевич (1853—1939) — председатель московского Религиозно-философского общества, близкий знакомый А. Белого.

Шоссе (стр. 156).— *Философов* Дмитрий Владимирович (1872—1940) — литературный критик и публицист, один из руководителей петербургского Религиозно-философского общества.

Из окна вагона (стр. 157).— *Эллис* — литературный псевдоним Льва Львовича Кобылинского (1879—1947), поэта-символиста, переводчика и критика, близкого друга А. Белого.

Телеграфист (стр. 158).— *Величкин С. Н.*— знакомый А. Белого, друг молодости С. М. Соловьева.

Арестанты (стр. 161).— *Поливанов* Владимир Павлович — детский писатель, близкий к символистам.

Родина (стр. 164).— *Свентицкий* Валентин Павлович — религиозный философ и публицист, впоследствии священник.

Праздник (стр. 168).— *Гофман* Виктор Викторович (1884—1911) — поэт и прозаик, примыкал к символистам. *А джиорно* (от франц. á giorno) — искусственное освещение. *Контреданс*, *chinoise* — фигуры кадрили. *Гри-деперль* — жемчужно-серый.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909) родился в Омске. Окончил филологический факультет Петербургского университета в 1879 году. Преподавал древние языки, античную литературу и русскую словесность. Был директором гимназий в Киеве, Петербурге, затем в Цар-

ском Селе (1896 г.), где работал до конца своей жизни. Считался крупным педагогом.

Впервые выступил в печати на рубеже века с критическими статьями, трагедиями на античные сюжеты и переводами из Горация, Гейне, Бодлера, Верлена, Малларме.

При жизни выпустил единственную книгу стихов «Тихие песни» (1904) под псевдонимом «Никто». В 1910 году (посмертно) вышел «Кипарисовый ларец» — основной труд поэта, и в 1923 году — «Посмертные стихи». Творчество Анненского, отличающееся тонкостью раскрытия душевного мира, в лучших своих образцах преодолевает декаденство за счет искренности и точности лирического переживания.

Стихотворения И. Анненского печатаются по тексту издания: Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1959.

То было на Валлен-Коски (стр. 173).— *Валлен-Коски* — водопад на реке Вуоксе.

Кошмары (стр. 174).— «*Шелест крови*».— Цитата из XV главы повести И. С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)»: герою повести чудится, что «кто-то шепчет ему на ухо... «Стук сердца, шелест крови»,— подумал он».

Киевские пещеры (стр. 175).— В стихотворении описываются так называемые «дальние» пещеры Киево-Печерской лавры, очень низкие и узкие, с могилами и «мощами».

Песни с декорацией. Гармонные вздохи (стр. 185).— «*Громобой*» — крейсер, входивший в состав русской тихоокеанской эскадры во время русско-японской войны. *Артур* — Порт-Артур. *Бой* (от англ. «boy» — мальчик) — распространенное в начале XX в. в русских городах Дальнего Востока название мужской прислуги. *Резиденция* — здесь: столица.

Старые эстонки (стр. 190).— В стихотворении имеются в виду революционные события 1905—1906 гг. в Эстонии.

ПЕТР ПОТЕМКИН

Потемкин Петр Петрович (1886—1926) родился в г. Орле. Был ведущим сотрудником и автором «Сатирикона» и «Нового Сатирикона».

В стихах широко использует и пародирует поэтику мещанского романса, идет от народного раешного стиха. Был мастером жанровых городских зарисовок в ироническом стиле.

После революции эмигрировал и умер в Париже.

Стихотворения П. Потемкина печатаются по тексту издания: Поэты «Сатирикона». М.— Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1966; стихотворения «Манифест и таратайка», «Он был проку-

рор из палаты...», «Скульптору Андрееву», «На выставке «Треугольник» — по тексту издания: Русская эпиграмма второй половины XVIII — начала XX в. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1975.

Свобода, Сожаление и Читатель (стр. 193).— Потемкин иронизирует здесь над царским манифестом 17 октября 1905 г. Перепев басни Козьмы Пруткова «Пастух, молоко и читатель».

Дубасов и Свечка (стр. 193).— *Дубасов* Ф. В. (1845—1912) — московский генерал-губернатор, руководивший жестоким подавлением декабрьского вооруженного восстания 1905 г.

Манифест и таратайка (стр. 194).— *Пук манифестов* — намек на манифест 17 октября.

«Он был прокурор из палаты...» (стр. 194).— Перепев стихотворения П. И. Вейнберга «Он был титулярный советник...». *Палата* — судебная палата. «*Сто третья*» — статья 103 Уголовного уложения, предусматривающая наказание лиц, виновных «в оскорблении царствующего императора...».

Скульптору Андрееву (стр. 195).— Речь идет о памятнике Гоголю (1909) скульптора Николая Андреевича *Андреева* (1873—1932). Гоголь изображен в последний период его жизни — период творческого кризиса писателя.

На выставке «Треугольник» (стр. 195).— Речь идет о выставке работ русских художников в Петербурге в 1910 г. *Шмит-Рыжова* Л. Ф.— художница, представившая на выставку несколько этюдов. *С. Городецкий* — поэт (о нем см. ниже), представивший несколько этюдов. «*Моя сестра*» — картина художника Владимира Давидовича Бурлюка «Портрет сестры». «*Зимняя баня*» — этюд «Баня (Зимний вид)» поэта и художника Давида Давидовича Бурлюка (1882—1967). *Статуэтка* — по-видимому, одна из скульптур работы Л. П. Афанасьевой.

Идиллия (стр. 199).— *Маркса околоточный изъял.*— Имеется в виду издатель и книгопродавец А. Ф. Маркс (1838—1904), выпускавший журнал «Нива».

САША ЧЕРНЫЙ

Черный Саша (псевд.; наст. имя Гликберг Александр Михайлович; 1880—1932) родился в Одессе в семье провизора (аптекаря). Первые публикации в 1904 году в Житомире. С 1905 года — в Петербурге, сотрудничает в сатирических журналах «Зритель», «Молот», «Маски».

Первый сборник стихов «Разные мотивы» (1906, подписан — А. М. Гликберг) запрещен цензурой. В 1906—1907 годах слушает курс лекций в Гейдельбергском университете (Германия). В 1908—1911 годах Саша Черный —

активный сотрудник «Сатирикона». Либеральный интеллигент, в годы реакции отказавшийся от идеалов революции,— предмет едкой сатиры Саши Черного. В ряде стихотворений под маской интеллигентствующего обывателя поэт безжалостно бичевал мещанство в различных сферах общественно-литературной жизни.

С 1920 года в эмиграции, умер во Франции.

Стихотворения Саши Черного печатаются по тексту издания: Саша Черный. Стихотворения. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1960.

Критику (стр. 200).— Этим стихотворением Саша Черный открывал свою первую книгу стихов «Сатиры» (1910).

Ламентации (стр. 200).— *Ламентации* — жалобы, сетования. *Ищем бога, ищем черта...* — намек на «богостроительство» — реакционное философское течение, проникшее в широкие круги буржуазной интеллигенции. *Соловьев* В. С.— см. прим. на стр. 458. *Фрина* — греческая гетера необыкновенной красоты (IV в. до н. э.).

Песня о поле (стр. 202).— *«Хоровод».*— Имеется в виду скабрезная книга австрийского писателя-декадента Артура Шницлера «Хоровод», изданная в русском переводе в 1907 г.

Пошлость (стр. 203).— Стихотворение было напечатано в номере «Сатирикона», целиком посвященном разоблачению пошлости, изображенной на обложке журнала в виде вульгарной женщины. *Барков* И. С. (1731—1768)— поэт и переводчик.

Культурная работа (стр. 204).— *«Остров мертвых»* — картина швейцарского художника-модерниста Арнольда Бёклина; репродукции с этой картины получили очень широкое распространение. *Гучков* А. И. (1862—1936) — лидер монархической партии октябристов.

Отбой (стр. 205).— *«Звездная палата»* — придворная клика сановников, оказывавшая большое влияние на политику Николая II. *Черный кабинет* — шпионское учреждение, следившее за перепиской и тайно вскрывавшее частные письма.

Ночная песня пьяницы (стр. 208).— *Харон* — перевозчик душ умерших в загробное царство (греч. миф.).

Городская сказка (стр. 209).— *Леди Годива* (1040—1080) — жена лорда Лиофрика из Ковентри, отличавшаяся красивой внешностью. Согласно преданию, она просила мужа о смягчении тяжкой участи жителей Ковентри, страдавших от огромных налогов. Лиофрик обещал выполнить ее просьбу при условии, если она покажется обнаженной на рыночной площади. Легенда имеет и другие версии.

Злободневность (стр. 215).— *Пуришкевич* В. М. (1870—1920)— главарь черносотенных организаций, в том числе погромного «Союза Михаила Архангела».

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

ЭПИГРАММЫ

Эпиграммы, принадлежащие перу неизвестных авторов, печатаются по тексту издания: Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Л., Советский писатель («Библиотека поэта». Большая серия), 1975.

Новорожденному кабинету (стр. 224).— *Новорожденный кабинет* — правительство, сформированное в октябре 1905 г. С. Ю. Витте (1849—1915), стремившимся сохранить монархию путем репрессий и незначительных уступок и обещаний либеральной буржуазии. Витте был идейным вдохновителем манифеста 17 октября 1905 г. *Те же столоначальники* — намек на бюрократический характер нового кабинета.

Пять и одна (стр. 224).— *Пять свобод* — неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов, обещанные в манифесте 17 октября 1905 г.

Кто он? (стр. 224).— Эпиграмма на Д. Ф. Трепова (1855—1906), с января 1905 г. петербургского генерал-губернатора и начальника петербургского гарнизона, затем (с апреля 1905 г.) — товарища министра внутренних дел. В дни Октябрьской политической стачки 1905 г. Трепов отдал приказ: «Холостых не давать! Патронов не жалеть!» Назначен в ноябре 1905 г. дворцовым комендантом.

«Господь Россию приукрасил...» (стр. 225).— *Дубасил, трепал* — от фамилий: Дубасов и Трепов. О Дубасове см. прим. на с. 464.

Эпиграмма (на меньшевиков) (стр. 225).— Перепев эпиграммы А. С. Пушкина «На Булгарина». *Нововременец* — сотрудник реакционной газеты «Новое время». *Семеновец* — солдат Семеновского полка; этот полк участвовал в подавлении Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в Москве. *«Октябрист»* — член «Союза 17 октября», монархической партии крупной буржуазии и помещиков, образованной в октябре 1905 г.

Артурцу (стр. 225).— *Артурец* — участник сражения у Порт-Артура во время русско-японской войны 1904—1905 гг.

По поводу двух палат в России (стр. 226).— *Две палаты* — Государственный совет и Государственная дума. Написано в связи с предстоящим открытием I Государственной думы. *Торжествуй же, храбрый росс!* — перефразированная строка из стихотворения Г. Р. Державина «Хор для кадрили».

Выборный, Дума и Тюремщик (стр. 226).— Перепев басни Козьмы Пруткова «Пастух, молоко и читатель».

Тонкий расчет (стр. 226).— *Третья дума.*— В III Государственной думе (ноябрь 1907 — июнь 1912) главной контрреволюционной силой стала партия октябристов.

АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ

Гмырев Алексей Михайлович (1887—1911) родился в Смоленске. С четырнадцати лет — рабочий Николаевского судостроительного завода. Участвует в революционном движении, с 1903 года подвергается арестам. Умер в херсонской тюрьме от туберкулеза. Многие произведения Гмырева погибли в рукописях, отобранных тюремщиками. Основная часть стихотворений опубликована посмертно, составив сборник стихотворений «За решеткой», изданный уже в 1926 году.

Стихотворения А. Гмырева печатаются по тексту издания: У истоков русской пролетарской поэзии. М.—Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1965.

«Гори, мое сердце, бестрепетно, смело...» (стр. 228)—. Стихотворение было известно товарищам Гмырева по воле и в тюрьме, широко использовалось ими в пропагандистской работе.

ФИЛИПП ШКУЛЕВ

Шкулев Филипп Степанович (1868—1930) родился в деревне под Москвой в бедной крестьянской семье. Был отдан десяти лет в учение на фабрику, где изувечил правую руку. Научился писать левой рукой. Принимал участие в декабрьском вооруженном восстании. Стихи начал писать с пятнадцати лет. Первые публикации — в 1890 году. Участвует в суриковском литературном кружке. Организовывает в Москве небольшое издательство, выпускает нелегальную литературу. Печатается в большевистских изданиях. Сборник стихов «Смелые песни» выходит в 1911 году. С 1918 года Ф. Шкулев — член Коммунистической партии.

Стихотворения Ф. Шкулева печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1950.

САМОБЫТНИК

Самобытник (псевд.; наст. имя — Алексей Иванович Маширов; 1884—1943) родился в семье рабочего. Член РСДРП с 1905 г. Сотрудничает в большевистской печати, в газете «Правда» (1912—1914). С 1914 г. на нелегальном положении, в 1916 г. был арестован и сослан в Сибирь. Первая книга стихотворений вышла уже после Октябрьской революции («Под красным знаменем», 1918).

Стихотворения Самобытника печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

Гребцы (стр. 233).— Стихотворение впервые опубликовано в газете «Правда» (26 августа 1912 г.), стало популярной песней революционных рабочих.

АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ

Гастев Алексей Капитонович (1882—1941) — сын учителя, работал слесарем. Революционер-коммунист. Печататься начал в 1904 году в Ярославле. Сотрудничал в «Правде». После Октябрьской революции был активным деятелем Пролеткульта. Вел большую хозяйственную и научно-организационную работу. Основной сборник — «Поэзия рабочего удара» (1918).

Стихотворения А. Гастева печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ

Семеновский Дмитрий Николаевич (1894—1960) в 1912 г. был исключен из духовной семинарии за участие в забастовке. В том же году начал печататься в газетах «Невская звезда» и «Правда». Большое значение для Д. Семеновского имела поддержка М. Горького, общение и переписка с которым продолжались с 1913 по 1935 год.

Стихотворения Д. Семеновского печатаются по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

АЛЕКСАНДР БЛАГОВ

Благов Александр Николаевич (1883—1961) — сын крестьянина, мальчиком поступил на фабрику, участвовал в революционном движении. Писать начал в 1910 году. Активно сотрудничал в революционной печати Иваново-Вознесенска. В советские годы продолжал поэтическую деятельность.

Стихотворение А. Благова печатается по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

НИКИФОР ТИХОМИРОВ

Тихомиров Никифор Семенович (1888—1945) — сын крестьянина. С 1914 года и до конца жизни работал на 1-й электростанции в Петрограде — Ленинграде. Печатался с 1912 года в профсоюзных изданиях. В советские годы совмещал работу на электростанции с сотрудничеством в печати. Участвовал в обороне Ленинграда (1941—1944).

Стихотворение Н. Тихомирова печатается по тексту издания: Революционная поэзия (1890—1917). Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1959.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Бедный Демьян (псевд.; наст. имя Придворов Ефим Алексеевич; 1883—1945) родился в деревне Губовка Херсонской губернии. Окончил на казенный счет военно-фельдшерскую школу (после сельской школы), служил в армии, затем сдал экзамен на аттестат зрелости и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в 1904 году. В 1909 году напечатал первое стихотворение. С 1911 года выступает под псевдонимом Демьян Бедный, в основном в большевистской печати. Член Коммунистической партии с 1912 года. Сотрудник «Правды» с первого ее номера (5 мая 1912 г.).

В произведениях Д. Бедного всегда присутствовал живой дух русской разговорной речи, прибаутки, чувствовалось блестящее знание народного языка (например, стихи, построенные на игре имен и др.). Демьян Бедный успешно развивал жанр русской басни.

Стихотворения Д. Бедного печатаются по тексту издания: Демьян Бедный. Собрание сочинений, т. 1 и 2. М., ИХЛ, 1963—1964.

О Демьяне Бедном, мужике вредном (стр. 241).— С этого стихотворения началось сотрудничество Д. Бедного в большевистской газете «Звезда». Как вспоминает один из редакторов «Звезды» — Н. Г. Полетаев,— после опубликования этого стихотворения приход автора в типографию газеты был встречен возгласом: «Демьян Бедный идет!» «Так,— пишет Полетаев,— эта кличка за ним и осталась, а впоследствии он стал ею подписываться под своими произведениями» (журнал «Октябрь», 1928, № 5, с. 164).

Кукушка (стр. 242).— Написано в связи с празднованием столетней годовщины со дня рождения А. И. Герцена. Эта дата была использована буржуазными политиками для фальсификации образа великого демократа. «Чествует его,— писал В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена»,— вся либеральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался *революционер* Герцен от либерала» (Полн. собр. соч.,

т. 21, с. 255). *Лгун некий...*— Имеется в виду Ф. И. Родачев, один из лидеров кадетской партии.

Лапоть и сапог (стр. 244).— Отклик на столыпинскую земельную реформу. В. И. Ленин назвал эту реформу «помещичьей ломкой старины», которая означает «...насильственное разрушение общины и ускоренное разорение, истребление массы обнищавших хозяйчиков в пользу горстки кулаков» (Там же, т. 16, с. 424).

Бунтующие зайцы (стр. 247).— Басня высмеивает демагогические либеральные выступления октябристов и их лидера А. И. Гучкова.

По словам В. Д. Бонч-Бруевича, В. И. Ленин обратил внимание на эту басню при просмотре книг Д. Бедного, выпущенных большевистским издательством «Жизнь и знание». «Владимир Ильич,— вспоминает Бонч-Бруевич,— пришел в восторг: «Вот это настоящая оппозиция его величества. Вот это, с позволения сказать, русский парламент! Замечательно! Но они-то сами понимают, что Демьян их так разделывает?» («На литературном посту», 1931, № 4, с. 5—6).

Свеча (стр. 247).— *Читатель... помнишь ли те дни...*— Имеются в виду октябрьские дни 1905 г., прошедшие в обстановке шумихи, организованной либеральной и монархической прессой по поводу царского манифеста, в котором были обещаны «основы гражданской свободы». За сравнение манифеста 17 октября с «копеечным огарком» басня была запрещена царской цензурой, а номер журнала «Просвещение» конфискован.

Ерши и вьюны (стр. 249).— При публикации в большевистской газете «Наш путь» басня имела эпиграф, воспроизводивший сообщение «Северной правды» (1913, № 24, 30 августа) о том, что в ответ на очередную вылазку меньшевиков-ликвидаторов «рабочая масса весьма недвусмысленно намекнула ликвидаторам, что ей с ними не по пути». Ликвидаторы изображены в басне под видом *вьюнов*.

Из цикла «Басни Эзопа» (стр. 251).— В 1914—1916 гг. Д. Бедный перевел 32 басни Эзопа. Основным источником, которым он пользовался при этом, была книга «Избранные басни Эзопа. Перевод с греческого». СПб., изд. А. С. Суворина, 1888 (басни даны в этой книге в подстрочных (прозаических) переводах). В свои переводы Д. Бедный вводил новые детали, иногда вписывал целые фразы, порой давал свои концовки.

Плакальщицы (стр. 251).— В основу сюжета положена басня Эзопа «Богач и плакальщицы».

Брак богов (стр. 252).— Перевод басни Эзопа «Бог богатства».

Тофута Мудрый (стр. 253).— *Тофута.*— Имеется в виду Николай II. *Протоплут.*— Имеется в виду один из ближайших советников Николая II, А. Д. Протопопов, занимавший в последнем составе царского правительства пост министра внутренних дел.

Приказано, да правды не сказано (стр. 255).— Напечатано в газете «Рабочий и солдат» за подписью: «Солдат Яшка — медная

пряжка». Стихотворение разоблачало антинародный характер выдвинутого Временным правительством Керенского лозунга «Война до победного конца». Впоследствии вошло в стихотворную повесть «Про землю, про волю, про рабочую долю» (1920).

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) родился в Петербурге. С детства писал стихи. Учился на историко-филологическом отделении факультета Петербургского университета, где познакомился с Блоком. Первая книга стихов «Ярь» вышла в 1907 году. В ней использованы мотивы древнеславянской языческой мифологии. Во многих стихах сборников «Ярь», «Перун», «Дикая воля» (все — 1907 г.) отразился интерес поэта к «миру горюющему», к жизни простых тружеников, дается критическая оценка действительности.

В 1909 г.— он один из создателей акмеистского «Цеха поэта».

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества поэта см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения С. Городецкого печатаются по тексту издания: Сергей Городецкий. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1974.

Из книги стихов «Ярь» (стр. 256).— Об обстоятельствах создания этой книги С. Городецкий вспоминал: «Летом (1904 г.— *В. К.*) я поехал на «кондиции» (уроки) в усадьбу тогдашней Псковской губернии. Все свободное время я проводил в народе, на свадьбах и похоронах, в хороводах, в играх детей. Увлекаясь фольклором еще в университете, я жадно впитывал язык, синтаксис и мелодии народных песен. Отсюда и родилась моя первая книга «Ярь» (С. Городецкий. Мой путь.— В кн.: «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. I. М., 1959, с. 322).

Рожество Ярилы (стр. 263).— *Несудом* — очень много. *Ярила* — у древних славян бог солнца и любви.

Проводы (стр. 264).— *Рудой* — рыжий, красно-бурый. *Вою* — воину.

Стрибог (стр. 266).— *Стрибог* — см. прим. на стр. 477.

На массовку (стр. 268).— А. В. Луначарский назвал это стихотворение «первым подарком поэта рабочему движению» («Литературное наследство», т. 74, М., 1965, с. 46).

Воля (стр. 269).— Написано в связи с арестом С. Городецкого и заключением его в тюрьму «Кресты» осенью 1907 г. за перевоз из Финляндии в Петербург «историко-революционного альманаха», выпущенного издательством «Шиповник» и запрещенного к распространению в России.

Прощанье (стр. 272).— Написано на Кавказском фронте.

Ахматова Анна Андреевна (Горенко) (1889—1966) родилась в дачном месте под Одессой в семье морского инженера-механика. Детские годы провела в Царском Селе под Петербургом. Окончила гимназию в Киеве в 1907 году. Училась на юридическом отделении Киевских высших женских курсов и на Высших историко-литературных курсах Раева в Петербурге. В 1910—1912 годах путешествовала по Германии, Франции и Италии. Печататься начала в 1907 году. Входила в группу акмеистов («адамистов»), хотя с самого начала резко отличалась от них близостью к русской народной песенной стихии, отнюдь не подтверждая своим творчеством их программу.

Первый сборник стихов вышел в 1912 году («Вечер»). Затем появились «Четки» (1914), где Ахматова проявила себя сложившейся оригинальной поэтессой в жанре интимно-психологической лирики.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества А. Ахматовой см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения А. Ахматовой печатаются по тексту изданий: Анна Ахматова. Избранное. М., «Художественная литература», 1974, и Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1976.

«Не будем пить из одного стакана...» (стр. 279).— Стихотворение посвящено другу Ахматовой поэту и переводчику Михаилу Леонидовичу Лозинскому (1886—1955). Лозинский был редактором литературно-художественного журнала «Аполлон», где печатались ранние стихотворения Ахматовой.

«Со дня Купальницы-Аграфены...» (стр. 282).— *Купальница-Аграфена* — день св. Агриппины, 23 июня, предшествующий дню Ивана Купалы (24 июня). С этим днем в старой русской деревне связаны обрядовые купания.

Венеция (стр 284).— *Золотая голубятня у воды* — собор св. Марка в Венеции; на площади перед собором кормятся стаи голубей.

«Я пришла к поэту в гости...» (стр. 284).— А. Ахматова писала в «Воспоминаниях об Ал. Блоке»: «В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его стихи, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой — Блок». Вот «Стихи о Прекрасной Даме». А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут...» (Анна Ахматова. Избранное. М., 1974, с. 493). *В доме сером и высоком // У морских ворот Невы.*— А. Блок жил на Офицерской улице (ныне ул. Декабристов) в доме № 57, рядом с Балтийским заводом, расположенным у устья Невы.

Царскосельская статуя (стр. 286).— *Н. В. Н.*— Николай Владимирович Недоброво (1884—1919), поэт, друг Ахматовой, выдающийся

знаток русской классической поэзии. *Пред этой девушкой воспетой...*— Имеется в виду стихотворение А. Пушкина «Царскосельская статуя».

«Все мне видится Павловск холмистый...» (стр. 287).— *Кифаред* — статуя Аполлона-кифареда (то есть играющего на кифаре — лютне) в Павловском парке.

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ

Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973) родился в селе Николаевский городок Саратовской губернии в семье преподавателя сельскохозяйственного училища. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1915 году, слушал лекции по философии в Берлине.

Первый сборник стихов — «Дикая порфира» вышел в 1912 году. Зенкевич примыкал к акмеистам.

М. Зенкевич — один из родоначальников советской школы поэтического перевода, в основном с английского языка (современная европейская и американская поэзия).

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества М. Зенкевича см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения М. Зенкевича из книги стихов «Дикая порфира» печатаются по тексту издания: Михаил Зенкевич. Дикая порфира (1909—1911). СПб., 1912; из сборника «Четырнадцать стихотворений» — по тексту этого сборника. Пг., 1918.

Махайродусы (стр. 292).— *Махайродусы* — саблезубые тигры, существовавшие в доисторические времена. *Динотерий* — ископаемое млекопитающее, сходное со слонами и мастодонтами.

Сибирь (стр. 294).— *Бруни* Лев Александрович (1894—1948) — художник. *Стефан Баторий* — польский король с 1576 по 1586 г.

МИХАИЛ КУЗМИН

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936) родился в Ярославле в дворянской семье. Учился композиции в Петербургской консерватории. Печатался в журналах «Весы», «Аполлон», «Золотое руно». Колебался от символизма до акмеизма, сам выдвинул понятие «кларизма» — от латинского корня (clarus), обозначающего «ясность», «прозрачность»; его творчество скорее соответствовало второму значению; стихи Кузмина были подчеркнуто элегантны, иногда переходя в некоторую манерность. Отдельным стихам присущ эротизм, культ чувственных наслаждений. «Александрийские пес-

ни» Кузмина, принимаемые иногда за свободный стих (верлибр), ориентированы на античные размеры.

Кузмин писал и прозу (роман о знаменитом авантюристе и мистике графе Калиостро), романсы и либретто. После Октября в основном переводил, в числе его переводов — «Золотой осел» Апулея, «Король Лир» и «Укрощение строптивой» Шекспира.

Стихотворения из книги стихов «Сети» печатаются по текстам т. I собрания сочинений поэта. Пг., 1915, и издания: Михаил Кузмин. Александрийские песни. Пг., 1921; из книги стихов «Осенние озера» — по тексту издания: Михаил Кузмин. Осенние озера. Вторая книга стихов. М., «Скорпион», 1912.

Мои предки (стр. 296).— *...подражающие д'Орсе и Брюммелю...*— известным денди, законодателям моды — Габриэлю д'Орсе (1801—1852) и Джорджу Брайену Браммелю (Брюммелю; 1788—1840). *...играющие в России «Магомета»...*— Имеется в виду трагедия Вольтера «Магомет» (1742). *Бандо* — повязка в женских нарядах.

«Как песня матери...» (стр. 297).— *Кибела* — фракийская богиня, являющаяся олицетворением матери-природы; почиталась в Греции, где была обобществлена с матерью Зевса Реей. *Ника* — богиня победы; изображалась крылатой (греч. миф.).

«Если б я был древним полководцем...» (стр. 301).— *Хеопс* — пирамида египетского фараона Хеопса (3-е тысячелетие до н. э.), достигающая высоты около 150 метров. *...гробницу Менкаура...*— Менкаур — египетский фараон (3-е тысячелетие до н. э.). *Антиной* — юноша, отличавшийся необыкновенной красотой, любимец римского императора Адриана; утонул, переплывая Нил.

«Весною листья меняет тополь...» (стр. 302).— *Адонис*— олицетворение умирающей и воскресающей природы (греч. миф.).

«Их было четверо в этот месяц...» (стр. 305).— *Луис* Пьер (1870—1925) — французский поэт и прозаик, символист, в ряде произведений стилизовавший античность, в частности эпоху «александризма».

«Что ж делать...» (стр. 307).— *Каллимах* (ок. 310—240 до н. э.) — древнегреческий поэт, представитель «александрийской» школы.

«Солнце, солнце...» (стр. 310).— *Ра-Гелиос* — в древнеегипетской религии бог солнца, творец вселенной, людей и богов. Центром почитания Ра был г. Он (греч. *Гелиополь*). Греки отождествляли Ра с Гелиосом. *Увижу Кипр, дорогой богине...*— На Кипре родилась богиня любви Афродита (греч. миф.).

«Ах, не плыть по голубому морю...» (стр. 312).— *Золотой Рог* — бухта Золотой Рог в Стамбуле. *...голубей и площади Сан Марка* — площади св. Марка в Венеции.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) родился в Петербурге. Окончил Тенишевское училище, директором которого был поэт-символист Вл. В. Гиппиус (псевдоним — Владимир Бестужев), повлиявший на становление литературных интересов начинающего поэта. 1907—1910 годы Мандельштам проводит за границей, слушая лекции по философии, истории и литературе в Сорбонне и Гейдельберге. В 1911 году поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. В это время знакомится с Михаилом Кузминым и Сергеем Городецким. Мандельштам примыкает к акмеистам, сотрудничает в журналах «Аполлон» и «Гиперборей». Первая книга стихов — «Камень» появляется в 1913 году.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества О. Мандельштама см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения О. Мандельштама печатаются по тексту издания: О. Мандельштам. Стихотворения. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1973.

«Сусальным золотом горят...» (стр. 314).— *О, вещая моя печаль...*—перефразировка стиха Ф. Тютчева «О вещая душа моя!..». Поэзия Тютчева оказала сильное воздействие на Мандельштама. Заглавие первого сборника Мандельштама связано со стихотворением Тютчева «С горы скатившись, камень лег в долине...» («Probleme»). В статье «Утро акмеизма» (май 1913 г.) Мандельштам писал, что акмеисты поднимают «тютчевский камень» и кладут его «в основу своего здания» («Сирена». Воронеж, 1919, № 4—5, с. 71).

Айя-София (стр. 320).— *Айя-София* — храм св. Софии в Константинополе, после завоевания столицы Византии турками — мечеть. *Юстиниан* — византийский император (483—565), в царствование которого был выстроен храм св. Софии. *Эфесская Диана* — храм Дианы (Артемиды) в г. Эфесе, причисленный к «семи чудесам» древнего мира. По повелению Юстиниана колонны из храма Дианы Эфесской были поставлены в храме св. Софии. *Апсиды и экседры* — алтарные выступы в церковной архитектуре. *Паруса* — треугольные сферические своды (имеющие сходство с надутым парусом), на которые опирается кольцо купола; впервые были применены в храме св. Софии.

Петербургские строфы (стр. 320).— *Правовед* — ученик Училища правоведения (привилегированного учебного заведения). *Евгений* — герой поэмы Пушкина «Медный всадник».

Кинематограф (стр. 322). — В стихотворении пародируется «авантюрно-великосветский» сюжет дореволюционной русской кинематографии. *Гитана* — цыганка.

Посох (стр. 323).— Тема и образы стихотворения связаны со статьей О. Мандельштама о Чаадаеве (1914).

«З о л о т и с т о г о м е д а с т р у я и з б у т ы л к и т е к л а...» (стр. 326).— Стихотворение написано после посещения дачи художника С. Ю. Судейкина в Алуште в августе 1917 г.

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

В о л о ш и н М а к с и м и л и а н А л е к с а н д р о в и ч (Кириенко-Волошин; 1878—1932) родился в Киеве. Детство прошло в Феодосии, юность — в Москве. В 1897 году поступил на юридический факультет Московского университета, откуда исключен в 1900 году за участие в студенческих беспорядках и сослан в Ташкент. В 1901 году поступил в Берлинский университет, затем уезжает в Париж. До 1916 года живет то в Европе, то в Коктебеле в Крыму. Путешествовал в Египет и пешком обошел ряд стран Европы. Занимается литературой и живописью (в основном пейзажем, акварелью). С 1917 года до самой смерти безвыездно жил в Крыму.

В стихах М. Волошин тяготел к натурфилософской лирике, к южному («киммерийскому») пейзажу, к зримости описания картин природы, которую он стремился изобразить через призму истории и культуры.

Стихотворения М. Волошина печатаются по тексту книги: М а к с и м и л и а н В о л о ш и н. Стихотворения. 1900—1910. М., 1910.

А к р о п о л ь (стр. 329).— В стихотворении изображен афинский *Акрополь*, *Пропилеи*, служившие входом на Акрополь, второй по величине храм — *Эрехтейон*, *театр Диониса*, находившийся у подножия Акрополя. *Кефиз* (Кефис) — река в Аттике, орошает равнину, на которой расположены Афины.

С т а р ы е п и с ь м а (стр. 330).— Стихотворение посвящено Александре Васильевне *Гольштейн* (1849—1947) — писательнице, переводчице, другу М. Волошина.

К и м м е р и й с к и е с у м е р к и (стр. 331).— Цикл посвящен художнику *К. Ф. Богаевскому* (1872—1943), члену объединения «Мир искусства», иллюстрировавшему сборник М. Волошина «Стихотворения. 1900—1910». В дореволюционный период творчества писал главным образом пейзажи Восточного Крыма. В 1918 г. в сборнике «Иверни (Избранные стихотворения)» цикл напечатан в измененном виде: с новым названием «Киммерия», была снята часть стихотворений, опубликованы новые. *Киммерия* — древнее название Восточного Крыма (район Керченского пролива), по имени киммерийцев — древнейшего из известных в науке племен, населявших Северное Причерноморье.

M a r e i n t e r n u m (стр. 334).— *Mare internum*.— Согласно древним представлениям, земля омывалась огромным «внешним» морем и заключала в себе «внутреннее» море — Средиземноморье. *Тавриз* (Тебриз) — город на севере Ирана. *Кадикс* (Кадис) — город на юге Испании, вблизи Гибралтар-

ского пролива. *Геракл* (Геркулес) — в античной мифологии герой, одним из подвигов которого было воздвижение Геракловых столбов (Гибралтарского пролива). *Стикс* — река подземного царства (г р е ч. м и ф.).

Г р о з а (стр. 335).— *Див кличет по древию, велит послушати // Волзе, Поморью, Посулью, Сурожу...*— Цитата—пересказ из «Слова о полку Игореве». *...весть Стрибожью...*— Стрибог — бог ветра у древних славян. *Сурож* — древнерусское название города Судака (Восточный Крым).

О б л а к а (стр. 336).— *Эринии* — в греческой мифологии богини мщения. *Ассуры* (Асуры) — в древнейшей санскритской литературе название демонов, враждебных богам.

С е х м е т (стр. 336).— *Сехмет* — в древнеегипетской мифологии богиня солнечного зноя и войны. Изображалась с головой льва и диском вокруг головы.

О д и с с е й в К и м м е р и и (стр. 337).— *Персефона* — богиня плодородия и подземного царства (г р е ч. м и ф.).

C o r o n a A s t r a l i s (стр. 338).— Раздел «Corona Astralis» посвящен поэтессе *Елизавете Ивановне Дмитриевой* (в замужестве — Васильевой; 1887—1928), знакомой М. Волошина. В 1909 г. под именем иностранной аристократки «Черубина де Габриак» напечатала ряд стихотворений в журнале «Аполлон». М. Волошин принимал участие в этой мистификации.

В е н о к с о н е т о в (стр. 338).— *Фавор* — гора, упоминаемая в Библии *...от Орковых ключей...*— Орк — в римской мифологии божество смерти, доставлявшее тени людей в подземное царство. *Пелид* — сын Пелея, Ахилл (один из героев «Илиады» Гомера). *Лаокоон* — троянский жрец. Погиб вместе с двумя сыновьями от мести богини Афины (его задушили две змеи, посланные богиней). *Грааль* — по преданию, чаша, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Христа.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

Х л е б н и к о в В е л и м и р (Виктор Владимирович; 1885—1922) родился в Астраханской губернии в семье попечителя учебных заведений. После окончания гимназии учился на математическом отделении Казанского университета (1903 г.), затем с 1904 года на естественном отделении. С 1908 года — на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

Жил в Петербурге, затем в Москве, на Украине, в Баку, много странствовал по России. Первое выступление в печати — в сборнике футуристов «Садок судей» (1908—1909) (вып. 1). К 1912 году относится встреча Хлебникова с В. Маяковским. Является одним из основателей русского футуризма. В поэтической практике выходил за пределы футуризма («будетлянства») — к эпике.

В 1916 г. призван на военную службу. Написал ряд произведений, выражающих протест против войны.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества В. Хлебникова см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения В. Хлебникова печатаются по тексту издания: В. Хлебников. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1960.

Кузнечик (стр. 346).— *Вер* — камыш. *Зинзивер* — маленькая птичка, живущая у реки (прим. Хлебникова).

«Мы желаем звездам тыкать...» (стр. 347).— *Остраница* Степан — казацкий атаман, боровшийся в XVII в. за освобождение Украины от польского владычества. *Платов* М. И. (1751—1818) — атаман Донского войска, один из героев войны 1812 г. *Бакланов* Я. П. (1808—1873) — атаман донских казаков, отличившийся в военных действиях на Кавказе. *Морозенко* — герой украинских народных песен. *Святослав* Игоревич — великий князь киевский (ок. 945—972). *Ослабя* — инок, погибший в битве на Куликовом поле (1380).

Алферово (стр. 348).— *Алферово* — имение в бывшей Симбирской губернии, где Хлебников бывал в 1910—1911 годах. *Гуниб* — горный аул, где в 1859 г. был взят в плен Шамиль.

Перуну (стр. 350).— *Бог, водами носимый...* — По принятии христианства киевский князь Владимир Святославович (978—1015) приказал сбросить в Днепр огромный деревянный идол Перуна (верховного божества и бога грома и молнии у древних славян). *Миял* — миновал (прим. Хлебникова). *Ренъ* — отмель, низкий берег. *Рогнеда* — жена князя Владимира. *Нав* (навь)— мертвец.

Написанное до войны (стр. 351).— Это название было дано стихотворению при включении его в сборник «Четыре птицы» (1916). *Насады* — речные суда, лодки. *Неясыть* — порог на Днепре. *Знаменитый сок Дуная // Наливая в глубь главы.*— По летописному преданию, Святослав был убит и обезглавлен на днепровских порогах печенегами, хан которых сделал из его черепа чашу для пиров.

Тризна (стр. 353).— *Ниц вемы* — ничего не знаем (польск.).

Курган (стр. 353).— Поводом к написанию стихотворения послужил найденный при раскопках в кургане старинный крест. *Железный лик Еврея* — икона с изображением Христа.

«Усадьба ночью, чингисхань!..» (стр. 355).— *Чингисхань* — от имени монгольского хана Чингисхана (ок. 1155—1227). *Заратустрь* — от имени Заратустры, мифического пророка. *Моцарть* — от имени Моцарта. *Роопсь* — от имени бельгийского художника Ф. Роопса (Ропса; 1833—1898). *Газдрубал* — имя нескольких карфагенских полководцев.

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

Каменский Василий Васильевич (1884—1961) родился в семье смотрителя золотых приисков. Шестнадцати лет стал работать конторщиком в бухгалтерии Пермской железной дороги. Занимался газетной публицистикой. Увлекается театром, едет в Москву, где становится сезонным актером, кочует по России. В 1903 году в Николаеве попадает в труппу В. Э. Мейерхольда, повлиявшего на духовное становление поэта. С 1904 года снова на Урале, работает таксировщиком на товарной станции Нижне-Тагильского металлургического завода. Начинает вести подпольную революционную пропаганду. За организацию забастовки в 1905 году арестован и был заключен в тюрьму.

В. Каменский сближается с Бурлюком и Маяковским, принимает участие в издании футуристических сборников — «Рыкающий Парнас» (1914), «Первый журнал русских футуристов» (1914), «Весеннее контрагентство муз» (1915) и др. В 1914 году выпускает книжечку пятиугольного формата «Танго с коровами».

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества В. Каменского см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения В. Каменского печатаются по тексту издания: Василий Каменский. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1966.

Зеленые деды (стр. 360).— *Совины* — старые ели, на которых гнездятся совы.

Танго с коровами (стр. 365).— *Славоросов* Харитон Никанорович (1886—1941) — один из первых русских авиаторов.

Тифлис (стр. 365).— *Зурна* — духовой музыкальный инструмент, распространенный на Востоке. *Сазандарий* — ансамбль народных кавказских инструментов. *Таши* — хлопанье ладонями во время танца, аплодисменты. *Генацвале* — милый, дорогой.

Бурли, журчей (стр. 371).— *Холодная* Вера Васильевна (1893—1919) — популярная киноактриса.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Северянин Игорь (псевд.; наст. имя — Лотарев Игорь Васильевич; 1887—1941) родился в Петербурге. Мать была дальней родственницей А. Фета (урожденная Шеншина). Учился в Череповецком реальном училище. Впервые опубликовался в 1905 году. Вначале причислял себя к последователям «чистой лирики» К. Фофанова и М. Лохвицкой. Отрицательно отзываясь о «ресторанно-будуарной» тематике Северянина, М. Горький ценил

лирическое дарование поэта. С 1911 года И. Северянин провозгласил новое течение — «эгофутуризм». После Октябрьской революции эмигрировал, выпускал сборники стихов за границей, где тосковал по России. Приветствовал восстановление Советской власти в Эстонии, где он жил в последние годы.

Стихотворения И. Северянина печатаются по тексту издания: Игорь Северянин. Стихотворения. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Малая серия), 1975.

Мороженое из сирени! (стр. 373).— *Буше* — кусок, порция (франц.). *Вирелэ* — шестистрочная строфа в старофранцузской поэзии.

Эпилог (стр. 375).— *Баязет* — город в Турции, на границе с Россией. *Я — год назад — сказал: «Я буду!»* — В 1911 г. И. Северянин провозгласил в поэзии новое «течение», названное им «эгофутуризмом». *Нас стало четверо.*— К эгофутуризму И. Северянина примкнули Г. Иванов, Грааль-Арельский (С. Петров) и К. Олимпов. *Бежали двое.*— Г. Иванов и Грааль-Арельский вскоре присоединились к группе акмеистов.

Валерию Брюсову (стр. 377).— Написано в ответ на послание В. Брюсова «Игорю Северянину» («И ты стремишься ввысь, где солнце — вечно...»). См. В. Брюсов. Собрание сочинений в семи томах, т. 2. М., 1973, с. 202. *Акростих* — стихотворение, в котором из первых букв каждой строки составляются слова.

На Островах (стр. 378).— *Острова* — традиционное место гуляний в Петербурге (Каменный и Елагин острова). *Ландо* — здесь: автомобиль. *Гривуазно* — нескромно, вульгарно. *Рокамболь* — персонаж авантюрных романов «Похождения Рокамболя» французского писателя Понсон дю Террайля (1829—1871).

Она критикует (стр. 379).— *Фофанов* Константин Михайлович (1862—1911) — поэт. И. Северянин был знаком с Фофановым, считал его своим учителем в поэзии, посвятил ему целый ряд стихотворений, создав в них настоящий культ Фофанова.

Крымская трагикомедия (стр. 381). — Эпиграф из стихотворения И. Северянина «Пролог» (1911). *«Громокипящий кубок»* — сборник стихотворений И. Северянина (1913), принесший ему известность. *Гора Гудала* — Казбек. Гудал — отец Тамары, грузинский князь, персонаж поэмы М. Лермонтова «Демон». *Бордигера* — курорт в Италии на берегу Лигурийского моря. *Трам* — трамвай. *Кавальери* Л. (1874—1944) — итальянская оперная певица, гастролировавшая в Петербурге в 1907—1910 гг.

Музей моей весны (стр. 385).— *«Весенний день»* — стихотворение И. Северянина (1911).

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Клюев Николай Алексеевич (1887—1937) родился в онежской глуши в Олонецкой губернии. Много скитался по русскому Северу, был связан со старообрядцами и сектантами. Мать была плачея и сказительница. В 1905 году был связан с большевиками, арестован за распространение прокламаций. В 1911 году сближается с религиозно-литературными кругами в Москве. В 1912 году появляется его первая книга стихов «Сосен перезвон» с предисловием Брюсова.

В дореволюционной поэзии стоял вне литературных течений, опираясь на народную фольклорную традицию и духовные стихи.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества Н. Клюева см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения Н. Клюева «Я надену черную рубаху...», «Я — мраморный ангел на старом погосте...», «Старуха», «Пашни буры, межи зелены...», «Изба-богатырица...», «Оттепель — баба хозяйка...» и «Льнянокудрых тучек бег...» печатаются по тексту кн.: Н. Клюев. Изба и поле. Л., 1928; стихотворение «Пропитущая песня» — по кн.: Н. Клюев. Неувядаемый цвет. Вытегра, 1920; остальные — по тексту издания: Николай Клюев. Песнослов, ч. I. Пг., 1919.

Досюльная (стр. 391).— *Досюльная* — старинная (диалект.).

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

Асеев Николай Николаевич (1889—1963) родился в городе Льгове Курской губернии в семье страхового агента. Окончил Курское реальное училище в 1909 году. Учился в московском Коммерческом институте и в то же время слушал лекции на филологическом факультете университета. В 1914 году выпустил первый сборник стихов «Ночная флейта». Во время первой мировой войны был призван в армию. Избирался в Совет солдатских депутатов в 1917 году.

Дореволюционный Асеев обретал свой голос сквозь подражания символистам, увлечение В. Хлебниковым с его экспериментаторским отношением к слову, много черпает в древнерусской устной и письменной словесности. Огромное значение для Асеева имело его сближение с Маяковским.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества Н. Асеева см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения Н. Асеева печатаются по тексту издания: Николай Асеев. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1967.

М о с к в е (стр. 398).— *Локс* Константин Григорьевич (1886—1956) — литературовед, педагог, участник объединения «Лирика». *Как грянет в ночь Иван: «Прийди!»* — Имеется в виду колокольня Ивана Великого в Кремле.

З в е н ч а л ь (стр. 399).— В сборнике Н. Асеева «Зор» (1914) было опубликовано под названием «Звенчаль конная, пенная немецкой стали!» *Тулумбас* — старинный музыкальный инструмент, род литавр. *Истрь* (Истр) — древнее название Дуная.

О б ъ я в л е н и е (стр. 399).— Н. Асеев вспоминал в 1929 г.: «Помню, как шел однажды по улице и в глаза мне бросилась вывеска над сенной лавкой: «Продажа овса и сена». Близость звучания ее и похожесть на надоевший церковный возглас: «Во имя отца и сына» — создало в воображении пародийную строку из этих двух близко звучащих обиходных словесных групп...» (Н. А с е е в. Работа над стихом. Л., 1929, с. 54).

В е н г е р с к а я п е с н ь (стр. 400).— Н. Асеев писал об этом стихотворении: «В 1914 году, вскоре после объявления войны под влиянием или вернее наперекор влиянию всеобщего шовинистического настроения, я попытался ответить на него следующим стихотворением: «Простоволосые ивы...» Стихи были лиричны и окрашены отчасти любовной темой; поэтому их установка была недостаточно ясна, но написаны они были искренно; упор их был против квасного патриотизма и солдатчины» (Т а м ж е, с. 55).

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Т о л с т о й А л е к с е й Н и к о л а е в и ч (1883—1945) родился в Николаевске (ныне Пугачев). Воспитывался в имении отчима. В 1906 году окончил технологический институт в Петербурге. В 1905 году выступил в печати со стихами. Известность молодому писателю принесли рассказы и повести о разоряющемся поместном дворянстве. В 1918 году эмигрирует в Париж, затем переселяется в Берлин. В 1923 году возвращается на родину.

Стихотворения А. Толстого печатаются по тексту издания: А. Н. Т о л с т о й. Полное собрание сочинений, т. I. М., Гослитиздат, 1950.

И з ц и к л а «С о л н е ч н ы е п е с н и» (стр. 403).—В 1913 г. для тома стихов своего собрания сочинений А. Толстой переработал большинство стихотворений из сборника «За синими реками» (1911), разбив их на два цикла: «Солнечные песни» и «За синими реками». Тому было предпослано следующее предисловие автора: «Эта книга — первое, что я написал. Мне казалось, что нужно сначала понять первоосновы — землю и

солнце. И, проникнув в их красоту через образный, простой и сильный народный язык, утвердить для самого себя — что за и что нет, и тогда уже обратиться к человеку, понять которого без понимания земли и солнца мне не представлялось возможным. Верен ли этот избранный, быть может бессознательно, путь — укажет дальнейшее».

БОРИС ПАСТЕРНАК

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) родился в Москве в семье известного художника Л. О. Пастернака. Окончил гимназию, затем философское отделение историко-филологического факультета Московского университета (1913). Изучал философию в Марбургском университете в Германии (лето 1912 г.). С первыми стихами выступил в 1913—1914 годах.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества Б. Пастернака см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения Б. Пастернака печатаются по тексту издания: Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.— Л., «Советский писатель» «Библиотека поэта». Большая серия), 1965.

Петербург (стр. 413).— *Кнастер* — сорт трубочного табака. *Прапор* — знамя.

«Оттепелями из магазинов...» (стр. 415).— *Фирн* — слежавшийся крупинками снег.

Памяти Демона (стр. 418).— Этим стихотворением открывается книга стихов Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь». «Я посвятил «Сестру мою жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас,— писал впоследствии Б. Пастернак,— его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года?— Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни» (Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1965, с. 632).

Книга «Сестра моя — жизнь», в которую вошли «Памяти Демона» и последующие в данной публикации стихотворения, отнесена самим поэтом к лету 1917 года.

Зеркало (стр. 420).— *Месмеризм* — способность человека воздействовать на людей или предметы посредством внутреннего психического внушения.

«Давай ронять слова...» (стр. 424). — Эпиграф взят из стихотворения Б. Пастернака «Балашов». *Марена* — растение, из корней которого добывается красная краска. *Ягайло и Ядвига* — литовский князь

и польская королева, брак которых положил начало польско-литовской унии (1386).

Послесловье (стр. 425).— *Кошениль* (червец) — насекомое, садовый вредитель; из кошенили изготовляли красную краску — пурпур.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) родилась в Москве в семье известного профессора-искусствоведа И. В. Цветаева. Окончила гимназию в 1908 году. Слушала историю литературы в Сорбонне. Стихи печатала с шестнадцати лет. В 1922 году эмигрировала в Берлин, затем жила в Праге и в Париже. В 1939 году вернулась на родину.

Резко отличаясь от Ахматовой темпераментом и экспрессивным стилем, она сближается с ней в речевых истоках, уходящих в глубь русской народной песенной лирики.

Стихотворение М. Цветаевой «Посадила яблоньку...» печатается по изданию: Марина Цветаева. Избранное. М., ГИХЛ, 1961; остальные стихотворения печатаются по тексту издания: Марина Цветаева. Избранные произведения. М.— Л., «Советский писатель» («Библиотека поэта». Большая серия), 1965.

«Идешь, на меня похожий...» (стр. 426).— В марте 1914 г., посылая одному из друзей свои стихи, в том числе «Идешь, на меня похожий...», Цветаева писала: «Я совсем не верю в существование бога и загробной жизни. Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти... Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить» (Марина Цветаева. Избранные произведения. М.— Л., 1965, с. 733).

«Ты запрокидываешь голову...» (стр. 428).— Посвящено О. Мандельштаму.

«Москва! Какой огромный...» (стр. 430).— *Пантелеймон* — имя святого «исцелителя», изображавшегося на иконах в облике отрока.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) родился в Киеве. Будучи гимназистом, вовлекается в революционную деятельность. В 1908 году арестован; отпущенный до суда, эмигрировал за границу в Париж. Свой путь в литературе начинает со стихов, издаваемых в основном за границей, где жил до февраля 1917 года.

В раннем творчестве Эренбурга ощутимо влияние скорее французского, нежели русского символизма. Стихи 1914—1915 гг. наполнены ощущением «гибели Европы», краха старого мира, ожиданием социальных перемен.

Избранные стихотворения послеоктябрьского периода творчества И. Эренбурга см. в томе БВЛ «Советская поэзия» (т. 1).

Стихотворения И. Эренбурга печатаются по тексту издания: Илья Эренбург. Собрание сочинений в девяти томах, т. 3. М., «Художественная литература», 1964.

«Ты сидел на низенькой лестнице...» (стр. 443).— *Модильяни* Амедео (1884—1920) — итальянский живописец и скульптор. С 1906 г. жил в Париже. И. Эренбург был знаком с Модильяни.

В. Куприянов

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Том русской поэзии начала XX века сопровождается иллюстративным материалом, представляющим имена известных художников той эпохи. По преимуществу это мастера, посвятившие свой талант искусству графики (рисунку, акварели, гравюре).

Именно в начале XX века графика стала искусством самостоятельным, говорящим на своем собственном языке. Для русской графики этого периода характерна ее тесная связь с книгой и журналом. Воспроизведенные в томе работы, конечно, не являются непосредственными иллюстрациями к тексту, но несомненно отражают те или иные художественные устремления эпохи, которые одинаково характерны как для литературы, и в частности поэзии, так и для изобразительного искусства тех лет. Это единство нашло свое выражение в тесном сотрудничестве художников, писателей и поэтов на страницах литературно-художественных журналов той поры, таких, как «Мир искусства», «Аполлон», «Золотое руно», «Весы», «Сатирикон», «Новый Сатирикон». Особо нужно отметить сатирические журналы революционных лет (1905—1906 гг.) — «Жупел» и «Адская почта», где печатались произведения мастеров объединения «Мир искусства» и писателей-реалистов, группировавшихся вокруг М. Горького.

На страницах первого номера журнала «Жупел» (он был конфискован, но вышел, однако, вторым изданием) были опубликованы воспроизведенная в томе работа В. А. Серова (1865—1911) «Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша слава?», исполненная гневного обличительного пафоса, и рисунок М. В. Добужинского (1875—1957) «Октябрьская идиллия», передающая за-

тишье пустынного города со следами недавней расправы над демонстрантами. Непосредственный отклик на революционные события представляет рисунок В. А. Серова «1905 год. После усмирения» — карикатура на Николая II, раздающего награды. Это один из многих рисунков, сделанных художником— очевидцем драматических событий 9 января 1905 года.

В творчестве русских художников начала XX века нашли выражение разнообразные тенденции искусства того времени. Тема города, очень характерная и для поэзии начала века, звучит в творчестве М. В. Добужинского. Она приобретает порой у него психологический аспект, когда художник, используя приемы аналогий и метафор, одухотворяет неодушевленные предметы, передает гротескные контрасты трагического и смешного, бытового и фантастического («Гримасы города», «Окно парикмахерской»).

Совершенно в ином эмоциональном ключе тема города трактована в творчестве А. П. Остроумовой-Лебедевой (1871—1955). Построенные на изысканных линейных и цветовых ритмах ее «музыкальные» гравюры пронизаны тонким лирическим чувством. Петербург предстает в них как великое творение рук человеческих, во всей торжественности и строгости непреходящей красоты этого города.

В теме «Арлекинады», к которой обращается К. А. Сомов (1869—1939), чувствуется желание уйти в мир призрачного и мимолетного, туда, где жизнь становится похожей на маскарад, превращается в праздничный, а иногда и горький спектакль. В этой склонности к театральности искусство художника соприкасалось с поэзией символизма. Не случайно Сомов, как и другие «мирискусники», сотрудничал с поэтами-символистами в журналах «Мир искусства», «Золотое руно», в издательствах «Шиповник», «Скорпион». Его книжные работы составляют классические образцы оформления, сочетая в себе сюжетно-смысловую и графическую выразительность образов.

М. А. Волошин (1877—1932), бывший, как известно, не только поэтом, но и художником, представлен в томе акварелью из его большого цикла, посвященного Коктебелю, где поэт постоянно жил и работал с 1917 года.

Увлечение русским фольклором, столь характерное для многих мастеров начала XX века, находит отклик в произведениях Н. К. Рериха (1874—1947). Мотивы своих полотен художник черпает в глубинах национального искусства, где традиционные религиозные представления часто переплетаются с образами народных легенд. В картине «Три радости» (1916), навеянной песней-сказкой, странствующий гусляр вещает о трех святых, которые помогают крестьянину в его повседневных трудах (св. Илья рожь сеет, св. Николай коров пасет, св. Егорий коней стережет). Так в фольклорных образах трактует художник тему бескорыстного подвижничества, укреплявшую в народном сознании веру в его собственные силы.

Воспроизведенный на суперобложке горельеф «Пловец» (1901—1903) — работа яркого и самобытного ваятеля А. С. Голубкиной (1864—1927). Скульптурный образ полон предчувствия надвигающихся революционных событий. В напряженной, взволнованной пластике горельефа передано ощущение грозовой атмосферы, накала человеческих страстей. Пловец, превозмогающий разбушевавшуюся стихию, и реющие над ним буревестники воспринимаются как символ революционной борьбы.

Е. Плотникова

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

ПЕТР ПОТЕМКИН

САША ЧЕРНЫЙ

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «САТИРЫ»

Из цикла «Всем нищим духом»

Из цикла «Быт»

Из цикла «Литературный цех»

Из цикла «Невольная дань»

Из цикла «Лирические сатиры»

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «САТИРЫ И ЛИРИКА»

Из цикла «Бурьян»

Из цикла «Горький мед»

Из цикла «У немцев»

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЖАЖДА»

Из цикла «Война»

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

Эпиграммы

АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ

ФИЛИПП ШКУЛЕВ

САМОБЫТНИК

АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР БЛАГОВ

НИКИФОР ТИХОМИРОВ

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Из цикла «Басни Эзопа»

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ЯРЬ»

Из раздела «Зачало»

Солнце

Луна

Земля

Из раздела «Ярь»

Из раздела «Темь»

Из цикла «Сердце»

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

ИЗ КНИГИ СТИХОВ «ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»

Из цикла «Мороженое из сирени»

Из цикла «Эгофутуризм»

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Из цикла «Солнечные песни»

Из цикла «За синими реками»

БОРИС ПАСТЕРНАК

На суперобложке:

Голубкина А. С. «Пловец». Горельеф. Гипс. 1901—1903. Установлен на здании МХАТа.

Остроумова-Лебедева А. П. «Дворец Бирона и барки». Цветная гравюра на дереве. 1916. Государственная Третьяковская галерея.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
ТОМ 177

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
(дооктябрьский период)

•

Редактор С. Чулков
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Витушкина
Корректоры
В. Широкова и Т. Кузина



Марка Библиотеки
Всемирной литературы
исполнена художником
В. Носковым

ИБ № 459
Сдано в набор 14/I 1977 г. Подписано к печати А13370 от 14/X 1977 г. Бумага типографская № 1. Формат $60\times84^1/_{16}$. 32 печ. л. 29,856 усл. печ. л. 24,272+ +6 накид.=24,762 уч.-изд. л. Тираж 303 000 (1-й завод 150 000) экз. Заказ 1137. Цена 3 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

•

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

